

НОВЫЙ МИР

И 76

178848

12

МОСКВА

1943

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1943 г.

№ 12

Год издания XX

СО Д Е Р Ж А Н И Е

| | Стр. |
|---|------|
| ПЕТРО ГЛЕБКА — Партизаны, стихотворение | 3 |
| АННА КАРАВАЕВА — Огни, роман | 4 |
| ИВАН НОВИКОВ — Золотое сердце, башкирская народная сказка | 79 |
| ЖАН РИШАР БЛОК — Тулон, французская хроника в 3-х действиях. <i>Авторизованный перевод с французского П. Антокольского и Б. Песиса</i> | 81 |
| НИКОЛАЙ БРАУН — Стихи | 121 |
| <hr/> | |
| Ю. ЛУКИН — Книга о непокоренном народе | 123 |
| Проф. В. ЖИРМУНСКИЙ — Узбекский народный героический эпос | 127 |
| Б. ПЕСИС — Повесть о Франции | 134 |

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

| | |
|---|-----|
| М. ДОБРЫНИН — Идея патриотизма в русской литературе | 139 |
| А. ДЕРМАН — «Степан Полосухин» | 141 |
| ВЛ. ОРЛОВ — Недоброкачественный сборник | 142 |

ПАРТИЗАНЫ

ПЕТРО ГЛЕБКА

★

Вот уж солнце на склоне,
Нет кругом ни души,
Лишь в тиши монотонной
Шелестят камыши.

И на долы осенние,
Провожаячи день,
Проскользнула последняя
Предвечерняя тень.

Опустив утомленно
Ветви-руки к земле,
Плачет лес неумно
О могилах в селе.

Молча думает думу,
Думка мезтью полна.
Ни шуршанья, ни шума,
Тишина, тишина..

Вдруг послышится цокот
В неживой тишине,
Словно где-то далеко
Скачет кто на коне.

Клен наклонится к вязу,
И листвою шевеля,
Он зашепчет... и сразу
Оживает земля.

На лесные поляны
Из чащоб и из нор
Поднялись партизаны
И выходят на сбор.

Ночь темнее, чем сажа,
Их от пуль сохранит,
И не выдаст, не скажет,
Кто, откуда они.

Только мы, да крайна,
Пики острых осок,
Помним каждого имя,
Знаем многих в лицо.

Тот хороший сосед мой,
С этим с детства дружил
И не раз на беседе
Кружку пенного пил.

Погуторить бы рад я,
Да теперь не пора.
Командира бригады
Ждут давно со двора.

Дед, всем хлопцам знакомый,
Может, многим родня,
Хлопотливо, как дома,
Запрягает коня.

А боец первой роты,
С кем в деревне я рос,
Два ручных пулемета
Ставит деду на воз.

Пожилые мужчины,
Покидаячи дол,
Грузят грозные мины,
Носят яростный тол.

Молодая девчонка
Проверяет курок,
А поодаль, в сторонке,
Сельский наш пастушок.

Затыкает за пояс
Пять гремучих гранат,
За деревьями кроясь,
Как бывалый солдат.

И как тол, и как порох,
Наша ненависть в них.
Не уйти тебе, ворог,
Не укрыться от них.

Мезть в народе созрела,
Нет пути нам назад,
Бьется дружно и смело
Партизанский отряд.

И на многие версты
От лесной темноты
Будут подняты в воздух
Поезда и мосты.

Взрыв, — как в небе высоком
Майский радостный гром,
Прозвенит он по стеклам
И встряхнет каждый дом.

И полнеба осветит,
В этот радостный час
Тихо вымолят дети:
Бьется батька за нас.

Под дерюгою зябкой,
Затаив тихий плач,
Перекрестится бабка:
— Дай им, боже, удач.

Выйдет мать за ворота,
Будет чутко ловить
Ровный стук пулемета,
Шелест росной травы.

А во мгле, еще синей,
На рассветной заре
Партизаны в осинник
Заспешили скорей...

Ночь темнее, чем сажа,
Их от пуль сохранит,
И не выдаст, не скажет,
Кто, откуда они.

Только мы да крайна,
Пики острых осок,
Помним каждого имя,
Знаем многих в лицо.

Перевел с белорусского
БОРИС БЕНДИК.

ОГНИ

Роман

АННА КАРАВАЕВА

*

«Товарищи!
Наши силы неисчислимы».
И. Сталин.

(Выступление по радио 3 июля 1941 г.)

Глава первая

НА ЛЕСОГОРСКОМ ЗАВОДЕ

Дверь распахнулась, и на крыльце одностоянного деревянного дома показался человек среднего роста, лет под сорок. Быстрым движением обдернув на себе темносиний, без знаков различия суконный морской китель и надвинув пониже на лоб черную форменную фуражку, человек легким шагом подошел к черной, «заслуженного» вида машине-эмочке.

— На стройку, — кратко сказал он шоферу и, скинувшись на подушки, набил самшитовую трубочку. Чуть покачиваясь, он сидел в позе наслаждающегося минуткой отдыха, но его небольшие круглого разреза коричневые глаза со сдержанной жадностью словно все вбирали в себя: и золотистую рань утра в конце августа, и широкую дорогу, и встречные машины, и дома заводского поселка, мелькающие своими занавесками и цветами на окнах, и голубые, словно окаменевшие волны, дальние горы Уральского хребта, и дымки заводских труб.

Посасывая свою трубочку, Димитрий Никитич Пластунов оглядывал дымную панораму завода.

— Эх, Демидовы, — бормотал он, пытаясь захватить ароматным табачком — Умные, хваткие были мужики, а завод построили в низине, притиснули к горе, будто после себя расти ему не велели.

— Тесно у нас на заводской территории, это точно, — согласился Кульков.

— И пестровато, пестровато, — говорил теперь Димитрий Никитич, обозревая приземистые, чумазые, частью еще демидовских времен, строения и кое-где втиснутые между ними высокие новые корпу-

са, выстроенные за последние полтора десятилетия. Потом он перевел взгляд на гору, левый склон которой, обращенный к берегу реки, был срезан сверху донизу.

— А ведь неплохо мы от этой допотопной ковриги целую краюху оттяпали... а Кульков?

— Куда лучше, Димитрий Никитич, — улыбаясь всем широким в рябинках лицом, ответил Кульков. — Новая дорога получилась!

Дорога, глянцевито черная свежим гудроном, тянулась к лесу, где среди поредевшей опушки возвышался рыжий вал железнодорожной насыпи. Дальше, словно избегая по взгорбленной земле, высоко над излучиной реки стоял лес, мшисто-зеленый, вольный. Тени его мохнато темнели в спокойной воде.

Димитрий Никитич смотрел вверх, навстречу мрачной лесной чаще и, словно примериваясь и проверяя что-то, с отменным удовольствием созерцал молчаливые хвойные массивы над рекой.

— Да-да.. — пробормотал он, — похоже, сегодня будем взрывать вон ту скалу. Так, так... Ну, поехали, товарищ Кульков.

Легким движением, бесшумно, он будто влетел в машину, захлопнул дверцу и тут же распахнул ее, крикнув:

— Эй, сталевары! Садись, подвезу!

Двое мужчин подошли к машине. Широкоплечий высокий молодец, смуглый, черноглазый, с шапкой крутых цыганских кудрей на красиво посаженной голове, поместился рядом с Димитрием Никитичем. Второй, светловолосый, с редкими усиками над толстой будто припухшей губой и такими же припухлыми

веками, сел рядом с шофером, застенчиво проронив оказавшим уральским говорком:

— Большое спасибо, Димитрий Никитич.

— Ну, как, товарищ Ланских? — оживленно обратился к нему Димитрий Никитич. — Не выдержало сердце — уже хочется местечко для новых мартенов присмотреть?

Ланских неспеша обернулся.

— Да оно не худо. Уж если я старые печи своими руками передельвал, так тем больше аппетита у меня к новым мартенам, к последней технике руки приложить!

— Эх, таких мартенов, как у нас на Юге, здесь в Лесогорске еще не видывали! — не скрывая пренебрежения, заметил чернокудрый сталевар.

— А вы откуда, товарищ Нечпорок? — спросил Димитрий Никитич.

— Я с-под Ростова. Там у нас такие чертовы мартены были, такая ж была силаща!

— Уж будто? — поддразнил Ланских, и толстые его веки насмешиливо опустились.

— Что «будто»? — передразнил Нечпорок, — уж я-то знаю... своими руками те мартены клал, своими... и взрывал... — глухо добавил он.

Машина остановилась перед обширным котлованом. По дну его, в той части, где лопатам уже нечего было делать, расхаживало несколько человек.

— Вот здесь, — густым сочным басом произнес сивый великан в кожанке, и, приоткнув огромной, как у кариатиды, ногой в охотничьем сапоге, вдавил каблук в землю. — Вот здесь граница цеха номер четыре и номер восемь.

— А вот мы сейчас сверимся, — сказал высокий тонкий человек в серой шляпе. Он вынул из кармана свернутую в трубку клеенчатую тетрадь, но едва раскрыл ее, как утренний ветер, будто издеваясь, вырвал лист из его пальцев. Тонкий поймал его, расправил тетрадь на колене и, водя пальцем, начал искать что-то в аккуратных столбцах цифр и строчек, исписанных некрупным и четким почерком.

С высоты своего могучего роста сивосый насмешиливо и с явным нетерпением смотрел на узкую стройную спину инженера и его серую шляпу.

— Что тут, ей-богу, разглядывать, товарищ Назарьев? — пробасил он, лениво шевельнув широким плечом. — И без всяких выкладок видно, где граница должна быть здесь, — у меня глаз верный.

Назарьев выпрямился, сунул тетрадь в карман пиджака и возразил с раздумчиво иронической улыбкой:

— Никакой глаз не заменит мне математики, товарищ Пермяков.

Пермяков дернул густой мшистой бровью, но в эту минуту его взгляд встретили и словно вобрали в себя круглые мягко искрящиеся глаза Димитрия Никитича.

— А ведь приятная штука, — точность, — благожелательно сказал Димитрий Никитич, улыбаясь маленьким белозубым ртом. — Вот мы и все в сборе, — точно, как сговаривались.

И он опять взглянул попеременно на Пермякова и Назарьева, будто говоря им, что своим замечанием он имел в виду каждого из них, и что спорить им, собственно говоря, не о чем.

— Да, уж если парторг точен, так нам, уральцам, совестно было бы хуже людей быть, — пробасил Пермяков и полушутливо взял под-козырек.

— Прекрасно! Значит, сейчас же мы и приступим к разметке, не теряя драгоценного времени.

Внешне парторг не выказывал никакой торопливости. Но когда он, зажав трубку в углу рта, обернул свой морской китель, каждый из присутствующих заметно подтянулся, и даже мрачный Нечпорок долго и выжидательно посмотрел на парторга.

— Ваши соображения, товарищ директор? — обратился парторг к Пермякову, — и началось короткое деловое совещание, одна из тех производственных «летучек на месте», которые привились с первого же дня, как появился на заводе парторг ЦК Димитрий Никитич Пластунов.

После получасовой летучки каждый метр на дне котлована уже был распределен и нанесен на рабочий чертеж в объемистой записной книжке Николая Петровича Назарьева.

Когда он уехал, Пластунов обратился к Пермякову:

— На завод направляетесь, Михаил Васильевич?

— На завод.

— Вот и пойдем вместе, — весело сказал парторг. — Вы, кстати, хотели поговорить со мной, Михаил Васильевич?

— Точно, хотел, — хмуро подтвердил Пермяков.

Несколько секунд он шагал молча, исподлобья посматривая на парторга, словно желая угадать, как отнесется Димитрий Никитич к тому, о чем директор готовился говорить с ним. Но Пластунов шел, безмятежно посасывая трубочку, и, казалось, не подозревал о мучающих директора сомнениях.

— Димитрий Никитич, которого года рождения вы и Николай Петрович? — наконец неловко спросил Михаил Васильевич и кашлянул в свой тяжелый, как гиря, кулак.

— Мне, как и Николаю Петровичу, тридцать восемь лет.

— А мне пятьдесят шесть... значит,

когда вы оба родились, я уже не первый год рабочую лямку тянул... Вы оба мальчишками при папе и маме жили, а я уже гражданской участвовал, колчаковцев бил, родной Урал освобождал. Завод мой (он намеренно подчеркнула это слово), яведу его уже семнадцать лет... и, знаете, привык знать, что руководство здесь — я... Уже не мальчишка я, чтобы жить, ничего не понимаю.

— Что же вы не понимаете, Михаил Васильевич?

— А вот что: я — директор завода или Николай Петрович? Примечая: люди часто не знают, к кому обращаться за указаниями, — к нему или ко мне...

— Вы же знаете, Михаил Васильевич, общее руководство производством — за вами, а Николай Петрович отвечает за все новое строительство, включая и ветку. Мы считали, что Николаю Петровичу, как человеку более молодому, естественно следует поручить обязанности, связанные с частым посещением стройки, ходьбой, поездами.

— Точно, — все так же сумрачно соглашался Михаил Васильевич, — но все-таки люди привыкли, что кого-то надо считать... ну... первым, что ли...

— А! Вот оно что! — Пластунов тихонько засмеялся.

— Димитрий Никитич, наше дело здесь, знаете, весьма сложное и глубокое...

— Глубокое! Вот именно! — вдруг обрадовался Пластунов. — Вы прекрасно сказали, Михаил Васильевич. Здесь, среди уральских лесов, мы занимаемся важнейшим делом — организацией нашей победы над врагом...

Когда кончатся все эти страшные испытания, история будет заниматься не только разбором битв на фронтах, но и тем, как в тылу шла организация победы. И мы с вами, Михаил Васильевич, держим в своих руках золотые ключи от этих ворот!

— Здорово вы обо всем этом сказать можете, оно так и есть... а только я, Димитрий Никитич, существо очень даже земное, уважение люблю...

— Разве кто-нибудь вас его лишил?

— Привык, что главная сила здесь на Лесогорском — я. Все-таки, годы у меня уже немалые, цену себе я знаю. Всегда я с работой справлялся, меня Серго Орджоникидзе лично вызывал в Москву для доклада.

— Вы, может быть, думаете, что я от гурного нрава этот вопрос поднимаю, — заговорил он опять неровным от обиды голосом, — но тут дело, прямо сказать, всей моей жизни касается...

— Ясно! Вот мы с вами в одну точку и попали, Михаил Васильевич! Вот наш Лесогорский завод возьми — что здесь происходит? Сейчас мы вырабатываем только танковые башни, свариваем корпуса, собирают их на другом заводе, за четы-

реста километров. Теперь дело идет к тому, чтобы мы выпускали танки — полностью, чтобы боевые машины сходили с нашего конвейера... И погодите немножко, — и вы не узнаете своего завода. Вообще это будет новый завод, товарищ директор! И нам всем надо соответствовать всему этому движению — вверх!

Вдруг, переходя на доверительно-интимный тон, Пластунов мягко дотронулся до локтя Пермякова.

— Для чего мы сейчас с вами живем? У нас могут быть свои заботы, неустойчивости, даже горе, но над всем этим — одно, самое главное, в котором смысл нашей с вами жизни: скорее давать танки, танки... верно? А уж тут не в том дело, где кто сидит, а в том — хорошо ли сыгран концерт... верно? — и Пластунов с неожиданной для его небольшого тела силой сжал тяжелую волосатую руку Пермякова.

— Вот мы и дошли. Надо мне торопиться, у меня разговор с Москвой. До свиданья, Михаил Васильевич.

Пермяков посмотрел на удаляющуюся подвижную фигуру в морском кителе и подумал: «А ведь на мой-то вопрос он так и не ответил», — и досада на себя и на парторга еще злее заципала сердце: зачем тогда он затеял с Пластуновым этот разговор?

Пермякову стало немного легче, когда подвечер он зашел домой — обедал он теперь чаще всего у себя.

Было приятно знать, что когда бы он ни пришел, в низенькой тесноватой столовой всегда ждет его блистающий начищенный прибор — накрест положенные нож и вилака с пожелтевшими костяными ручками. Он знал, что жена Варвара Сергеевна, увидев его, скажет: «А я тебя давно жду». Как бы ни был он озабочен, он знал, что ему сразу станет легче от одного только созерцания домашней опрятности, удобства и спокойствия. Поэтому «собственный дом» (по наследству от отца), деревянный, одноэтажный, он любил так же просто и естественно, как и жену, с которой прожил без малого тридцать лет. Квартира в самом большом заводском доме, выстроенном за несколько лет до войны, не привлекала его. Да и Варвара Сергеевна решительно заявила, что «из своего дома» нигде не пойдет: новая квартира «хоть и модная, а хозяйственности в ней нету». А при своем доме все под рукой: и сад с десятками кустов малины и смородины («прославленная пермяковская ягодка!»), и огород, и дворик с погребом, деревянным сарайчиком и выкрашенной охрой собачьей будкой. В ней обита, четвертый по счету за тридцатилетнее хозяйничанье Варвары Сергеевны, домовитый и чрезвычайно свирепый к чужим, лохматый пес Красавчик.

Жена с большой лейкой в руках стояла на крыльце.

— А я тебя давно жду, — сказала она своим ровным мягким голосом. — Сразу будешь обедать или подождешь, пока я огород полью?

— Подожду, поливай, — ответил Пермяков, прошел в кухню, умылся, а потом, присев к окну, закурил папиросу.

Из окна были видны пышные гряды — в огороде у Варвары Сергеевны все поднималось прекрасно. Жена уже перешла к грядкам, где пышно, словно свадебные букеты, поднималась капуста.

Пермяков ласково усмехался, глядя на тугой веночек ее каштановой косы на затылке: как заложила она свою косу тридцать лет назад, с первых дней замужней жизни, так и носит по сю пору. Другие заводские жены, было время, взапуски стриглись и завивались, а его Варвара Сергеевна никаким соблазнам моды не поддавалась и во всем она любила постоянство. Эта черта ее характера пленила Михаила Васильевича, двадцатисемилетнего рабочего-подпольщика, с первых же дней знакомства с нею. Она была дочь лесничего, вдовца, и с наивной властью есмнадцатилетней заботилась о своем беспокойном рассеянном отце, вечно занятom разездами и тяжбами мужиков с начальством, — он был их первым защитником. Михаил Васильевич попал в то лесное уральское село по своим партийным делам. Его направили в домик лесничего. Там все, как стеклышко, блестяло чистотой. Девушка с каштановой косой, полная, рослая, с завидно здоровым румянцем, сразу расположила его к себе своей жизнерадостностью и рассудительностью. Выбрав ее спутницей жизни, Пермяков потом ни разу не имел повода раскаиваться. Она была не просто верная жена, а и вернейшее его прибежище. Она црягала его как от царских приставов, так и от колчаковских карателей, помогала его товарищам и очень умело выполняла кое-какие поручения. Никому из его преследователей в голову не приходило подозревать в чем-нибудь «недозволенном» эту домовитую, окруженную детьми женщину, всегда озабоченную тем, как бы ей свести концы с концами. Она никогда не жаловалась, она была так скроена, что уж если ею владело убеждение, что порученное ей дело важно и необходимо для многих людей, она старалась выполнить его, как жизненное задание, которое ей словно даже на роду написано.

...Когда сели за стол, Пермяков спросил, нет ли писем от сыновей с фронта.

— Но ведь только третьего дня было письмо от Васи с Калининского, — напомнила жена.

— А-а... да, да. От Виктора ничего нет?

— Напишет, — кратко сказала Варвара Сергеевна.

От ее зоркого глаза не укрылось, что Михаил Васильевич чем-то озабочен, но, как всегда, она не стала выпрашивать: если не говорит сам, значит, на то есть причина.

Меняя тарелку, она спросила:

— Щи не пересолены ли?

— Хороши.

— Вчера я студень ставила — хочешь из погребка принесу?

— Студень?.. Ну... что же, ладно.

«Что-то тяжко ему...» — уже совсем уверенно подумала она. Студень он только еле поковырял. Это огорчило ее. Незаметно следя за его хмурым взглядом, она подвинула стакан чая, пепельницу, но он все не закуривал.

Он сидел, барабанив пальцем по столу и опустив массивную голову с густым бобрим сивых волос.

С улицы вдруг раздался звучный женский голос:

— Здравствуйте, здравствуйте, Клавдия Ивановна!

Это больная жена Димитрия Никитича Пластунова встречала заводского врача Клавдию Ивановну. Пластуновых Пермяков сразу пригласил поселиться у себя: ведь две «детские» комнаты у него пустовали.

Женский голос слышался из окна в противоположном углу пермяковского дома, молодой и возбужденно живой:

— Ах, как я вам рада, Клавдия Ивановна! Похоже, что уже есть какой-то просвет... да, да!.

Голос прервался — говорившая отошла от окна.

— Вот... больна-больна, а все-таки еще радоваться может, — вдруг мрачно усмехнулся Пермяков и еще сильнее забарабанил пальцем по столу. — А тут у тебя на двоих здоровья хватит, а на душе кошки скребут... — И передав жене свой разговор с Димитрием Никитичем, Пермяков заключил его мыслью, которая и «скребла» ему сердце:

— Им, приедем людям, легко обо всем гладко да хватко рассуждать: этак делай, так поступай. Нашего Димитрия Никитича возьми... Жил он в Ленинграде, металлургия, конечно, знает, но ведь он флотский и больше с кораблестроением дела имел. Я Пластунова уважаю, преданный делу человек. Но по-человечески, по-простецки рассудить — чем он взя? Моего опыта у него нет, да и откуда: он дружил с водой, я — с горой. Ты бы видела, за что он наш завод считает: к старой, мол, пуговице новую шубу. А, слышала?

— Да уж, действительно! — возмущенно вздохнула Варвара Сергеевна.

Пермяков тяжелыми шагами заходил по комнате.

Варвара Сергеевна, страдая заодно с ним, попыталась своими средствами облегчить ему душу:

— Ах ты, бабушки! — воспользовавшись минутой, воскликнула она, всплеснув руками, — чуть ведь не забыла тебе смородину показать!

— Смородину? А что такое?

— Что? — подхватила она, втихомолку довольная, что уловка удалась. — Большой-то куст как есть сверху донизу осыпан.. ну и ягоды, до того крупные, что я еще не видывала таких! Идем, посмотрим?

— Ну, что ж, — усмехнулся он, — уж если так охота тебе, взгляну на твою смородину и на завод пойду.

Барвара Сергеевна пошла впереди мужа, чтобы он не видел ее порозовевшего, счастливого лица, — и у нее тоже бывали свои хитрости.

Мартен номер 2, или, как называли его, по-старинке, «Мартын второй», стал на ремонт. Оба, сталевары-сменщики, Сергей Ланских и Александр Нечпорок, решив закончить ремонт в кратчайший срок, почти не выходили из цеха. Съездив с утра на строительство новых цехов, сталевары отправились к своей печи. После нескольких часов работы, осыпанные кирпичной пылью, чумазы и потные, сменщики подошли к киоску с газированной водой. Напротив раскрылся зев печи номер 1, и бушующая в каменном своем ковше, яростно-белая с прожельтью сталь осветила площадку, наполнив воздух звонким шипом и свистом.

— Погано у печи горчать, когда у ней все нутро разворошено, — мрачно сказал Нечпорок и выпил залпом еще стакан.

— Ничего, всякое нутро своей заботы требует, — спокойно возразил Ланских. — Отремонтируется, и опять сталью до краев ее заполним.

— Э, да разве ж это печь? — с усмешкой продолжал Нечпорок. — Це ж не печь, а хвороба, как наши сталевары по-украински сказали бы.

— Эх, да что говорить! — И Нечпорок, отмахнувшись, вразвалку, широким шагом пошел к печи.

После работы, выйдя из душевой, Нечпорок, распаренный, чистый, подбравший, неловко улыбнулся Ланских:

— Ты на меня, Сергей Николаич, не сердчай.. Забрало дытну под самое сердце.

Домой они пошли вместе.

— Самому невесело, а тут еще жинка у меня совсем как рехнулась: с утра до ночи тоскует да ревет.

— С чего ж это она — молодая, здоровая, — удивился Ланских.

— Да на Урале ей не нравится: и солнце-то здесь не джеке какое, и ветры, и садочков не видно, и люди ей кажутся неласковые.. Все о Ростове, о станции своей разоренной, о матери плачет. Совсем Марийка спятила: ревет, голосит, не

дай боже.. Все ей видится, как враги в наших родных местах лютуют, даже во сне всякие страсти видит..

— А ты успокой ее..

— Стараюсь, сколько могу, да у самого на душе так погано, не высказать. Слухай, гвоздит у меня в башке одна дума, такая, кажу тебе, дурная дума. Я, конечно, в университетах не учился, но жизнь я понимаю. Вот ты, как партийный, разъясни мне, как это можно, чтобы такая жизнь, как наша, вдруг набок скovyрнулась? Вот я, Нечпорок, жил, дай бог каждому моему другу так поживать.. Имел я уважение и почет от людей — чуть торжество какое, меня в президиум сажают. В отпуск я в Крым да на Кавказ езди, разгуливали мы с моей Марьей по берегу моря, а пальмы, понимаешь, над нами так и шумели. Эх, что говорить! И вдруг — хватя и нет того ничего, а мы горе хлебаем — ох, какое ж горе — за наши-то честные труды! Обожди, не сбивай меня. Как вспомню о нашей довоенной жизни, вот тут-то и вылазит моя черна дума. — Нечпорок покрутил чернокудрой головой и ударил себя в грудь.

— Неправильно мы жили, хоть и умные были!.. Надо нам было загодя к войне готовиться!

— Мы и готовились.

— Ой, так нет же, Сергей, нет! Мы выставки делали, курорты строили, красивые дома и тому подобное и всякое прочее, а нам нужны были только танки, танки, танки..

— Это и есть твоя «черна дума»? — спокойно улыбнулся Ланских.

— Это и есть.. — Нечпорок немного опешил. — А что, тебе мало?

— Именно то мы делали, именно то, что надо было для жизни, а ты, брат, все сбил в одну кучу, — и в голосе Ланских прозвучала ироническая насмешка.

— Сбил в кучу? — повторил Нечпорок и самолюбиво забеспокоился. — А что, что я сбил.. ну?

— Все, — твердо сказал Ланских. — Вот ты тут выставки, квартирки и так далее начал хаять, а что к чему — об этом не подумал. Чтобы наша страна могла так строить, какую промышленность мы должны были поднять?

— Еще бы.

— Согласен? Ладно. А когда мы новые заводы строили, надо было о жительство рабочих и инженеров заботиться, — вот тебе тут и квартирки понадобились. А в театр, в кино люди ходят? А детей воспитывать, учить надо? Значит и школы новые строили тоже. А колхозы росли? Нет, Александр, жизнь была поставлена, что надо..

— Гм, — пробормотал Нечпорок. — Ты ловко умеешь закручивать.

— Вот как раз закручивать-то я и не умею, — усмехнулся Ланских, — а просто.

видишь ли, мы в такое время живем, о котором всегда думать надо.

— О времени... думать? — удивился Нечпорук. — Оно же себе летит, как хочет...

— Летит, да со смыслом.

— И я, значит, должен этот смысл ловить и понимать?

— Непременно.

— Да ну-у? А если.. не словлю?

— Значит, самозатемком, стихией любить жить, а так — обязательно что-нибудь пропустить или в чем-нибудь отстанешь.

— Ох, выдумщик ты, товарищ Ланских! — Ну, допустим, уловил я этот смысл, — какая мне от этого выгода?

— Есть вещи важнее всякой выгоды — ясное самосознание, например: почему и для чего делаешь ты так, а не этак. Если мне что-то не ясно, я не могу работать свободно и с размахом.

— А я часто догадкой беру, — с упрямой беспечностью сказал Нечпорук. — Даже иногда сам не знаешь, что и как, чи е, чи нема, — а вот нащупал, — и бачу: вышло.. нутро и все!..

— Вот я и дома, — вдруг прервал его Ланских, протянул ему руку и вошел в подъезд двухэтажного дома с балкончиками, одного из тех, что начали строиться на старом заводе за несколько лет до войны.

Нечпорук продолжал путь один, чем-то смутно недовольный.

— Ты знаешь, я математик и техник, никаких чудес не признаю, — взволнованно рассказывала Пластунову Николай Петрович, — но то, что мои ребятишки добрались до меня, — похоже на чудо!.. Вдруг меня из цеха срочно вызывают в проходную. «Да в чем дело? Мне, говорю, некогда. Кто спрашивает?» Отвечают: «Требует вас Тимофей-сундучник». — «Не знаю я никакого Тимофея!» «Что вы, отвечают, это спокон-веку самый популярный человек среди всех невест нашей округи!» «Нет уж вы, пожалуйста, спуститесь в проходную-то. Тимофей-сундучник приказал вам передать, что принес вам самый дорогой подарок». — «Мне!? Фантазмагория!» — Спустился в проходную — и вижу: подходит ко мне человек, с рыжей, как огонь, бородой, а на руках у него.. мои Ниночка и Вовик!..

— Да, на руках у него мои детишки.. и, вообразите, обнимают его за шею, как родного, а он, чрезвычайно довольный, докладывает мне, что подхватил их в Красноуфимске, куда он ездил к дочери, что все ребята на свете ему друзья.. Я прижимаю их к себе, чувствую, как они, мои бедненькие, похудели и совершенно обалдели, спрашиваю их: «Где мама? Почему вы одни?». Они лепечут, что мама уехала в командировку в Москву, а они не могли ее дожидаться и уехали с тетей Женей. — это сестра моей Маши. «А где

же тетя Женя?» Тут детишки мои застрялись, побелели, заплакали: оказывается, в дороге они попали под бомбежку, и бедную Женю, восемнадцатилетнюю девочку, убило наповал. Какие-то добрые души пригрели моих ребят и довели их до Красноуфимска. А там судьба послала им Тимофея-сундучника, и он, совершенно, как добрый гений из сказки, привез их ко мне. Я просто опомниться не могу — как мою семью растрясло: Женя убита, ее похоронили где-то в дуги, детишки совершенно измученные, — вот я только-что уложил их спать — теперь со мной, а где Маша? Что с ней? В Москве ли она застряла, или едет сюда? Но почему она тогда не подает вестей о себе? Судя по тем сведениям, которые мне сообщил сундучник-Тимофей, дети выехали из Кленовска около трех недель назад, Маши уже дома не было, застряла в Москве или что? Я даже телеграфировал Маше, чтобы не ездила пока в Москву, а она, беспокойная душа, всегда думала о школе, вы понимаете, она создавала нашу заводскую школу.. А уж если Маша что полюбила.. ох, да зачем же она из дома выехала?

И Николай Петрович закрыл лицо руками.

— А что сказал вам сундучник? — раздался звонкий посмеивающийся голос, и тонкая женская фигура в наброшенной на плечи шерстяной шали высунулась из окна.

Николай Петрович поднял голову.

— Что он сказал? Простите, Елена Борисовна, а ведь действительно этот рыжий гном что-то изрекал.. Ну да, да! Ты, говорит, беду не на коленках встречай, а грудью на нее иди — она ведь, как цепной пес: того за пятаку хватает, кто от нее убегает.

— Вот видите, — засмеялась Елена Борисовна. — Об этом сундучнике мне уже кое-что рассказывали. Я тоже призываю грудью на беду итти, не предаваться мрачным мыслям, а.. а выпить с нами стакан чаю!

— Идем, идем, с заботой — на людях легче, — и Пластунов потянул Николая Петровича в комнату.

Около круглого стола уже хлопотала Елена Борисовна. Ее мягкие, цвета ореха волосы, собранные на макушке и приспущенные на лоб, свесились над маленьким слегка впалощеким лицом. На первый взгляд в нем как будто ничего не сходилась: гладкий лоб казался слишком большим, короткий нос слишком приплюснут, рот мал, бледен и словно недоразвит, но уже минутой спустя это маленькое хрупкое лицо казалось прелестным, именно благодаря тому, что оно было таким неправильным. Каждая его черточка дышала нервно-задумчивым, оживлением, а большие серые глаза временами вспыхивали, словно какие-то

Ваше стремление готово было поддаться ей. Но ее бескровные руки двигались медленно и неловко, будто на них висела невидимая тяжесть. Эти слабые пальцы, боязливо прикасавшиеся ко всему, казалось, не в силах были не только перенести что-либо с одного конца стола на другой, но даже сдвинуть с места. Ложечка, не попав в стакан, зазвенела на подносе, нож вырвался из ее беспомощных рук и упал на пол.

— Ого, как мы здорово учимся хозяйничать! — весело воскликнул Пластунов, незаметно подмигнув Назарьеву. Так же незаметно и быстро он налил Николаю Петровичу стакан чаю, сделал два бутерброда, придвинул мед в стеклянной баночке. Потом осторожно притянул к себе бескровные пальцы жены и нежно сжал их в своих крепких сухих ладонях.

— Вот молодец, так молодец! Эти милые пальчики уже явно делают успехи! Елена Борисовна покачала головой:

— Ах, Митенька, наверно, мои пальцы никогда не оживут!

— Ну, ну! Еще как оживут, Леночка, еще как забегают по клавишам, дружок ты мой, и еще такие «кресчендо» изпод этих вот пальцев загремают..

Она тихо и счастливо засмеялась.

— А! Слышите? — вдруг насторожилась Елена Борисовна, и вся она вспыхнула такой неукротимой стремительностью, будто не ее руки бессильно лежали на коленях мужа. — Слышите, Костромин опять играет!

Действительно, долгий, как вздох, звук скрипки вынесся откуда-то сверху, замер, повторился опять, капризно взвился на высокой ноте и так же неожиданно и капризно упал, рассыпался, как волна, ударившаяся о каменный берег.

— Что он делает, боже ты мой! — возмущенно воскликнула Елена Борисовна, вздрагивая при каждом переходе мелодии, которая лилась, звучная и резкая, как порожистая река.

— А я и не знал, что наш конструктор играет на скрипке, — удивился Назарьев.

— Он играет, а мне с ним хочется подраться! — не на шутку вспыхнула Елена Борисовна. — Мне всегда кажется, что это не он играет, а заставляет музыку играть на себя... не знаю, понимаете ли вы мою мысль?

— А ведь, Леночка, на то очень похоже! — расхохотался Пластунов. — Музыка не его стихия, нашего уважаемого конструктора Костромина.

— Значит, лучше бы этому рационалисту не касаться скрипки! — вспыхнула от досады Елена Борисовна. — Говорю вам, он музыку заставляет играть на себя. И зачем ему музыка?

Настроение у ней вдруг испортилось, она стала хмуриться, отвечать невпопад,

и Пластунов с виноватым видом пытался переменить тему разговора, но беседа уже не клеилась.

Выйдя с Назарьевым на улицу, Пластунов вздохнула с горечью и досадой:

— Фу, ну и растяпа же я... нет-нет да и забуду, что при Леночке после несчастия лучше не заводить разговора о музыке — обязательно в конце-концов разволнуется.

Несчастье произошло летом, после одной тревожной ночи, когда ленинградские зенитчики сбили и прогнали десятки фашистских самолетов. Пластунов пошел к себе в порт и, едва успев дойти до набережной Невы, как где-то позади взвыла бомба, и гул взрыва отдался под ногами.

— Где-то близко от нас! — испугался Пластунов и бросился бежать обратно. Повернув на свою линию Васильевского острова, он пошатнулся: знакомый балкончик со старинной узорной решеткой сейчас страшно и невероятно, как во сне, висел в пустоте над дымящимися обломками стены. Пластунов не помнил, как вбежал в толпу, как выхватил у кого-то лопату и вонзил ее в кучу мусора и кирпичей, которая взгорбилась над ямой, недавно называвшейся подъездом. Елену он нашел прижатой к перилам, почти засыпанной. Ее руки, ударившиеся о железо, были в крови, посинели и распухли. Через день она, придя в сознание, воскликнула: «мои руки!» Синева и опухоль потом исчезли, но руки были совершенно безжизненны. Стремительно-чуткая сила музыки будто и не жила никогда в этих беспомощных бледных пальцах. Врачи уверяли, что атрофия эта, конечно, временная и произошла вследствие сильнейшего нервного потрясения, контузии. Но Елена была безутешна. Она словно осталась равнодушной к тому, что оба они лишились крови и всего, что у них было. «Я нищая, без музыки я нищая!» — повторяла она.

Попыхивая трубкой, Пластунов неторопливо зашагал по улице заводского поселка. Навстречу из ярко освещенного окна опять вырвалась мелодия.

«Конструктор наш все еще музицирует!» — с улыбкой подумал Пластунов и остановился послушать. В освещенном квадрате окна показалась прильнувшая к скрипке восторженная голова конструктора, потом скрылась и показалась опять — играя, он расхаживал по комнате. Окно было во втором этаже, и Пластунов слышал, как Костромин начал притопывать, на ходу отбивая такты.

«Что выделяет, а?» — посмеивался Пластунов, вспоминая, что как-раз сегодня Костромин рассказывал ему, что многие интересные технологические решения обдумывались им под эту своеобразную музыку, которую Елена Борисовна называла: «невообразимой».

«Он заставляет музыку играть на себя!» вспомнились Пластунову негодующие слова жены.

«Да пусть его, Леночка, пусть его играет как знает, если это помогает ему. Каждый человек, милая, доходит до главного своим путем».

«Невообразимая музыка» ему чрезвычайно нравилась. Он знал, чем была занята сейчас беспокойная мысль Костромина: конструктор готовил к сдаче проект нового среднего танка.

Пластунова так и подмывало крикнуть: «Как дела, Юрий Михайлович?», но он тут же выбрала себя: «Тоже, вылез бы... философ!» В каждом технологe он особенно ценил умение идти «к главному своим путем» и всегда остерегался проявлять какое-либо, даже в мелочах, вмешательство в работу мысли.

Когда Пластунув еще был комсомольцем и работал токарем на «Красном Путиловце», товарищи прозвали его «философом». Он и в самом деле интересовался философией, кое-что почитывал и любил «покорпеть над трудной книжицей», с наивной жадностью узнать, «как люди мыслили в разные времена и как это влияло на человеческую жизнь». Потом он стал инженером-станкостроителем. Потом война, как невесело шутила Елена, «зачеркнула «С», и он стал «просто танкостроителем». Им-то он меньше всего думал быть, когда мечтал «учиться на философа», зато теперь, как ему казалось, «философия очень пригодилась». Все горячие споры в заводском кружке «доморощенных мудрецов» и мысли вслух о том, «как законы диалектики проявляются в реальной жизни», теперь, окрепшие, возвращались к нему, как птицы в старые гнезда. Он видел перед собой множество людей разных характеров, знаний, привычек — и все собрались здесь, на уральской древней земле, и должны были не только прижиться, но и слиться вместе в одну волю для фронтного труда: создавать танки, тысячи танков для фронта. Пластунув думал о всех своих встречах за сегодняшний день, и перед глазами его прошли: Пермяков, Назарьев, Костромин, Нечпурок — «Саша с-под Ростова», Ланских и многие другие, — и он, с веселым наслаждением перебирая их в памяти, подумал, как они все не похожи один на другого...

Тут он заметил, что скрипка уже замолкла. В окне Костромина было темно. Поселок засыпал. Где-то молодой и сердитый женский голос звал домой заигравшихся детей. Многие окна уже спали. Но со стройки доносился неугомонный протяжный скрип экскаваторов и фыркание грузовых машин. На карьерах рвали камень, гул взрывов далеким эхом отдавался где-то за лесами. Пластунув с минуту послушал ночь и поднялся на свое крылечко.

ТРОФЕЙ

Даже в ранних воспоминаниях Юрия Костромина отец и мать всегда были разные. Мать согревала, освещала, ее теплые, порой нетерпеливые руки кормили, одевали, тормошили, иногда шлепали, несли его к кровати, поднимали по углам. С ней было тепло, иногда огорчительно, если она сердилась. С отцом — всегда любопытно. Все, что исходило от отца, было решающим и прочным, как и он сам, громогласный человек с фигурой атлета. Его большие костистые руки водили красно-синим карандашом, как волшебным жезлом, — и множество линий, прямых, ломаных, закругленных волнообразных, разбегались по белому полю, бесконечно живые и всегда что-то обещающие. Свиток плотной ватмановской бумаги, похожий на большую толстую свечу, покорно раскручивался и словно таял под властными отцовскими руками.

Юрий полюбил очень употребительное у отца слово, еще не понимая его значения: «преобразуем!»

— Вот как мы это преобразуем, — деловито и как-то удивительно вкусно говорил отец, и на белом поле всегда что-то менялось.

Когда в кабинете никого не было, Юрий бережно вынимал из пожелтевшего мраморного стаканчика этот граненый, толстый, как трость, рабочий карандаш, пристраивался где-нибудь с лоскутком бумаги и, подражая отцу, упоенно бормотал: «И-да-а... вот мы это так преобразуем!»

Отец брал с собой Юрия, глазастого худенького гимназиста, в командировки. Гимназистик побывал во многих местах огромной России, всюду, где его отец, инженер-строитель, возводил заводские корпуса. За каждую поездку приходилось, как шутил отец, «платить дань» матери. У ней были честолюбивые мечты: она хотела, чтобы сын, живой, умный, с пышными, в мелких кудерьках волосами, так похожий на нее, — был скрипачем, как и его дедушка. Маленького, она рядила сына в бархатные костюмчики с широкими кружевными воротниками, выкраивала деньги «на учителя»: уже с семи лет она стала учить сына играть на скрипке. Он послушно играл, а сам украдкой убегал в кабинет отца, возился над бумагами и радостно бормотал: «преобразуем!»

Собираясь с сыном в очередную поездку, отец заговорщически подмигивал ему: «Ладно, попилайкай, брат, попилайкай, пусть она успокоится!»

«Дань» или «выкуп» за каждую поездку заключались в том, что сын должен был разучить на своей «скришке» нечто пре-

красное», как требовала мать. Так составил музыкальный репертуар Юрия. По требованию матери, он брал с собой темнорыжий кожаный футляр, в котором скрипка лежала, как в саркофаге.

— «Преобразуем!» — вспоминал всегда Юрий, когда видел, как где-то в глубине заводского двора поднималось мускулистое здание нового цеха. То, что отец вычерчивал на белом ватмановском поле, воплощалось на земле — заводскими стенами, гулками лестничными клетками, просторными цехами, эстакадами. Сначала Юрий знакомился с землекопачами, каменщиками, плотниками, штукатурами. Но самыми интересными для него людьми были рабочие в цехах. Юрий целый день готов был смотреть, как цех заселялся машинами, как, наконец, по велению рабочих рук, которые все умели и знали, машины начинали свою сложную и точную жизнь.

Мать неизменно видела в мечтах сына стройным красавцем во фраке, со смычком в изящной поднятой руке. Она мечтала о консерватории, куда она пошлет сына, «только бы ему развязаться с гимназией». Но смерть отца разбила все ее планы.

Отец умер внезапно, от разрыва сердца, в 1916 году, зимой, в «мертвый сезон», когда семья инженера-строителя обычно жила на летние сбережения. Юрию было 15 лет, он учился в шестом классе. Юрий стал опорой семьи. «Рабочие знакомства», как сердито называла мать, помогли ему в трудную минуту. Приятель-токарь устроил Юрия на военный завод в Самаре. Вместе с заводским батальоном Юрий вышел из Самары в 1918 году, вместе с ним он отвоевывал город от белогвардейцев. Потом завод направил его учиться в Москву, в машиностроительный институт. Несколько лет спустя, устанавливая новые станки на родном заводе, он повторял, как слова из сбывшегося вещего сна: «Вот мы как это преобразуем!»

В часы напряженного раздумья он терзал священную ледовую скрипку двумя десятками мелодий своего сборного репертуара.

— Ну и музыка! — стонала мать.

— Такая, какая мне нужна, помогает думать!.. Не мешай, мама!

— Ну и характерец!.. И в кого, господи!

— И в тебя также!

Оба, каждый на особицу, были упрямы и своевольны.

Если у Юрия работа спорилась, ему казалось, что и все вокруг должны быть довольны его удачей. Если у него что-то не клеилось, он был неприятно удивлен, видя веселое лицо своей жены, а ее громкий смех заставлял его оскорбленно вздрагивать и хлопать дверью. «Эгоист!» — кричала ему вдо-

гонку жена. Он любил, чтобы дома все «совпадало» с его настроением («на то у человека и дом»), а жена это никак не хотела понять и подчиниться. Первые годы, пока он был сильно влюблен, он терпел, а потом «несовпадение» стало его раздражать. Несколько лет супруги жили в ссорах и недоразумениях и, наконец, разошлись. Костромин сначала объяснял свою «семейную неудачу» тем, что поздно, почти тридцати лет женился — надо было поднимать «ораву» из трех братьев и четырех сестер. Потом стал объяснять неудачу тем, что первая жена его была актриса, привыкла всегда играть и от него хотела игры. Чтобы не встречаться с ней, он переехал в Киев. Мать старела и все чаще ворчала, что личная жизнь сына сложилась нелепо, что он приготовил ей унылую старость без семьи, без внучат.

— Вот был бы ты скрипачем, — ядовито добавляла она, — успеха у женщин было бы куда больше!.. И красавица от тебя не сбежала бы.. и не так бы скоро ты облысел, дружок мой!

— Ладно!.. И лысый я кое-чего стою! — огрызнулся сын. — Прекрати декламацию, мама!

— Что там.. декламация! — не сдавалась старуха. — Молодость-то.. ау!..

Он и сам понимал, что «молодость — ау», но переделат себя не мог.

Наконец, он подружился на заводе с молодой женщиной, заведующей химической лабораторией. Несмотря на резкость характера, Костромин быстро привязывался к людям. А уж женщину в своем представлении он украшал всеми красками и блеском ума и красоты, как ребенок новогоднюю елку. Но как-раз эта новая любовь больше первых двух, действительно, стоила того восхищения, которым окружил ее требовательный человек с нелегким характером. Она была миловидна, умна, энергична, у ней была светлый, веселый нрав. Она была заводским человеком, знала толк в технике — и между мужем и женой родилось самое надежное «совпадение» — общие интересы труда. «Хоть она и химия, а-предест!» — говорила довольная мать. Кроме того, ее материнскому честолюбию льстило, что женщина, миловидная и моложе ее сына, — «вообразите, на целых шестнадцать лет!» — полюбила его. И в работе тот счастливый 1940 год был отмечен самой большой удачей: средний танк его конструкции «СССР-1», совершив без единой аварии пробный пробег по трем республикам, был допущен к участию в первомайском параде на Красной площади. Ее пламенеющий знаменами простор, бездонное, неповторимой прозрачной голубизны небо, широкие, пестреющие, как цветистые луга, многолюдные трибуны под седыми шатровыми баннями Кремля, жарко плавающие на

солнце трубы оркестров — все слилось в одно сверкающее воспоминание. Так же накрепко запомнилось Костромину то неповторимое чувство восторженного страха, которое охватило его, когда по асфальту площади загрохотали танки. В одной из головных шеренг он сразу узнал свою машину. Костромин взглянул вверх, на трибуну мавзолея, и увидел Сталина, его наглухо застегнутую, сурово-простую шинель.

Костромин увидел, как Сталин вплотную подошел к мраморной балюстраде и, слегка наклонив голову, устремил взгляд на зеленый танк, который почти поровнялся с мавзолеем. Конструктора вдруг бросило в жар. Он на мгновение закрыл глаза, а когда открыл глаза, увидел, что Сталин стоит влоботорота, провояжая взглядом первые шеренги машин.

Новая серия танка была утверждена (с кое-какими поправками) и пущена в производство. Счастливым год и закончился прекрасно: родился сын весь в мать. Было одно облачко, тревожившее, впрочем, только старуху Костромину: молодая женщина продолжала увлекаться спортом, чего свекровь совершенно не одобряла. Этот, как она выражалась, «совершенно дикий спортивный азарт» казался ей вредным для здоровья кормящей матери. Но невестка попрежнему ухитрялась и даже с немалым успехом участвовать во всех состязаниях: она была фигурантка по конькам, бегунья и прекрасный пловец.

В мае 1941 года, завоевав новый рекорд по плаванию, жена приехала домой в жару. «Погода испортилась! — виновато оправдывалась она, — а мне обязательно хотелось поставить на своем»...

У молодой женщины оказалось крупное воспаление легких. Сделано было все, но на десятый день болезни она умерла.

Хоронили ее в жаркий полдень начала июня, и было невыносимо видеть солнце, безоблачное небо, розы в витрине цветочного магазина. На кладбище Костромин в тяжелом оцепении смотрел на неизвестное лицо, маленькое, испитое, утонувшее в пышном венке, и не понимал, почему он живет и что вообще будет дальше.

Несколько дней продолжалось это душевное оцепенение — и вдруг исчезло ранним воскресным утром 22 июня, когда над Киевом взвыли фашистские бомбы. И все, чем он до этого дня жил, дышал и страдал, отступило перед великой всенародной бедой.

В июле 1941 года Костромин уже был на Лесогорском заводе. После киевских «Липок», где он прожил два счастливых года, после голубой шири Днепра старый Лесогорский завод и несудоходная Тапцынь показались ему унылым местом. Да и многие южане в первые дни по-

чувствовали себя «как на сквозняке»: суровый край, неласковая капризная погода, а о самом Лесогорском заводе и говорить не приходится. Немного спустя, поогляделись: далеко не все на Лесогорском заводе было «допотопным».

Война помешала реконструкции старого Лесогорского завода. «Старикам омолодиться труднее, чем молодому собраться, — говорили лесогорские старожилы. — Вон какая вокруг нас молодежь уже вымахала!» Действительно, за несколько лет, невиданно быстро «вымахали» такие гиганты, как Магнитка и Челябинский тракторный, а в 1933 году лесогорцы торжественно отправили делегацию рабочих и инженеров на открытие мирового гиганта, «завода заводов» — Уралмашзавода. Посылали лесогорцы свои делегации и на Тагильский лагонный, и на завод Стаальмост, и на открытие Красноуральского медного комбината, и Березниковского комбината, и многих других новых заводов, которые еще до открытия своего стали знаменитыми. Лесогорцам было приятно, что Обком партии всегда помнит об их «старике» — заводе, но, чем сильнее разносился по Уралу гул стройки, тем чаще спрашивали лесогорцы своего директора: «А когда же очередь дойдет до нас? Вон как здорово реконструировали, к примеру. Карабашский да Калатинский* заводы — просто узнать нельзя!. Уж и за Ревду, и за Верх-Исетский принялись — тоже ведь петровских времен, что и мы».

Некоторые, особенно нетерпеливые лесогорские патриоты даже ворчали: «Видно, уж наш завод ходит в самых средненьких — оттого и дольше людей ждем!» Когда очередь дошла и до Лесогорского завода, его реконструкция пошла ровным шагом, без особо сжатых сроков — кончили одно, принялись за другое: действительно, это был типично-средний завод со многими к тому же территориальными и производственными неудобствами, унаследованными, так сказать, от самой истории развития горнозаводского дела на Урале. Поэтому, Михаила Васильевича меньше всего огорчало, что Лесогорский завод «ходит в средненьких». Он понимал, это омоложение таких заводов-стариков, конечно, довольно сложное дело, — и потому, не настаивал на краткости сроков, забываясь, главным образом, о том, чтобы все выходило крепко и солидно. В начале третьей пятилетки завод обогатился новым кузнечным и литейным цехами, от которых не отказался бы и любой столичный завод. В цехах механообработки появились великоелпные строгальные станки, большие и средние, а также несколько новейшей

* Ныне Кировоградский.

конструкции фрезерных, токарных, сверляльных станков. Война помешала перевооружить мартеновский, термический и ряд других цехов, помешала достроить новые гаражи и складские помещения, проложить новые подъездные пути. Правильнее было сказать, что старый Лесогорский завод выглядел, в силу этих причин, пестро и нестройно. Горячие головы скоро опомнились, но «нелюбое слово» уже было сказано, и обида посеяна.

В свое время, не однажды Михаил Васильевич получал приглашения перейти директорствовать на новые заводы, но он неизменно отказывался: Он не просто сжился со своим «средне́нским» Лесогорским заводом, но по-своему, по-пермяковски — обоснованно любил его. В-первых, завод с честью выполнял немаловажные правительственные задания, а во-вторых, завод принадлежал к числу старых гнезд горнозаводского мастерства.

Среди лесогорцев были сотни отличных мастеров, стариков и молодых, которые гордились своим наследственным мастерством, своими «рабочими династиями». Все эти Панковы, Лосевы, Невьянцевы, Ланских и другие вели свой рабочий род от демидовских кузнецов, а то и еще дальше — от первых уральских рудознатцев времен Грозного и царя Алексея Михайловича. Эти люди привыкли к уважению, знали себе цену и обиды не терпели.

Машины, привезенные с Юга, уже сколько дней стояли в новых гнездах и работали на одном токе со всеми лесогорскими станками, а люди не все еще прижились друг к другу. Директор Лесогорского завода, Михаил Васильевич Пермяков ходил молчаливый и мрачный. Как техник и руководитель производства Пермяков понимал, что все это сложное машинное хозяйство, естественно, должны устанавливать работники тех новых южных заводов, откуда оно прибывало на Урал. Но, как человек, сжившийся за много лет со своим заводом, Пермяков не мог отделаться от обиды, когда видел, как все эти новые монтажки и планировщики, хоть и «держат его в курсе» всех своих намерений и советуются с ним, а главных указаний все-таки ждут от своих заводских начальников. Теперь какой-нибудь молодой человек (вчера еще под стол ходил) казалось ему, не замечал его, директора Пермякова, а видел только своего начальника, бывшего директора Кленовского завода с Киевщины, Назарьева Николая Петровича. Этого «математика», как он окрестил про себя Назарьева, директор особенно невзлюбил. Все в нем ему не нравилось, все злило: гибкая подвижность его худой высокой

фигуры (подумаешь, будто артист какой на эстраду вышел, красуется!), его привычка щуриться, его манера улыбаться уголком рта, его покашливание, даже его серая мягкая шляпа — «подумаешь, франтом / на работу вышел». А больше всего Пермякова злила вся эта настойчиво подчеркиваемая «математика» Назарьева, его стремление все исчислять, выверять, составлять, планировать, делать выводы и тому подобное. Пермякову это казалось мелочностью, придиркой. Он знал и чувствовал Лесогорский завод, как собственную душу и неисчислимые множества дел он начинал и завершал, руководствуясь чутьем, глазом, привычкой. Назарьев считал все это как-раз самым вредным, и презрительно улыбаясь уголком рта, советовал «сместее ломать им хребет». Пермяков день за днем видел, как этот человек в серой шляпе действительно ломал хребет всей привычной жизни Лесогорского завода — и делал это с спокойной непререкаемой уверенностью. Не было буквально ни одного станка, ни одного места на заводской площадке, которые ускользнули бы от невероятно цепкого внимания этого «бывшего» директора.

Каждый день Назарьев что-то нарушал в привычном, казалось, так прочно установившемся порядке жизни цеха. Сначала он «обратил внимание» Пермякова на то, что станки расставлены слишком просторно, что между рабочими местами — «просто целый бульвар для гулянья». Через несколько дней Михаилу Васильевичу были представлены не только новая планировка всех рабочих мест и всех станков, но и найдены еще сотни метров новой площадки. «Помилуйте, да откуда же?» — недоверчиво спрашивал Пермяков. — «А закоулки демидовских времен?» — ответила с улыбкой Назарьев и так же математически неопровержимо доказал, как закоулки в старых цехах можно быстро перестроить, как и где пробить окна, сделать проходы. Пермяков про себя не мог не признать, что Назарьев опять нашел остроумное решение.

День за днем теснота, которую Пермяков считал «непролазной», оказалось, скрывала в себе возможности, которых он не замечал. Почему? Он и сам не знал. Досаду свою по этому поводу он не показывал, с Назарьевым соглашался, да и невозможно было не соглашаться — так неопровержимо-реально было все в его доводах. Но Пермяков все больше страдал от тяжелой нелюбви к Назарьеву.

Но главный удар еще был впереди: этот сухопарый человек, этот, как снег на голову свалившийся, Назарьев назначал его заместителем. Заместитель директора Никита Андреевич Кузьмин умер в августе сорок первого года. Пермяков очень жалеет о нем: характер у покойного зама был уживчивый. Михаил Васильев-

вич пока никого не просил, потому что «присматривал» себе нового зама, неспеша выбирая, «кто более подходящий», из своих инженеров и хозяйственников. И — вдруг — его зам Назарьев! Ему придется изо дня в день встречаться, говорить с ним, посвящать его в свои мысли, выслушивать его замечания. «Придется, значит, терпеть — для дела», — решил он, крепясь и вздыхая, будто принимая на могучие свои плечи каменную тяжесть. Однажды в разговоре директор пожаловался Пластунову на «неумного» Назарьева. Парторг выслушал и сказал убежденно: «Дело далеко не в том, дорогой директор, каков характер у вас или у Назарьева, а — в том, что это заводы приживаются друг к другу. А заводы это не только механизмы, а прежде всего — люди».

Новый завод, переселившийся с Юга, все ощутимее входил, двигался в лесогорские цеха, как в новую, еще не совсем податливую оболочку. Еще многие богатства его техники, как драгоценные сокровища в пещерах, стояли на складах, под брезентом на заводском дворе — и все-таки он уже начал жить, распространяя вокруг неукротимое дыхание новизны, своих производственных обычаев, традиций, своей технической культуры.

Многие из коренных лесогорцев поняли и смирились с переменами в своем быту: ничего не поделаешь, уж придется потесниться. Так прославленный заводской кузнец Матвей Темляков гостеприимно распахнул двери своей удобной светлой квартиры в новом заводском доме перед семейством кузнеца Сакуленко. Так мастер Лосев Иван Степанович, потомок первых демидовских кузнецов, чей род, или, как любил говорить старик, династия восходила к концу семнадцатого века, — определил к себе на «доброе соседств» конструктора Костромина с его матерью и сыном. Так старый знаменитый лекальщик Степан Данилович Невьянцев пригласил к себе «на житье» Николая Петровича Назарьева.

Но нашлись лесогорцы, которых эти толпы пришельцев из разоренных, захваченных врагом южных городов просто испугали, как лавина, несущаяся с горы на их теплые, еще дедами и отцами обжитые гнезда. Поколениями жили лесогорцы по-крестьянски домовито: у всех огороды, коровы, овцы, породистые свиньи, птица всякая, а в последние годы перед войной почти у всех завелись кролики: гордостью кролиководов были шиншиллы, голубые венские, ангорские пуховые и другие породы. Появились и лесогорцы-мичуринцы. У этих гордостью были ягоды, ксгорые назывались пышно, как королевы в сказках:

смородина-крандаль, малина-техас, актинидия-амур-уссури.

И вдруг пришло время, когда и голубым кроликам, и смородине-крандали стала угрожать опасность от «чужих» ребятшек. Они лезли всюду, их к тому же интересовали и хозяйства — голубятни, из-за которых и вспыхнули первые стычки. Голубятники подрались между собой и своим ревом и сныками взбудоражили матерей. Стычки стали повторяться все чаще. В разбор всех этих шумных происшествий постепенно вовлечены были и отцы. Те начали ходить по начальству: местные жаловались Пермякову, а приезжие шли с жалобами к Назарьеву. Он терпеливо выслушивал жалобщиков — для людей, потерявших дом, каждая житейская мелочь действительно обращалась в уколы и страдания и, следовательно, помеху для работы. Когда ж он однажды попробовал заговорить на эту тему с Пермяковым, тот сумрачно ответил, что ему лесогорские тоже жалуются. «Значит, не только наши, но и ваши виноваты», — сухо закончил он. «Они такие же мои, как и ваши», — сдержанной досадой возразил Назарьев, — все мы сейчас на Урале и, значит, все уральцы».

В то погожее утро в начале октября Костромин поднялся раньше обычного: хотелось на свежую голову прозереть расчеты, произведенные по его заданию в конструкторском бюро. Сын, полугодовалый Сережа, или бэби, как его называла бабушка, сладко посапывая, спал в длинной дорожной корзине, откинута крышка которой была привязана к ручке наглухо закрытой двери смежной комнаты. Большая пуховая подушка, втиснутая в это необычное ложе, мягко обжимала маленькое тельце ребенка. Ему было жарко, он смешно отдувался во сне и вертел головой с черными, как перья дрозда, волосиками. Отцу вдруг захотелось взять эту детскую ручку с безвольно распухшими пальчиками, сжать ее в ладоня, наслаждаясь ее нежным теплом. Но жаль было будить ребенка — вчера ему что-то нездоровилось, он капризничал и заснул позже обычного. «Без матери растет», — и Костромин на миг отдался безнадежной сладости воспоминаний. Он вздохнул и еще раз посмотрел на спящего сына с жадным и страстным обожанием, которого никто не мог заметить в этот ранний тихий час.

Только сел он за стол, как голова матери с седеющими волосами высунулась из-за двери.

— Завтрак тебе скоро будет готов.

Дверь опять скрипнула, и старушка вошла в комнату. Ее сморщенное, забавно миловидное личико с остреньким профилем расстроено подергивалось.

— Нет, больше я не могу, нет моих сил! — начала она угрожающим выско-

том. — Прощу, прошу тебя, спустись на грешную землю, если не ради меня, то хоть ради ребенка! Несчастный ты наш бэби, растешь без матери, а отец, как блаженный, знает только свои чертежи...

— В чем дело? Ну? — покорно спросил сын, хорошо зная, что ее не скоро оставишь.

— Ах, Лосева мне просто вздохнуть не дает. Вы, говорит, с утра раннего на кухне ше-бар-шите. А что, говорю ей, подеять, если бэби просыпается рано, как птичка? Ах, Юра, как это в самом деле ужасно, что ты меня не послушала! Жили бы мы не в этой дыре, а эвакуировались бы в областной центр, где тебе и филармония, и опера, и все такое. Ты выступал бы в концертах, и какие хорошенькие девушки так и бегали бы за тобой, скрипачей ведь всегда обожают. И ты мог бы выбрать себе среди них и добрую, которая не стала бы обижать бэби... и мне, старому человеку, было бы легче... А тебе бы только где-нибудь притулиться — и вот ты готов, доволен и даже не понимаешь, какой ты невезучий в личной своей жизни. Ну да, да, сыночек, не везет тебе... потому что тебе все некогда, твои возлюбленные танки все съели. Нечего головой мотать, уж я-то все на своей шее испытала от твоего вечного невезения, тебя ничем, ничем не проймешь, тебе бы только торчать в своем буре, да вот в этих несносных расчетах ртыться, а я, несчастная, знай — тяни лямку...

В дверь вдруг постучали, и сердитый голос Наталии Андреевны сказал:

— Ксения Петровна, каша у вас опять убежала!

— Ах, боже мой! — испугалась Ксения Петровна и заторопилась в кухню.

Юрий Михайлович облегченно вздохнул. Он был привязан к матери и любил ее, снисходя к ее слабостям, и про себя всегда отдавал ей должное: не в пример многим матерям, все-таки она хорошо знала многие стороны его натуры.

Если он видел и знал, что попал на завод, где, по его любимому выражению, широким фронтом шагала техника, он быстро осваивался. Этот широкий фронт техники он скоро увидел и на Лесогорском заводе. Таким образом, самое главное у него было, а на все остальное он уже смотрел, как на «преходящее». Удобства он, конечно, любил, но приучил себя от них не зависеть. Только очутившись «уплотненным», он в полной мере почувствовал, каким счастливым он обладал в Киеве, имея превосходный с итальянским окном на Днепр тихий и уютный кабинет. Но с тех пор, как хозяин нынешней квартиры, Иван Степанович Лосев (он сразу с ним прекрасно сошелся) поставил к окну этот вот широкий некрашеный стол, Костромин перестал вздоминать о своем кабинете в киевской

квартире. Лосевский стол, кстати сработанный самим Иваном Степановичем, был замечательной устойчив, на его столешнице из липовых досок вполне просторно раскладывались рабочие чертежи, удобно втыкались кнопки — и, право, это было очень удачное приобретение для работы.

Ранний ветерок распахнул окно, день вставал на редкость погожий, теплый, хотя и было уже десятое октября. Костромин невольно загладелся. Далеко на горизонте, под курчавыми навесами розовеющих облаков, как широкие волны застывшего моря, шли с севера на юг Уральские горы. Ниже гор до черноты густо зеленели леса, и только там, где среди пожелтевших луговин и рыжебурых холмов неспеша петляла Тапынь, начиналась богатая, радующая глаз своей яркостью лесная пестрота. Пышным золотым пламенем горели березы, и, будто подпевая их последней песне, бапровели, пурпурно краснели, рыжели поросли клена, осинника, липы. Кое-где, будто плащ-одноцвет, перекрывала это буйство красок зеленая хвоя; но вот тут же рядом, на выступе холмистого берега над рекой Тапынь, с той же силой полыхало богатство осени. А прямо против его окна, в скверике, раскачивались на ветру молоденькие рябины с редкими пучками рубиновых сережек, и бросали во все стороны узорчатые желтозеленые листья.

Костромину вспомнились леса над Волгой, восторги детства, когда отец иногда брал его с собой на охоту. Уральские леса походили на его родные волжские леса, как брат на брата.

Вдруг он вспомнил: сегодня до начала смены назначен осмотр трофейного немецкого танка. Часы показывали половину восьмого. Сережа заворочался и вдруг сразу встал, румяный и взъерошенный, как рассерженный дрозд. Костромин, смеясь, поцеловал его и, крикнув: «Мама, Сереженька проснулся!» — быстро вышел из комнаты.

Юра Панков, худенький высокий юноша-подросток с тонким прямоносеньким профилем, прыгая через лужи, бежал по улице поселка и кричал срывающимся от неожиданности голосом:

— Танк у заводских ворот! Немецкий танк!

Из окна первого этажа нового дома высунулась серебряная старушечья голова в больших круглых очках и сердито спросила:

— Господи-владыко, что ты, оглашенный, разорался на всю улицу! Какой там немецкий танк, что ты мелешь?

Юра приостановился, держась рукой за сердце, будто новость, которую он нес в себе, бурей рвалась наружу:

— Да честное же слово, бабушка Таисья, танк немецкий, трофейный с крестом и черепом... Идите сами посмотрите...

Дверь подъезда вдруг со звоном распалхулась, и на улицу, словно поднятая ветром, вынеслась молодая женщина в пестром бумазейном халатике. Смолево-черная полурасплетенная коса, небрежно переброшенная через плечо, и все устремившееся вперед тело выражали отчаянное возбуждение.

— Танк? — закричала она звонким конгральто. — Где он, гадюка? Где?

Еле успев ответить Юра, что немецкий с разбитыми гусеницами танк стоит у заводских ворот, как молодая женщина сорвалась с места и побежала, размахивая руками.

Бабушка Таисья, высунувшись из окна всем своим сухоньким корпусом, закричала ей вслед:

— Марья Ивановна!.. Да куда же ты, Марья? Ох ты, батюшки мои, несется будто спятила совсем!

Обматывая на ходу вокруг сморщенной шеи пуховую шаль и путаясь в длинном драповом пальто, бабушка Таисья обеспокоенно продолжала:

— И побежала-то почти голая на танк глядеть, вот ведь дикая, господи-владыко. Вот как простудится еще да сляжет, кто ухаживать за ней станет?

— Бабушка Таисья, я побегу вперед! — плохо слушая, прервал Юрий, и бросился догонять Марью Ивановну.

— Тыфу ты, все с ума сошли! — возмущалась бабушка Таисья и засеменяла к заводу. — Ишь ты, и все бегут!.. А Юрка-то уже догнал эту дикую Марью Нечпорок!

Юрий не догнал бы Марью Ивановну, если бы она вдруг не упала, споткнувшись о камень. Она неловко поднялась, вскинулась было бежать, но схватилась за ушибленное колено.

— А, чорт!

Юрий подскочил к ней.

— Сильно ушиблись, Марья Ивановна?

— Нет! — вскрикнула она, злобно расгирая свое колено. — Чорт с ним! !

Прихрамывая, она побежала опять, глядя вперед и вытянув руки.

— А-а! Вон он, гадюка!.. Дьявол проклятый! Ой, мама, мамочка моя! Ой, милая моя, не завижу тебя больше никогда..

Она бежала, яростно грозя черной грязной глыбе немецкого танка. Он громоздился на дороге, оскорбляя своим мрачным безобразием чистое погожее небо, влажную, отдыхающую после многих дождей землю, скверик с молодыми рябинами, увешанными багрецовыми гроздьями, и весь рабочий поселок вокруг старого завода.

— Где он, где? Дайте мне его, кто мою маму убил! — и женщина, как одержимая, подняв кулаки над головой, бросилась к облетленному осенней грязью горбатуму корпусу фашистского танка. Окружающие расступились перед ней.

— Марийка! Марийка! — крикнул испуганный голос, и Александр Нечпорок, проталкиваясь сквозь толпу, схватил жену за руку. — Кого ты тут шукаешь, дивчина моя? Ведь это же трофейный танк, с войны прибыл... и он же пустой, гляди же!

— Пустой!.. — глухо повторила Марийка, но иступление с еще большей силой овладело ею. Вырвавшись из рук мужа, она вплотную побежала к грязной с черно-желтым крестом стене фашистского танка.

— Марийка, Марийка! — пытался успокоить ее Нечпорок, но женщина, словно одержимая, вырвалась от него.

Словно веря в сжигающую силу своих слов, женщина как бы взывала ко всему миру, и было что-то пророческое в ее летящем к небу звонком голосе:

— Все отомстится вам! Как наши матери и дети гибли, так и ваши погибнут!.. Наши дома сгорели, и ваши сгорят!..

— Стой! — вдруг раздался спокойный голосок, и сморщенная ручка бабушки Таисьи повелительно легла на плечо Марии Нечпорок. — Эк, горяча ты, девка, пожалей себя. Айда-ко, милка, домой, усмири сердце-то, а то еще лопнет — и было б из-за чего!

Бабушка Таисья, кивнув головой на черную уродину, презрительно фыркнула:

— Из-за такой пропастыны убиваться?

Нечпорок, воспылавший мимолетной, накинул на плечи жены свой пиджак и с помощью бойких и доброжелательных ручек бабушки Таисьи вывел Марию из толпы.

Мария молчала и только устало поводила по сторонам головой.

А трофейный танк уже начал свое новое, посмертное существование. Заводские ворота медленно, как судный вход, открылись перед тягачами, которые потащили мертвый танк на территорию завода.

Скрежеща и гремя своими разорванными гусеницами, фашистский танк тащился по старой уральской земле. Его пасть с торчащим вверх языком, казалось, свирепе и бессильно лаяла в погожее, чистое небо. Нижний люк с полуотворщенной дверцей, будто вытекший глаз, яростно озирал заводские корпуса и длинные шеренги людей, которые шагали от ворот к заводу или шли к воротам — утренняя смена заснула ночью.

Двое кузнецов, соседи по бригадам, — высокий жилистый Матвей Темляков, местный уроженец, и Никифор Сакуленко, эвакуированный кузнец с днепрпетровщины, шли, как всегда, вместе заступать смену.

— Ты это что отворачиваешься, Никифор Павлыч? — спросил Матвей, и он иронически посмотрел из-под серых вихрас-

тых бровей в сторону ползущего мимо танка. — Не нравится тебе эта штучка?

Сакуленко вдавил голову в широкие плечи, и его приземистая фигура стала еще сутулее.

— Эти штучки, человеке, я видел, когда они огнем палили, на город и на завод наш шли, — глухо ответил Сакуленко, и его крупное мясистое лицо с мягкими отвислыми усами сморщилось, как от боли. — И не дай, боже, никому бачить, как его ридный завод горит, не дай, боже, гнездо свое оставлять свинье на поправу..

Сакуленко повернулся спиной к лязгающему по двору танку и сказал, облегченно вздохнув:

— Да мы ж такая страна, что хороших людей у нас везде много. Сегодня мне жинка тоже говорит: «Уж так-то я рада, что мы у Темяковых живем! Из-за них я, говорит, и к Уралу скорее привыкну».

— Еще так привыкнешь, Никифор Павлыч, что, пожалуй, уезжать потом не захочешь! — пошутил Матвей и опять посмотрел на немецкий танк. — Эх, ползет! Жалко, что никого там внутри нету.

— Все они, бисовы диты, под молотом будут! — жестко отрезал Сакуленко.

— А мы с тобой, Никифор Павлыч, по случаю такой аховой встречи, работнем так, чтобы за ушами пищало! — задористо засмеялся Матвей и вдруг, смешно, по-мальчишески, толкнул локтем приземистого грузного Сакуленко.

— Работнем! — оживился Сакуленко и даже молодцевато расправил свои каштановые усы.

Матвей широко распахнул дверь, и они вошли под стеклянный купол горячего цеха.

Тягачи протащили немелкий танк мимо складов. Далее дорога вела к болотистому пустырю, где, как сундучок, торчал новый рубленый домик, весело поблескивающий квадратными окнами. Это была опытная станция, построенная нынешней осенью для обслуживания танкового пробного поля. Оно готовилось для недалекого будущего, когда Лесогорский завод, усиленный новыми цехами, будет выпускать не только башни и корпуса, но и танки прямо с конвейера.

Четверо мужчин стояли около домика и следили, как трофейная машина, тяжело переваливаясь, словно огромная бронированная жаба, приближалась к ним.

— Последний отрезок кровавого пути, — сказал Николай Петрович.

— Да, — последний, — согласился Михаил Васильевич, — и тащится еле-еле, словно издыхает..

— Идет, спотыкается, как разбойник, — добавила Пластунов, госасывая свою трубочку.

Конструктор Костромин, завидев танк, надел очки и посмотрел на приближающуюся машину, как анатом на труп, который придется вскрывать. Это он предложил доставить на завод немецкий танк, прямо из боя — он хотел изучить вражескую машину «в ее действительном состоянии». А действительным он привык считать то, что ближе во времени. Время он выбрал наверняка: на Москву враг бросил, надо полагать, самые лучшие свои машины. С какой именно техникой немцы наступают сейчас, с какими последними их достижениями встретится он сейчас?

Эта встреча с вражеским танком для его работы над конструкцией новой серии значила очень много. После триумфального пробега его предвоенного танка, во время беседы в Кремле ему было указано, что следовало бы модернизировать в танке. На той памятной беседе был Сталин. Он сидел лицом к свету, и Костромин ясно видел спокойно-внимательный взгляд его темных глаз.

С того дня Костромин всегда видел перед собой ободряющий взгляд Сталина, его голубеющие сединой виски, — и всегда ему казалось, что Сталин среди тысяч людей, раскрывающих ему свои дела и мысли, все-таки помнит о нем и ждет от него чего-то значительно большего, чем данное им обещание на памятном совещании в Кремле.

Новый тип среднего танка, создаваемый им, предстал перед ним во всем своем значении. Это будет мощный средний танк такой маневренности и быстроты, с которой не могло бы бороться ни одно из этих фашистских стальных чудовищ! Он высмотрит в этом трофейном танке все до последнего винтика, он проникнет острой гибкой мыслью техника во все закоулки, где таятся секреты истребительной силы машины, чтобы до последней мелочи взвесить свой ответ. А его ответ — новая серия среднего танка такой мощности, огневой силы и маневренности, какой нет нигде.

Костромин встряхнул головой и с широким вздохом расправил плечи. Тягачи дошли до назначенного места и стали. Кульков, шофер Пластунова, злобно сморщив круглое, обычно добродушное лицо, соскочил наземь и, отдуваясь, вытер лоб.

— Доволок проклятого..

Четверо молча обошли вокруг машины, потом, будто повинувшись одному внутреннему толчку, взглянули на ее башню.

— Д-да.. — сквозь зубы бросил Пермяков. — Мерзость..

— А сколько этой мерзости сейчас на Россию лезет, — в тон ему ответил Николай Петрович и вдруг с необычайной для него горячностью воскликнул:

— Эх, скорей бы нам танки с конвейера выпускать!

— Добьемся! — решительно поддержал Пермяков.

— Мы, кажется, здесь готовы уже cobrar летучку? — спросил Пластунов, окидывая смеющимися взглядом Пермякова и Назарьева — двое, сами того не замечая, сейчас говорили на одном языке и поддерживали друг друга.

Данные по осмотру вражеского танка записывал Костромин. То Пермяков, то Назарьев называли отдельные детали механизма, каждый дополнял один другого. Пластунов помалкивал и внимательно следил, как курится его нарядная, с наческами и резьбой морская трубка.

Когда все ушли, Костромин остался один-на-один с мертвой вражеской сталью.

Спрыгнув вниз, в холодное металлическое чрево танка, Костромин с минуту постоял на искоробленном железе пола, щурясь на погожее октябрьское небо. Отсюда оно казалось особенно прозрачным и нежно молодым, и голубая его ширь словно говорила: «Чего тебе еще надо — столько света!» И конструктор принялся за работу.

Не спеша, методически протер все сохранившиеся части механизма, внимательно рассматривая каждую гаечку, нарезку, трубки, винтики. Чистота отделки ему очень понравилась. Понравилась ему и кое-какие мелкие приспособления в артиллерийском хозяйстве. Удачно, — бурмотал он, — однако, все же маловато!

Его толстая клеенчатая записная книжка все еще была открыта на одной и той же странице. По правде говоря, он ожидал большего: техническая мысль в дни войны — и какой! — должна была бы, по его мнению, проявлять себя богаче. По крайней мере в этом танке, который лез на Москву, внешних доказательств этого богатства мысли он не увидел. Он вдруг вообразил себе «внутренний видик» этого танка в момент его выезда на разгром Советской страны. Тогда все сверкало надраенной медью, а в кресле водителя восседал офицер, выбритый до блеска, сытый, холеный молодой эсэсовец!.. Этот эсэсовец был, наверно, один из тех, кто на своем танке топтал и терзал поля и виноградники Франции, Бельгии, Голландии. Конечно, он был уверен, что и эта война — с Советским Союзом — обернется такой же охотничье-военной прогулкой. Где-нибудь, может быть, на Можайском шоссе или на проселке сшибли тебя с твоего креслица, и гниешь ты где-нибудь на русской осенней дороге! А вы хотели удобно и весело воевать. Вы уже попробовали кое-что, вы еще получите и от меня, конструктора Костромина!

Костромин даже скрипнул зубами, снял очки, крепко протер их и опять посмотрел на голубое, погожее, словно благословляющее его небо.

— Юрий Михайлович? Вы здесь? — вдруг раздался чей-то свежий тенорок, и кто-то постучал в стенку танка.

По борту его затопали быстрые шаги и над согнувшимся в глубине танка Костроминым раздался веселый молодой смех:

— С приятным вас знакомством, Юрий Михайлович! С хорошей погодкой!

— А, здравствуйте, Артем Иванович! — приветствовал пришедшего Костромин, все еще что-то быстро записывая в свою книжку, — спасибо, во-время пришли.

Скоро Костромин выкарабкался из башни и рассеянно взглянул на молодого мастера, Артема Сбоева, с красивым и четким профилем, словно с медали, и с волнистыми волосами, которые плотно, как литые, вились над его широким белым лбом.

— И я не утерпел, Юрий Михайлович, забежал на немца поглядеть, — начал Артем своим неспешным уральским говорком, как-то очень кругло и приятно окая. Заложив руки в карманы комбинезона, Артем с серьезным лицом обошел вокруг танка.

— Н-да, теперь буду иметь понятие об их технике.

Костромин вдруг сухо и язвительно рассмеялся.

— Знаете, Артем Иванович, что я там (он кивнул на танк) обнаружил? В танке у них бензиновый двигатель.. представляете?

— Бензиновый? Так это ж для автостроения подходит, Юрий Михайлович! — изумился Артем.

— Так из автостроения их конструкторы и взяли этот двигатель на бензине, — все еще посмеивался Костромин.

— Хм... Чудно! У нас в танке дизель-мотор работает на дешевых сортах топлива и газойле, который не воспламеняется..

— А немцы, которые создали дизель, вот в эту свою машину сунули двигатель на бензине, который взрывается. Вот еще почему столько немецких танков наши бойцы поджигают на поле боя! Этак немцам скоро придется свой танковый парк сменить, как старую ветошь.

— Интересно! Однако, Юрий Михайлович, ведь невозможно же себе представить, что немцы в технике слабы?

— О-о, конечно, нет, Артем! Все дело в том, что эти аккуратные немцы не хотели зря тратить на более дорогие дизель-моторы. К чему, скажите пожалуйста? Они надеялись еще по-суху дотопать до Урала, у них расчет был на короткую войну.

— Однако позвольте, Юрий Михайлович, как же тогда размышляла немецкий конструктор, который этот танк соз-

сказал? — недоумевал Артем. — А у них против реальности получилось...

— Реальность! — негодуяюще воскликнула Костромин. — Как бы не так!.. Я не знаю имени того немца, который конструировал этот танк, но то, что мысль этого техника опутана геббельсовской брехней, — бензиновый двигатель мне это показывает совершенно неопровержимо!

Артем Сбоев уже ушел, а Костромин все сидел на крыльце еще необжитого домика. После нервного возбуждения этого утра конструктором овладела какая-то блаженная усталость. «Должно быть, старею», — вяло подумал он и вдруг услышал песню, протяжную, проголосную, с переливами и вторами. Это была одна из старинных песен, которых на Лесогорском заводе знали много и умели петь. На просторе она звучала особенно задумчиво и чисто.

Было что-то древнее в этом торжественно-тоскливом распеве, неповторимо свое, русское. И в том, что он, русский человек, только-что побывавший в мертвой глубине вражеского танка, теперь наслаждался песней, было тоже что-то давным-давно знакомое. Костромину вспомнились рассказы и песни, читанные в детстве.

Чей-то молодой и сочный голос особенно звонко и победительно выделялся в общем слаженном хоре. И Костромину показалось, что только этим голосом и дышит эта богатая печальная и нежная песня.

Последний звук взвился и замер, словно растаяв в голубом воздухе, а немного спустя, тот же певучий голос звучно и смешливо сказал:

— Ну, девочки, домой-то мне все-таки надо же показаться!

Скоро из-за груди щепня вышла девушка среднего роста в сером пальто, синей шляпке с белым перышком, держа небольшой чемодан в руке.

— А ведь тяжелый, оказывается! — с досадой пробормотала она и, повернувшись, вдруг увидела Костромину.

— Разрешите, я донесу вам, — попросил он, невольно засмотревшись в глубокую синеву ее взгляда (ну и бывают же, право, глаза!). Он протянул было руку к чемодану, но девушка резко отказала:

— Не надо, я могу сама.

— Простите, но было бы странно, что я, мужчина, пойду рядом с вами, не облегчая тяжести вашей ноши. Если угодно, моя фамилия Костромин, я заводской конструктор, пришел сюда осматривать трофейный танк.

— Ах, вот как.. А я Лосева Татьяна, — сразу смилостивилась она.

— Не дочка ли Ивана Степановича?

— Дочка. А что?

— Да я вот имею удовольствие жить в

вашей квартире. Вы, как видно, ездили куда-то?

— Ездила. Тетя Груня сильно заболела, а оба сына у ней на фронте. Теперь ей лучше.

— Разрешите же все-таки взять ваш чемодан?

— Н-ну... берите.

Они пошли вместе.

— Я слышал, вы сказали, что дома еще не показывались. Каким же образом вы сразу сюда?

Она объяснила неохотно:

— Ну... сошла с автобуса и увидела: народ к танку бежит.

— Вы увидели дорожную бригаду и отправились с ней?

— Ну да, — опять неохотно подтвердила она и вдруг усмехнулась.

— Поработала бы и еще, да девушки посоветовали скорее домой показаться: маме уж, конечно, сказали, что я приехала, она будет зря беспокоиться.

— А вы хорошо поете! — брякнула Костромин.

— Это оттого, что в хоре, — сказала она холодно и небрежно.

— Да нет же — у вас прекрасный голос! — осмелел Костромин.

— А я почти и не пою, — уже совсем ледяным тоном бросила Татьяна, и он смущенно замолк.

Некоторое время шли молча.

— Сколько вам лет? — улынулся Костромин.

— Девятнадцать.. ну?

— Вы еще не работаете? — спросил Костромин.

— Нет еще. Я только в позапрошлом году кончила среднюю школу, два года училась на чертежницу..

— Да что вы? Так вы же можете работать.. например, у нас в конструкторском бюро.. Подумайте об этом.

— Хорошо, я подумаю, — согласилась она.

Они вышли к заводским воротам.

— Мне сюда, — и Таня подала ему руку. — До свидания! Когда-нибудь еще увидимся..

И вдруг рассмеялась, смешно полукрив пухлый рот с изголуба-белыми зубами:

— Ах, да что я! Ведь мы же рядышком живем!

Пожимая ее худенькую теплую руку, Костромин подумал почему-то грустно и растроганно: «Она даже и не представляет, сколько в ней красоты!»

Он вынул очки, протер их, надел на тонкий вздернутый нос и, довольно бурча что-то, пошел к себе в конструкторское бюро.

Домой он пришел поздно.

Мать и Сережа уже спали, а Костромин еще долго сидел за столом.

Комната его была угловой, в два окна. Он видел россыпи заводских огней и пока реденькую цепочку огней на стройке новых цехов. Он уже изучил направление и движение этих огней. Крайняя звездочка, что горит на конце широкой лесной просеки, — это последний фонарь на строящейся ветке. С каждым днем просека, прорубаясь все дальше в лес, открывала дорогу новым огням на ветке. Сегодня опять появилась новая звездочка над насыпью, которая протянулась еще на несколько километров в глубь косматого, тысячи лет спавшего леса. По этой ветке пойдут на фронт колесные танков новой серии.

Прямоугольник огней горит над котлованом нового маргеновского цеха, стены которого (вчера вечером, когда он был там вместе с Назаревым) встали уже по плечи, а в могучей кладке уже обозначились проемы широких окон.

Далее темная полоса — будущая заводская аллея. А вон сильно вытянутый в длину прямоугольник огней — цех будущей сборки. Оттуда, через установленное время, с нескольких цепей конвейера будут сходить все новые и новые боевые машины. Звонко — и вот он новешенький танк, грозный, неукротимый, несется он на поле, а оттуда пробный побегом по всем близлежащим горюшкам и оврагам — и, наконец, выдержавший испытание, новый посланец народной мести уже на вагонной платформе.

— Значит, вот мы как представляем! — прошептал Костромин и взял с полки свиток чертской. Осторожно шелестя толстой, рябоватой, как шагрень, бумагой, конструктор развернул рабочий чертеж коробки скоростей.

Придя домой обедать, Михаил Васильевич сразу заметил, что жена как-то необычно задумчива и даже рассеянна.

— Что ты, Варя?

— Ох, батюшки! — ответила она, вздрагивая и хмурясь, — все у меня перед глазами этот танк так и стоит..

— А ты ходила его смотреть?

— Что ж, у меня сердца нету? Конечно, и я пошла. Ой, Миша, своими глазами увидела, какие они, танки немецкие, что нашу землю терзают!

И Варвара Сергеевна, вздрогнув, закрыла лицо руками и несколько секунд сидела так, словно спасаясь от страшных видений.

— Ну, Варенька, — ласково сказал Пермяков. — На войне каких ужасов ни бывает..

— Кто спорит, Миша.. Но ведь я собственными глазами видела женщину, у которой мать немцы растерзали. Мы тут еще как спокойно живем, Миша!. У меня вот совесть стала болеть. И, знаешь, мно сегодня показалось даже: увидели

люди это чудовище немецкое и словно что-то очень важное и страшное в их жизни произошло..

— А ты у меня, оказывается, нервная, — пошутил Пермяков, чувствуя, что в жене ему открылась какая-то смутно волнующая его новизна.

— Давай, посидим маленько, — сказал он, притягивая ее к себе — это привычное сидение после обеда у окошечка словно должно было отодвинуть в сторону все неприятные волнения.

Михаил Васильевич любил эти несколько минут после обеда, когда он курил у окна, а жена, сидя рядышком, по обычаю своему, немногословно рассказывала что-нибудь или просто работала.

Сегодня Михаил Васильевич, как всегда, видел перед собой привычный мир своего старого дома. Дворик с низенькими службами был такой же, как всегда осенью, — пожухшая от дождей полянка, увядшие лопухи у забора, лохматая морда Красавчика в круглом окне желтой будки. В распахнутую калитку виден был огород с разрыхленными грядами, оголившиеся кусты смородины и малины. Все было, как всегда, — однако было что-то и другое во всем этом. Жена сидела рядом, родная, привычная, как сама верность, но ее крупные деятельные руки сейчас растерянно лежали на коленях, а глаза туманились раздумьем. Да и он сам чувствовал, что и с ним что-то произошло, что-то сдвинулось — и он еще не понимал, что это именно.

Старая ива в огороде, свесив длинные ветки, раскачивала ими, как плакальщица рыжими космами. Михаил Васильевич вдруг с досадой подумал: «Вот раскоряка, зажилась на свете, зря только место занимает!» При первой возможности надо срубить эту старую уродину: только небо закрывает! Тут он поймал себя на мысли: собственно говоря, многое, к чему люди слышком привыкли, как эта старая ива, закрывает ст. них горизонт, небо и вообще свет и ширь жизни. Да, небо, ширь.. неужели же он не чувствовал их в своей работе? «Мы жили слишком спокойно». Неужели и он, старый уральский красногвардеец, тоже с годами полюбил спокойную жизнь? Может быть, и сейчас все его обиды и волнения оттого и происходят, что эта спокойная жизнь теперь нарушена? Да неужели же он только этого и хотел, неужели только этим дорожил? О, конечно, нет! Если бы он был таким, Серго Орджоникидзе не вызывал бы его в Москву и не приезжал бы к нему на завод. «Ну, старик с Урала, как твои дела?» — раздавался иногда приветливый голос в телефонной трубке, — значит, не только во время совещаний, но и в часы своей текущей работы Серго помнил о нем. Новые заводские корпуса, кузнечный и литейный,

ПЕРМЯКОВ строгиться «с благословения» **Серго** — значит, он ценил «старика с Урала». А почему ценил? Считал, что **Пермяков** работает правильно. Однако в 1935 году в короткой беседе с **Пермяковым** (она оказалась их последней беседой) вдруг по какому-то поводу **Серго** заметил: «Только, Михаил Васильевич, никогда не упивайся тем, что правильно делаешь — сегодня это правильно, а завтра надо другое, уже нечто новое...» Да — новизна! Он ее чувствовал, конечно, — взять, например, те же новые цеха с их новой высокой техникой и, значит, новыми методами работы. Они ведь сразу очень неплохо вступили в строй — и ему, директору, не стыдно было смотреть в глаза руководящим товарищам. Значит, он не тупица какая-нибудь, не бюрократ, у него есть «чувство нового» — есть!

Почему же сейчас он чувствует себя так стесненно и тяжело? Ну, перед самим собой надо сказать правду: уж слишком много этого нового свалилось на его голову...

— Ты что не куришь? — вдруг спросила Варвара Сергеевна.

— А.. давай, давай, — почему-то смутился он.

Михаил Васильевич опять посмотрел на старую встрепанную иву и не твердо решил — спилить этот корявый ствол или нет. Да, за старое цепляться — света не видеть. А если новое наваливается на тебя, как шумный пенящийся поток? Ну, если ты свалишься с ног, захлебнешься, — значит большего и не достоин: пусть тащит тебя в водоворот, в бездну — ты не выдержишь испытания. Нет, этакий позор хуже смерти — ясное дело!

Пермяков вдруг пружинисто, молодо поднялся, расстегнул кожанку и на ходу обнял жену:

— Ну, я пошел, Варя.

Уже смеркалось, но **Пермяков** сразу заметил серую шляпу **Назарьева** и по привычке подумал: «Вот он, математик, заместитель мой — кость в горле!»

Николай Петрович торопливо шел, неловко прижимая к груди какие-то свертки.

— Михаил Васильевич.. жена моя приехала! — радостно сказал он.

— Что ж, поздравляю.

Пермяков вдруг представил себе, какая жизнь была бы у него, очутись он без своей **Варвары Сергеевны**, — и уже мягче спросил:

— Трудно, поди, ехалось ей сюда? Здорово ли?

— Благодарю вас! — ответил **Назарьев**, — она не только здорова, но даже чрезвычайно боевого настроения. Вообразите, она вместе с учениками заводской школы приехала. Понимаете, она создавала раньше эту заводскую школу. Столько они пережили в пути. Их состав бомбили еще

в Кленовке. Попали в окружение, месяца полтора жили с партизанами, пока наша армия не очистила те места от немцев. Ученики **Маши** в том отряде с разведчиками ходили. И она тоже чуть ли не в каких-то операциях участвовала. Уж она у меня, знаете, такая!

Один из свертков покатылся вниз **Пермяков** подхватил его и положил поверх других. **Назарьев**, смешно вытягивая шею, придержал его подбородком.

— Фу ты, батюшки.. тяжела ты шапка **Мономаха**! Вот кое-что получил в нашем магазине, — это все дочка нашего квартирохозяина, **Зиночка**, заботится о моих: «надо их подкормить».

Тут **Пермяков** заметил солидно шагающую рядом фигурку девушки-подростка в рыжеватом плюшевом пальто и белом берете.

— Никак это **Зина Невьянцева**? — всматриваясь, спросил он.

— Она самая, Михаил Васильевич! — звонким контральто отозвалась **Зина**. — Вот, несем всякую всячину — и детишки, и мама будут довольны.

— Большая уже ты стала, большая! — похвалил **Пермяков**.

— О, **Зиночка**, просто наш добрый гений! — воскликнул **Николай Петрович** и опять чуть не уронил что-то.

— Давайте-ка я приму, а то вы все разоряетесь! — строго сказала **Зиночка**.

У перекрестка **Пермяков** простился с **Назарьевым** и **Зиночкой**.

— Передай, **Зинуша**, от меня поклон **Степану Даниловичу** — здоров ли отец-то?

— Спасибо, здоров. Вы давно у нас не бывали, Михаил Васильевич, а мы бы вас яблоками угостили.

— Вот как зовет — молодая хозяйка, одно слово! — засмеялся **Пермяков**.

— Конечно, хозяйка, — серьезно согласилась **Зиночка**.

После ночного ливня, ближе к рассвету, взошла луна. Небо сразу раздвинулось, поднялось выше, и с каждым мгновением все ярче стали обозначаться клубистые облака. Потаенный свет, то там, то здесь пробиваясь сквозь густую мглу, гибко и настойчиво, охватывая края облаков, и они загорались еще неяркой, но чистой кромкой, белой, как нежный мех ягненка. Свеж все пробивалось сквозь облачную мглу, словно подбавляя небо и готовя его к встрече не приветливой осенней зари. И верно: она встала, нелаская, холодная, в дымной синеве тумана. Редкий крупный дождь вонзался в землю. В канавах и колдобинах на пустыре однообразно закурчала вода, разбрызгиваемая ветром.

Небо уже становилось бледносизым, лениво светлело, солнце где-то пряталось

Но все-таки это была заря, — и все живое уже готовилось к приходу нового дня. Стайкой вылетели из леса воробьи, а за ними мелкие, как цветики, серозеленые пёночки. Тенька и чиряка, они покувыркивались в сизоватом воздухе, словно обменивались впечатлениями:

— Чувить, тень-тень! Серовато, холодно-вато!.. Но все-таки скоро будет светло!

— Чувить-тень-тень! Ветер, ветер!.. Отврати-ти-ти-тельная погода! Но скоро будет день, день, день!

Над краем пустыря действительно становилось светлее, и даже скупое солнце нехотя бледно улыбнулось в прорезях между хмурыми облаками.

Птичьи стаи заметили грязную тушу металла с задраннным языком. Они подлетели к ней и любопытно закружились. Крохотная пёночка вспорхнула было на уродливо торчащий подшипник разбитой гусеницы, но, словно ощутив внезапное отращивание, взвилась вверх и больше уже не возвращалась. Кругленький воробей влетел во внутрь трофейного танка, но, будто задохнувшись, тоже взвилась вверх к небу, к чистому воздуху. Как к испытанному другу, понёсся он к старой березе и укрылся среди ее поникших, мокрых, но гостеприимных ветвей. Он отряхивался, чистился, хлопая крылышками, и только береза слышала, как стучало его маленькое вольное сердце.

Вдруг, властно заглушив перекалики птиц, посвисты ветра над лесами, пустырем и мертвым танком, — пронёсся густой пронзительный звук утреннего гудка.

Глава третья

«НЕТ СОЛОВУШКЕ ЗАПРЕТУШКИ»

К Тане Лосевой пришла ее подруга Вера Аносова, маленькая шатенка, с кокетливо завитыми «ангелом» волосами. Верочка была из числа тех девушек, о которых говорят: «кругленькая», «пухленькая», «миленькая». Она сидела на мягкой скамеечке около дивана, где полулежала Таня. Толстоватые румяные губы гости то-и-дело широко улыбались, она казалась даже слишком крепкой и здоровой по сравнению с бледной и молчаливой Таней.

После того, как все заводские новости были рассказаны, Вера, уже не в силах больше сдерживаться, перешла «к самой чудной новости».

— Артем Сбоев мне объяснился в любви!.. Подумай, Танька!

— А ты?

— Да я уже полгода влюблена в него!.. — и Верочка даже тихонько взвизгнула от счастья.

— Да, вижу: теперь у тебя только и звету в окошке, что Артем.

— «Теперь!» Ты намекаешь, как я в школе — два разочка всего! — увлекалась мальчишками... но так всегда бывает, обыкновенное же дело, ведь я и сама обычно-вен-ная! — и Верочка шаловливо развела мжистыми ручками с рубиново-лакированными ноготками.

Она было огорченно заморгала, но, рассмеявшись, беззаботно отмахнулась.

— А да все равно, какая есть! Я, видишь, не умею воображать там что-то такое, как ты это любишь!

— Я ничего не воображаю.

— А с чего тогда сидишь. как булавку проглотила?

— Так... — апатично бросила Таня.

Верочка вдруг прыгнула на диван, потерлась завитой головкой о танино плечо.

— Слушай, Танька... я знаю, о чем ты сейчас думаешь!.. О Сергее Панкове!.. Ага-а, вот и покраснела!..

— Н-ничего подобного!..

— Нечего, миленькая, меня не проведешь! Мне Зина Невьянцева уже всё разболтала.

— Да что ж она могла тебе такого рассказать!..

— Что вчера было!.. «Вижу, говорит, выходит из автобуса Таня Лосева и этак осторо-оженнько поддерживает Сергея Панкова». Что, было ведь это?

— Ну, было. Что тут особенного? Он ранен в руку и плечо.

— Понимаем, все понимаем: сердце ваше, Татьяна Ивановна, смилосердиось.

— Я всегда к нему относилась, как к хорошему товарищу.

— Ах, вот как! Ну, так я тебя сейчас совсем убью. Помнишь, в сороковом году, когда Сергей уехал в школу танкистов и зашел к вам!..

— Да-а, кажется, заходил!..

— «Заходил!» Да он тебя сколько времени ждал, сидел у вас до того, что еле на автобус успел.

— Что-то было... вспоминаю.

— Я тогда тебе еще сказала: «Слушай, Танька, если бы в меня кто так влюбился, — даже урод какой, — я бы и то обратила внимание на него: такая сильная любовь не каждый день встречается!» А ты мне ответила: «Бросим об этом говорить: Сергей ужасно неинтересный, серый какой-то, неуклюжий!» Не мотай, не мотай головой!.. А у него «неинтересного»-то Зинка Невьянцева сразу заметила — орден Ленина и Красного Знамени. Вот тебе и неуклюжий, вот тебе и серый! Нет на фронте он, должно, совсем не таким оказался.

— Довольно! Хватит! — вдруг вспыхнула Таня. Она вскоčila с дивана, прошла по своей маленькой комнатке и приостановилась перед зеркалом. Щеки ее горели. Она ту же зашила не-

большой узел русых волос, попудрилась и, наконец, обернулась к Вере.

— Подумаешь, какая защитница Сергея Панкова нашлась! — с сердцем заговорила Таня. — А только ты не воображай, что я из-за орденов его поддерживала, что мне внешний вид в человеке важен..

И вдруг зазвеневшим голосом почти крикнула:

— Мне.., мне его так вдруг жалко, так жалко стало! А когда мы подъезжали и я этот немецкий танк увидела, то сразу подумала: вот с какими Сергей боролся..

— Значит, тебе Сергей уже кое-что рассказывал?

— Конечно, сам. Ведь автобусом почти час едешь.

— Легко на домине! Сергей Панков идет — ну, ясно, к вам идет!

Таня подошла к окну. По улице поселка неслась снежная крупа. Сергей Панков огибал сквер. Здоровой рукой он нагнула ушанку ниже на лоб и, слегка наклоняясь, пошел против ветра. В полушубке он показался Тане шире в плечах, и походка его стала шире и крепче.

— Ну, я исчезаю! — весело сказала Вера. Она встряхнула Таню за плечи и лукаво проговорила:

— Желаю вам найти друг друга!

Сергей стоял на пороге столовой и смотрел на Таню.

— Здравствуй, Таня! — он улыбнулся и левой рукой осторожно сжал ее пальцы. — У меня рука холодная — перчатку забыл, — смущенно добавил он и зачем-то смешно подул на свою красную обветренную ладонь.

Он держался прямо, несмотря на раненую руку, его похулевшее, обветренное лицо приобрело незнакомую сухую резкость, а светлые глаза, «неясно-голубые», как иронически называла их прежде Таня, порой вдруг словно леденели, когда его хриплый, простуженный бас звучал решительно и жестко. Все в нем было ново, неожиданно и говорило о быстрой и богато выросшей силе. Но Таня видела вокруг его глаз дымный налет еще не зажившей боли, восковые тени на запавших щеках, пониже бледной мочки уха. Тане было почему-то стыдно этой смешной жалости, которая не только не исчезла, а даже будто уходила вглубь, вкрадчивая, сладкая, как вино.

— Ты что, Таня? — и Сергей наклонился к ней. В глазах его она прочла знакомую робость прошлых дней, когда он всегда боялся «попасть невпопад». Ей вдруг стало больно за эту робость в нем, сегодняшнем, — и опять стыдно за свою противную неотвязную жалость к нему, которую она уже возненавидела и ни за что не должна была обнаружить перед ним.

— Может быть.. я не во-время.. — начал он, но Таня испуганно прервала:

— Нет, что ты, что ты..

Наталья Андреевна рассудила просто:

— Будет вам препираться-то. Окажется, что ребята, что взрослые, когда не видятся долго, друг дружки стесняются да дичатся. Садись-ка, Сережа, за стол, обедать будем. Тебе, как военному человеку, винца нальем, а?

— Гм.. Винца можно, только давайте уж все выпьем.. за встречу! — и он бросил на Таню из-под жестких бровей несмело радостный взгляд.

Наталья Андреевна придвинула к Сергею хрустальную рюмочку с потускневшим золотым обрезом.

— Всякого тебе счастья! — сказала Таня. Рюмки их нежно звякнули.

— Хорошо! — вздохнул он, вытерев губы, и посмотрел сквозь чуть окрашенный пурпуром хрусталь.

— Хорошо! — повторил он решительно. — Вот, поверите ли, выздоровев, вернусь на фронт и буду потом об этих минутах вспоминать.. да еще как вспоминать!

— Ох, господи!.. Только выговорить легко — фронт, а на деле возьми — страсти-то какие невозможные! — и Наталья Андреевна даже зажмурилась. — Поди, Сережа, тебе тоже страшно бывало?

— Бывало, Наталья Андреевна, не без этого.

— Ну.. и как же тогда?

— Привыкаешь, — просто ответил он и улыбнулся. — Привыкаешь, как к работе. После того, как Сергей рассказал кое-что из фронтовой жизни, Наталья Андреевна спросила:

— Значит, немец-то много видел, Сережа? Близко?

— Мало того сказать «близко», на них наезжал и даже случалось, прямо-таки у себя на загривке чувствовал.

— Ой, да как же это так? Татьяна, можешь ты себе представить? А?

— Нет, не могу! — растерялась Таня и вдруг схватила Сергея за рукав, будто опасность именно сейчас угрожала ему.

— Но как же это было?

— Да, был такой не совсем обычный эпизод. Мой танк шел на одной линии с танком майора Квашина. Действовали мы, как полагается, — и вдруг я вижу: завертелся танк Квашина и стал. А немцы тут как тут. Подскочило десятка два автоматчиков, облепили танк, будто саранча. Только успела я сказать своим: «Надо нам товарища выручать», как мой танк тоже подбили. Вот дьявол! Посмотрел я в щель, вижу, обходят нас немцы. К тем, что на квашинскую машину надели, еще бегут на подмогу. Слышу, и по моему танку затопали немецкие сапоги. Карабкаются на башню, в стенки случат, орут: «Русь, сдавайся!» А танк как вмерз в землю, пушку заело, а стенки ведь не раздвиги-

нешь, чтобы их сбросить. И нет сил смотреть, как они на квашиной машине копошатся... Тогда я: «Из пулемета — по танку напротив!» Застрочил наш пулеметчик и посыпались немцы с квашинойского танка...

— Ну, а как с тобой? Ведь и по твоей машине топали немцы? — и Таня почувствовала, как исчезает ее смущение. — Что с тобой было?

— Что со мной было? — переспросил он, вдруг прервав свой рассказ, — и тут он впервые увидел, как может светить это доброе, милое лицо.

— Что со мной? — опять переспросил Сергей и засмеялся. — Да все в порядке! Мы стреляли, Квашин нам тут же весточку послал: своим пулеметом начал с нашей машины немцев сшибать! Вот и вся работа.

— Страшная работа! — поправила Таня и лицо ее стало осуждающим и строгим. — Мы тут вино из хрустальных чашечек пьем, под шелковым абажурчиком сидим.. а там..

— А там дерутся с врагом, — мягко, но настойчиво возразил Сергей.

Таня поняла, что Сергей огорчен переменной ее настроенности, но не желая «сдаваться», продолжала:

— Я и говорю о том, что..

— Нет, нет, я-то как-раз говорю о другом..

Сергей проводил глазами Наталью Андреевну, которая вышла по хозяйству, потом осторожно прикрыл своей большой рукой пальцы Тани.

— Знаешь, Таня, только мы, фронтовики, умеем по-настоящему ценить все, от чего нас оторвала война. Это просто замечательно.

— Что «замечательно»? — все еще строго спросила Таня.

— Да все: наш Лесогорский завод, распорядок его жизни.. и вот эта комната, ты со мною..

Его лицо светилось лукавой улыбкой:

— По этому поводу, прошу тебя.. не хмурься больше.

Только сейчас в полной мере почувствовала она, до какой степени изменился Сергей Панков. Долговязый нескладный юноша, который год-полтора тому назад смотрел на нее чаще всего робко и виновато, остался где-то далеко, за гранью снов, да незачем было вспоминать о нем: рядом с ней сидел совсем другой человек. Он явился к ней, как бы родившись вновь из огня, грома и крови.

— Что с тобой, Таня?

Таня, еле сдержав прихлынувшие к горлу слезы, вдруг опять почувствовала на своих пальцах тепло его руки.

— Ах, Сергей.. мне вдруг показалось, что ты уже так много жил, видел.. а я..

— Что ж, я, действительно, больше

твоего жил — на четыре годика старше тебя. Я помню, когда мне шесть лет было, а тебе два, ты уже тогда дразнила меня: «Гадкий матишка, гадкий матишка!»

— Да неужели?

— Фа-акт! А потом ты стала меня задирать по всякому поводу.. А потом и другое было.. но об этом, право, не стоит говорить.

— Господи, какая же я была!..

— А мне всегда нравилась в тебе этакая властность, воля, словом — характер. «Нравилась!» — с горечью отметила про себя Таня и, вдруг насторожившись, насильно улыбнулась:

— У тебя ведь тоже характер есть.

— Нет, твердости мне тогда сильно не хватало.

«А теперь я, видишь, тверд» — вот что он хочет сказать, — еще больше подумалось Тане. — «Он пришел к нам из вежливости только».

— Ты что-то все расстраиваешься, Таня. Видно, действительно, я не вовремя зашел.

— Нет, нет абсолютно вовремя, — вскрикнула она, страдая от какого-то скрытого поворота в их беседе, который, как уже ей казалось, Сергей сделал «с определенной целью».

— Ты что кричишь, Танюша? — входя спросила мать. — Или опять поссорились, старые приятели?

— Ссоры не было, только лучше бы мне к вам завтра зайти, — ответил Сергей, вставая из-за стола.

— Приходи, милый, приходи, — беззаботно сказала мать.

Таня закусила губу — все складывалось против нее, все! Ей показалось, что Сергей равнодушно и даже с некоторым облегчением простился.

Всю ночь Таня проплакала, чего с ней никогда не бывало. Она плакала, сама не зная о чем. Временами ей казалось, что это слезы «перед добром», как говорила мать, а чаще думалось, что перед самым тяжелым разочарованием и даже горем.

Она встала бледная, осунувшаяся. В полдень пришел Сергей, ужаснулся ее потухшим видом, вызвался съездить за врачом.

Ее подозрительность усилилась. Ей чудилось, что заботится он о ней слишком «спокойно», даже «формально», что пришел он опять «из вежливости». Он ушел огорченный, чему она тоже не захотела верить.

Ночь Таня не спала. Глупая и насмешливая мысль заставляла ее вскакивать с постели: «Уж не влюблена ли ты была в него еще в школьные годы да только не хотела признаться в этом из упрямства!» А теперь, когда Сергей тверд, Лосевская гордость загорела! «Изведусь я, кажется, совсем!» уныло думала Таня,

то поднимаюсь с постели, то ложась
оскоть.

Утром Таня взглянула в зеркало и в
глазях ненависти и отвращения к са-
мой. Лицо вспыхнуло, и ей почему-то
стало легче.

Сергей пришел в полдень и, бросив
взгляд на бледное, увядшее лицо девуш-
ки, заявил решительно:

— Больше чудить я тебе, Таня, не позво-
волю.. Одевайся и пойдем гулять. На
дворе, гляди, какой снег выпал!

Оба залязгивали белой улицей, кото-
рая казалась сейчас широкой и наряд-
ной. Лебяжьей опушкой лежал снежок на
деревьях сквера, на крышах и в пали-
садниках. За ночь земля подмерзла, снег
плаотно прибило к мостовой, и колеи от
машин голубели на дороге широкими
витыми жгутами. Белым платом бескрай-
но раскинулось небо, а посреди, как зо-
лотой с лазурью узор, окруженное мяг-
кими облачками, неярко горело низкое,
предзимнее солнце. Стекла домов на по-
луденной стороне улицы светились, как
позолоченные.

— Эх, здорово! — и Сергей, сняв ушан-
ку, подставил лоб ветерку. — Хороша по-
годка, Таня?

Тане стало легче. Сегодня разговор
развязался как-то сам собой. Сергей рас-
сказал, как вчера поздно вечером высту-
пал в маргеновском цехе, как «зажига-
тельно» говорили потом рабочие. Сегодня
вечером он обещал заводским комсомоль-
цам рассказать о боях под Москвой.

Последняя улица заводского поселка, —
так называемая Старая слободка, с ее
низенькими домиками, старинными резны-
ми воротами, сарайчиками, огородами —
осталась уже далеко позади.

Перед Сергеем и Таней расстиралась
белый простор, над северным краем ко-
торого чернели заводские трубы, а выше
поднимались хвойные хребты холмистых
лесогорских чащоб. Впереди, прямо через
поле, темнели какие-то длинные строе-
ния.

— Э, да мы с тобой к совхозу вы-
шли, — сказал Сергей. — А пока шли,
хорошая погодка миновала, будто ее и
не было.

— Да уж не погодка, а вон какой ве-
тер! — поправила Таня.

— Ох, ты, наверно, замерзла.

— Ни капельки! — засмеялась Таня. —
Я люблю такой простор!

— Вижу, вижу. У тебя сейчас и голос
совсем стал другой... Слушай, Таня, по-
чему ты два дня меня мытарила?

— Я тебя... мытарила? — смутилась де-
вушка, чувствуя, как в груди ее вдруг
разлилась горячая радость. И вдруг бе-
зошибочным чутьем, словно устремясь к
новому рубежу своей жизни, Таня поня-
ла, что надо «по правде» рассказать ему
все. Она заговорила свободно, и легко
ей стало.

Над дальним краем белого поля вихри-
ло и крутило снега, а го дороге уже
носились мятели. Ветер вдруг сильно и
шало ударил обним в лицо. У Сергея
распахнулся и сполз с плеча полушуб-
бок, надевший только на один рукав.

— Фу ты, незадача.. — смутился он.
пытаясь здоровой рукой набросить полу-
шубок на раненое плечо.

— Погоди я помогу, — вдруг рвану-
лась Таня, сбросила перчатки и ловко
накинула полушубок на плечо.

— Дай я ворот застегну.. тебе и теп-
ло будет, и полушубок не распахнется.

Ее пальцы коснулись его шеи, твердой
и холодной, как мрамор.

— Господи, да ты совсем замерз! Пого-
ди, сейчас, сейчас я достану крючком
петлю.. Вот, застегнула! Тебе не туго?

— Превосходно!

— И теплее теперь?

— Ты меня так обогрела, — что лучше
ветра да мороза для меня ничего нет..

— Да разве я только в мороз.. — на-
чала было она, и задохнулась от слад-
кого страха и блаженства: во всем этом
белом взвихренном ветром просторе
светились ей только эти горящие ожида-
нием глаза Сергея.

— Значит, не только в мороз.. — подхва-
тил он ее последние слова, как бы для
того, чтобы пошутить, но искаженное
мукой ожидания и счастья лицо его вы-
разило так много, что Таня проговорила
одним дыханием:

— Думай, что всегда я была с тобой та-
кая, как сейчас, — и буду всегда!

Сергей глухо вскрикнул, схватил ее
руку, прижал ее ладонью к своим губам,
глазам, потом жадным быстрым движе-
нием положил ее себе на грудь, в пуши-
стое меховое тепло и стиснул, словно
боясь протерять ее.

— Ты.. — прошептал он и, не выпус-
кая ее руки, притянул девушку к себе.
Тане вдруг показалось: об этом торжест-
ве под голубыми вихрями родной ураль-
ской метели мечтала ее душа, для этого
торжества на родном северном просторе
прожила она свои девятнадцать лет.

— Эй, ребятушки-касатушки-и-и! — раз-
дался вдруг хохочущий раскатистый го-
лос, будто захохотал и зафыркал сам
вьюжный ветер.

— Нет соловушке запретушки-и-и! — все
забавлялся ветер, — да ведь вас тут, ре-
бятки, совсем занесет!

Через борт грузовика перемахнули
большемордые подшитые валенки, черные
в красную крапинку, и маленькая фиур-
ка старичка в белой заячьей шапке и
подпоясанном пестрым кушаком тулуп-
чике весело затопталась перед Сергеем
и Таней.

— Ну-ко, ребятки, скачите в машину,
до дому доведем! — приказал старичок.

— Дедушка Тимофей-сундучник! — в
одии голос радостно воскликнули Таня и

Сергей, будто встретяся с самой сказкой, которая расцветает в детстве и не вянет никогда. Дедушка Тимофей-сундучник и игрушечник, сказочник и любимец всей лесогорской детворы, будто и в самом деле перестал стареть: те же хитрые и властные жесты, та же кустистая яркорыжая борода, тот же голос — то потешно-раскатистый, то мурлыкающий бас — и весь облик его, напоминающий мудрого гнома. Пятнистые валенки, «кухмарские скороходы», как он их шутливо называл, тулупчик, длинноухая шапка, рукавицы и пестро-канный шерстяной кушачок — все было то же, как и в сказке, будто и не изнашивалось. Тимофей-сундучника так хорошо знали во всей округе, что встретиться с ним считалось к добру и удаче.

— Садитесь, располагайтесь, как дома! — радушно хлопотал он, соорудив из плоских, обитых полосами железа чювеньких снарядных ящиков нечто похожее на низенькую лжанку.

— Спасибо, дедушка Тимофей, спасибо!

Когда грузовик тронулся, Сергей спросил, кивая на груды ящиков, среди которых пряталась маленькая картинная фигурка старика:

— Вижу, теперь других сортов сундучки делаешь, дедушка?

— Эти сорта делаю — никуда не денешься. Прежде ни одна невеста замуж не хотела идти без моего сундука али шкатулочки, а ныне я военный бригадир.

Он воинственно распушил свою огненную бороду и потряс кулаками в дубленых рукавицах.

Сердито и хитро подмигнув, он громко затянул какую-то, похожую на закливание, песенку, подсакивая от толчков машины.

Грузовик шел, колыхаясь, как корабль среди волн серебристо-голубой пыли. Ветер насвистывал в уши лихую зазывную песню. Пел и Тимофей-сундучник, гудел и мурлыкал, как добрый колдун. Таня сидела, прижавшись к Сергею, — и казалось ей, старая сказка детских лет в образе Тимофей-сундучника с его огненной бородой и мурлыкающей песней слышалась с жизнью действительной, полной ветра и снежного вихря, который бил колючей свежестью в лицо ей и Сергею. Сердце ее тревожно и сладко сжималось, словно этой жестокой колючей свежестью будущее встречало их любовь.

Через два дня после того, как Таня Лосева была зачислена в чертежную конструкторского бюро, Костромин вечером рассказывал матери, как эта девушка «просто все схватывает на лету».

— Чрезвычайно способная девушка, да, да! Я сегодня даже заинтересовался, как

она работает. И знаешь, мама, даже приятно смотреть...

— Да, да, конечно, приятно, — иронически поддакивала мать.

— Серьезно, мама.

— Ох, сынок ты мой, загляделся, не выдержал? Я тебя понимаю: на то и красота, чтобы ею любоваться. Да только, Юринька, эта красота не сегодня-завтра замуж выскочит за танкиста.

— За танкиста? — любопытно вскинулся Юрий Михайлович. — И он здесь? Послушай, мама, мне совершенно необходимо познакомиться с ним.

— Тебе на него тоже приятно смотреть?

— А, мама, брось шуточки!

Через несколько минут за «пузатым бой», большим лосевским самоваром, шла оживленная беседа между Юрием Михайловичем и Сергеем Панковым.

— Сейчас немцы, надеюсь на молниеносную войну. — говорил Юрий Михайлович, — оснастили свои танки определенным образом.

— Ну да, — усмехнулся Сергей, — они взвесили только мощь своего снаряда, но не учли мощи сопротивления... Этого немецкая аккуратность не предусмотрела.

— Да, да! — живо возразил Юрий Михайлович и с довольным видом протер очки. — Это вы очень правильно сказали, товарищ-капитан! Снаряд и сопротивление — именно так оно и есть!

— Я хочу сказать, что немцы не учли сопротивления того, кто находится под нашей броней, — и Сергей описал над головой низкую линию броневого потолка машины.

— Моя мечта, чтобы наши танкисты, уничтожая врага, были как можно менее уязвимы сами, — сказал Костромин.

— А для того — следи за немцем в оба! — строго изрек Иван Степанович и даже подрозил своим темным и твердым пальцем. Он только-что пришел из цеха, после срочного ремонта одного из старых молотов. Ремонт был произведен «по рецепту» самого Ивана Степановича, мастера кузнечного цеха, а, главное, силами самой бригады и удался прекрасно. Теперь Иван Степанович наслаждался чаепитием. Вытирая лоб большим с голубыми горошинами платком, он неторопливо пил стакан за стаканом, временно вставляя в разговор свои замечания.

— Мы, люди уральские, немцев-то еще с каких пор знаем! — продолжал Иван Степанович. Его густые с проседью усы даже встопорчились от злых воспоминаний. — И у нас, на Лесогорском, до революции немцы-управители бывали, и на Шуваловских заводах, что под Пермью, — случилось мне там у родных гащивать, — тоже немцев-управителей толкалось сколь-

ко хочешь. Всяких начальников мы, рабочий класс, над собой видали, а уж гаже немцев не видавали. Случалось, и у нас на Урале расправлялся народ с немцами. Будто про нас Некрасов, Николай Алексеевич, песню сложил. Помните, чай?

Иван Степанович прислонился, вытер усы и важно, как молитвенное изречение, прочел наизусть:

И немец в яму бухнулся,
Кричит: веревку, лестницу!
Мы девятью лопатами
Ответили ему.
«Наддай!» — я слово выронил,
Под слово люди русские
Работают дружной.
«Наддай, наддай!» Так наддали,
Что ямы словно не было —
Сравнялась с землей!

— Вот как Некрасов описал! — торжественно закончил Иван Степанович. — За немцем гляди в оба!

— Гляди в оба! Абсолютно правильно, Иван Степанович! — подхватила Костромин. — Немцы, конечно, постараются, придумают новые танки.

— Конечно, придумают, — согласился Сергей.

— Да, да, — продолжал Костромин. — Главная их надежда на металл, броню: и мы должны быть к этому готовы. Вас, Сергей Алексеевич, я из рук своих не выпущу, пока ваших замечаний о наших танках не услышу!

— Да, что ж, — рассмеялся Сергей, — бранить не собираюсь. Наш средний танк мы, фронтовики, очень уважаем и любим, а замечания, конечно, есть.

Между конструктором и танкистом началось, как успел шепнуть жене Иван Степанович, «сугубо технический разговор». Иван Степанович, важно и таинственно поднимая русые курчавые брови, тихохонько касался стаканом блюдца, чтобы не нарушить чем-нибудь течения этой беседы. Некоторые детали, относящиеся к «сердцу машины», ковались на пятитонных молотах его цеха, и он гордился про себя, что его старое кузнечное мастерство участвует в таком великом военном деле. Наконец, он не утерпел и, воспользовавшись подходящим моментом, опять вставил в беседу свое «отчее словцо»:

— Что говорить, наше русское мастерство от времени не вянет и не старится. К примеру, наш лосевский род, рассказывают, со времени царя Алексея Михайловича начало свое ведет от кузнеца Нефёда Лосева. Прапрадед мой, кузнец Андрей Лосев, у царя Петра жалованный рубль получал... Все у нас в роду были кузнецы да литейщики, и сколько раз мы, Лосевы, для битвы работали!.. Андрей Ло-

сев «казну» для петровских пушек ковал, а я, Иван Лосев, детали кую, которые к самому сердцу танка относятся. И сыновья мои, оба мастера-литейщики, оба в Молотове работают, и тоже по танкам, тоже оружейники боевые!

— А чем они все, Лосевы, не династия? — ласково подмигнув в сторону Ивана Степановича, спросил Костромин. — Честное слово, вполне династия, особенная, рабочая.

— Что говорить, копни-ка нас, и окажется — мы история! — с гордым смешком произнес Иван Степанович и вдруг застенялся: — Извините, однако, что я беседу вашу нарушаю.

Он замолчал и слушал, уже не прерывая. Темная его рука поигрывала курчавыми концами русых с белой проседью усов, а это значило, что Иван Степанович погрузился в какую-то, особо приятную и значительную задумчивость.

Несколько раз во время разговора с Костроминным Таня замечала, как Сергей с затаенной улыбкой переводил свой взгляд с нее на важное, задумчивое лицо Ивана Степановича, а потом опять по-матривал на Таню.

Когда Костромин ушел, молодые люди перешли в комнатку Тани.

Сергей обнял Таню за плечи.

— Отчего в глазныхках слезы?

— Да разве я плачу, милый?

— Нет, нет... слезы, где-то в глубине. Танечка, но я их вижу. Ты задумалась о чем-то, — я ведь видел, пока мы с Костроминным о технике разговаривали, — ты вся изменилась... Что с тобой?

— Да так... в голову всякое пришло...

— Ну?

— Вы всякие технические термины называли: «бензобак», «смотровая щель», «коробка скоростей»...

— Ну, ну?..

— А я вдруг подумала: да ведь все это дело со смертью связано...

— Вот оно что!. О смерти, милая, там и думать некогда. Солдатская жизнь, знаешь, какова: ты, враг, хочешь меня убить, так нет — раньше я тебя убью!. А я, уверяю тебя, настроен только на жизнь!

Он крепко прижал ее к себе и, целуя, сказал:

— Да какая там смерть, если в душе у меня — ты!

Скоро они простились. Таня вышла в переднюю проводить. Матовый тюльпан лампы освещал лицо Сергея. Таня помогла ему надеть полушубок на раненое плечо, застегнула воротник, и незабываемая голубая вьюга будто пронеслась перед ними.

Она еще долго сидела у окна и грустно смотрела в черную мокрую ночь. Погода сломалась, опять разлилась вязкая октябрьская оттепель с дождем и ветром, но Таня все еще виде-

лись голубые вихри метели. И будто не дождь в окна, а старый чудодей, Тимофей-сундучник пел, мурлыкал свою загадочную, как сказка, песенку.

Глава четвертая ГОРДОСТЬ

Матвей Темляков, сияя каждой чертой скуластого лица с вечным, рыжим румянцем кузнецов, быстро взбежал по лестнице и широко распахнул дверь своей квартиры.

— Катя! Катенька! — гулко и весело крикнул он.

— Нет ее дома, — послышался мягкий женский голос из ванной.

— Эх, — подосадовал кузнец, — нарочно домой спешил, а ее и нет! — Он заглянул в ванную. Там соседка, жена Никифора Сакуленко, Марья Сергеевна мыла своих близнецов — Ивася и Василька.

— Куда ж Катя ушла? — нетерпеливо спросил Темляков.

— Да в магазин же, — мягко и певуче ответила Марья Сергеевна и вдруг улыбнулась. — Вы, бачу я, даже помыться голком не успели, Матвей Петрович!

— То-оочно-о! — расхохотался кузнец. — Уж очень я нынче домой торопился! — Вытираясь полотенцем, он опять загляделся на себя в зеркало. Скуластое лицо с рыжими щечками и вздернутым носом смешливо смотрело ему навстречу.

«И-да.. не очень-то ты, брат, фасадом вышел!» — с веселой иронией подумал он.

— Одно жалко, Марья Сергеевна, — сказал он соседке, — на двенадцать лет старше я моей Катерины, — и Матвей даже вздохнул. — Когда я первую свою жену похоронил, было у меня решение — больше не жениться.. да появилась Катерина Лосева на моем жизненном пути... и вот два года, как опять женат! — и он с улыбкой развел руками.

— Пошла Катя за меня, не полюбила на молоденьких, как она сама, а выбрала меня!

— Не по хорошему мил, по милу хорош, Матвей Петрович.

— Это верно. А знаете, почему она меня выбрала, почему на меня внимание свое обратила? За мастерство она меня выбрала, за то, что я первым в цехе был и всегда работал художественно. Вы не подумайте, Марья Сергеевна, кузнецы тоже могут художниками своего дела быть. А Катя таких людей ценить умеет — она ведь из семьи Лосевых.

Войдя в комнату, Матвей подошел к большому портрету жены. Он заказал его вскоре после свадьбы — так хотелось ему, чтобы она всегда была с ним. Она смотрела на него удивленно и улыбалась затаенно весело, чуть прикусив нижнюю губу.

Он надел праздничный костюм и уже начал «мучиться» с завязыванием галстука, когда Катя вошла в комнату.

— Ты чего нарядился? — удивилась было она, подняв серпиком темнокаштановые брови, — и вдруг, догадавшись, радостно взвизгнула:

— Так это сегодня будет? Ты сегодня пойдешь знамя получать?

— Да-с, переходящее знамя Гвардейской дивизии.. — с важным видом начал было Матвей, но Катя подскочила к нему и повисла у него на шее.

Домой они вернулись в первом часу ночи.

Катя, припав головой к плечу мужа, невольно загляделась вниз, на огни завода. Раскинувшись далеко вокруг, как море, они сияли мощными россыпями, освещая осеннюю ночь золотым пожаром, от которого бледнели звезды.

— А вон и наш цех, — сказал Матвей.

Высокая стеклянная крыша кузнечно-го цеха жарко горела огнями, как гребень алмазной горы. Как хорошо помнилась Матвею чумазая подсобная кузница, которая пятнадцать лет назад стояла на месте этого красавца-цеха. Помнил он и себя — долговязого неуклюжего парня из глухой лесной деревни. Сначала он был чернорабочим и знал один инструмент — кувалду. Как он завидовал каждому кузнецу и как он был счастлив, когда его взяли в кузницу молотобойцем. Он подковывал заводских битюгов, ковал крючья, топоры. Что было у него тогда, кроме медвежьей силы мускулов?.. А теперь он не представляет себе работы без чертежа и кует, шутка сказать, детали для тяжелых и средних танков..

— Матвей! — прервал его воспоминания сонный голос жены. — Это ты заранее или на сцене придумал, когда ты насчет знамени сказал?

— А что я такое особенное сказал?

— Удержу, мол, знамя до конца войны.

— Маленько не так, Катенька, было говорено: «Буду стараться удержать».

— Лучше бы так сказал, как я думала.

— Лучше всего лечь тебе спать, неугомонная!

На другой день Катя объявила мужу:

— Я завела альбом.. Смотри, хорошо?

В самодельном альбоме, разрисованном цветными карандашами, Матвей увидел наклеенную на первом листе заметку заводской многотиражки о вчерашнем торжестве.

— Ну, как? — спросила Катя.

— Видишь, вокруг заметки какую я рамку нарисовала? Вот и у нас с тобой как бы есть свой заветный рубль. Этот рубль царь Петр Андрею Лосеву подарил. Приехал царь Петр на Урал

да свои заводы посмотреть и о мастерах узнать. Вошел в кузницу, а там Андрей Лосев ковал. Царь ему говорит: «Покажись-ка, мастер, каков ты есть. А Лосев Андрей не из робких был, кует себе, только искры во все стороны летят, да железо звенит-позванивает. Царь ему опять говорит: «Покажись, каков ты есть!» Тут Лосев даже осердился: «Экой несмышленный пришел — или не видишь, как я роблю? Каков труд, таков и человек! Понимать надо!» Царь засмеялся: «Спасибо за выучку, кузнец!» — и стал смотреть на ковку. И так замечательно ковал Андрей Лосев, что царь даже удивился и сказал: «Таких мастеров даже за границей не видал!» Потом вынул из кошелька рубль и дал Лосеву: «На, говорит, старик, храни сей заветный рубль, счастливый рубль, храни да помни!»

Однажды Катя с торжеством показала мужу две маленьких вырезки из центральных газет.

— Ну, что ты теперь скажешь? — спросила она с победной улыбкой на губах. — Это по-твоему ничего особенного? Что ж, в Москве всякую, какую попола, бригаду будут хвалить? А?

Однажды Матвей пришел домой с незнакомым молодым человеком.

— Вот, Катя, товарищ твой — корреспондент из газеты «Металлургия» желает написать о методе моей бригады.

— Ах, очень рада! — расцвела улыбкой Катя. — Моему мужу есть что порассказать!

Оживленная беседа уже шла к концу, когда корреспондент спросил:

— Скажите, товарищ Темляков, на какой срок надеетесь вы удержать переходящее знамя в вашей бригаде?

— Он уже сказал: «До конца войны!» — вмешалась Катя. — До конца Отечественной войны!

Она посмотрела на мужа и даже приоткрыла тихонько, словно приказывая: «Ну, ответь-ка ему по-свойски, ну!»

Но Матвей глядел в окно на беспросветный октябрьский ливень и, казалось, глубоко раздумывал.

— Вопросец вы мне задали, товарищ, — бормотал он, потирая ладонью крепкую медноокрасную шею. — Сам я об этом еще не думал, но вот сейчас...

— Что тут думать, не понимаю! — опять вмешалась в разговор Катя, но Матвей серьезно отмахнулся и повторил: — Надеюсь ли я долго удержать знамя за своей бригадой?..

Он опять потер себе шею, помолчал и вдруг твердо сказал:

— Нет, не надеюсь удержать.

— Что?! — вскрикнула Катя. Ей казалось даже, что она ослышалась.

Она сердито засмеялась:

— Он что-то путает, товарищ корреспондент!

— Нет, простите, я понял товарища Тем-

лякова совершенно точно, — и корреспондент перевернул новую страничку. — Теперь в высшей степени интересно, почему вы так думаете, товарищ Темляков?

— Причина есть, само собой разумеется. — с тем же напряженно серьезным лицом ответил Матвей. — Теперь я ее особенно ясно вижу. Видите ли, несколько дней назад Никифор Сакуленко вызвал меня на соревнование — нашим двум бригадам приказано освоить новую деталь. Трудная деталь, фигуристая, а плановое задание увеличено. Взялись мы здорово, а потом я... малость отстал. Сегодня ночью хотел наверстать... и опять отстал.

При этих словах мужа Катя бессильно опустилась на диван. Не следовало выдавать своих чувств при постороннем человеке (еще и это запишет!), и она, с великим трудом принуждая себя молчать, кипела и дрожала.

— У Сакуленко производственный опыт больше моего. Он ведь работал на превосходных заводах, — таких у нас в Лесогорске нет. Ну, и общие знания у него выше, чем у меня — для него математика, например, что сестра родная, он и в чертежах очень тонко разбирается!

— Все это не могло не сказаться в решающий момент, товарищ Темляков.

— Определенно. Мы, конечно, стараемся наверстать упущенное, однако, в нашем деле обманывать себя не годится: есть у меня основание думать, что нашей бригаде, возможно, придется знамя на время в другие руки передать.

Едва за корреспондентом захлопнулась дверь, Катя, бледная, яростная, подскочила к Матвею:

— Что это делается? Ты с ума сошел?

— погоди, Катя, послушай...

— Знать ничего не хочу, я все вижу, что будет: появится теперь о тебе статья, что ты не надеешься знамя удержать... и я потом...

Ее лицо сморщилось, и злые слезы брызнули из глаз.

Моргая от слез, она вдруг сдернула со стены нарядный альбомчик и стала рвать его на мелкие клочки.

— Вот тебе «альбом», вот тебе и «заветный»... Дура, я поверила в тебя, в силу твою, а ты уже готов отступать перед чужой подлостью!

— Стой, стой!.. Какая подлость? Откуда?

— Это Сакуленко нехорошо поступает, это он хочет от тебя знамя отнять, столкнуть тебя с дороги...

— Пшш... тише ты, сумасшедшая... Марья Сергеевна дома!

— А мне все равно!.. Это за нашу-то доброту к нему и ко всей его семье, за наше сочувствие он так отплатил...

— Катя, Катя... Марья Сергеевна услышит. Вот, ей-ей, сейчас из дому убегу...

— А! Мне все равно!.

Дверь быстро распахнулась, и Марья Сергеевна, без стука, быстро вошла в комнату. Ее болезненное лицо залилось пятнистым румянцем, губы сводило судорогой обиды и гнева.

— Я не позволю никому позорить... не позволю...

Голос ее прервался, она махнула рукой и почти выбежала из комнаты. Матвей посмотрел в окно, на низкое наливающееся темнотой небо, на косые иглы дождя, который злобно бил в стекла, и отчаянно схватился за голову.

— Что ты наделаала, Катя!

За стеной, в комнате Сакуленко, глухо зарыдала Марья Сергеевна.

— Будь ты совсем... — растерялся кузнец. — Какая ерунда получилась, прямо хоть из дому беги!

Что ему делать сейчас с Катей, с Марьей Сергеевной, он просто не знал — таких происшествий в его жизни никогда не бывало. Втянув голову в широкие плечи, Матвей вышел в переднюю, тихонько накинул пальто и бесшумно открыл дверь на площадку.

— Ф-фу-у! — облегченно вздохнул он, спускаясь с лестницы.

— Ты что, Матвей Петрович? — спросил снизу знакомый голос. Никифор Сакуленко, большой, плотный, улыбаясь широким, черноусым лицом, поднимался ему навстречу.

— Стой, погоди домой вернуться, — мрачно предупредил его кузнец.

— Что случилось? Маша? Дети? — испугался Сакуленко.

— Все здоровехоньки. Выйдем, я тебе все расскажу.

— Да позволь, серденько, куда же мы, на ночь глядя, да и к тому собачий ливень...

Но кузнец все-таки увлек его за собой. Они зашли в клубную читальню. Там было пусто. Дождь хлестал в окна, в трубах с воем и грохотом бежала вода.

— Ну, сидай, — добродушно сказал Сакуленко, включая настольную лампочку. Под зеленым абажуром вяло разлился бледный немощный свет.

Матвей тяжело вздохнул и хмуро стал рассказывать Сакуленко, что произошло дома.

— Ну и что же? Какая отсюда мораль? — спокойно спросил Сакуленко. — Работаем мы, извини, не для удовольствия и гордости наших жинков, а прежде всего для государства. Как бы кто ни сердился на меня, я хуже, чем умею, работать не могу. Да и вообще работать сейчас хуже, чем ты умеешь и можешь, что за чушь?

— Оно, конечно, правильно.

— А коли так, идем скорее домой чай пить да за самоваром балакать! — весело предложил Сакуленко и с явным удовольствием выключил лампочку.

Но дома «балакать» не пришлось. Квартира словно замерла в унылой настороженной тишине. Из комнаты Сакуленко не донеслось ни звука.

У Темляковых тоже было тихо.

— Вот, видишь, — шептал Матвей, — она все мужу рассказала, а он обиделся. В какое положение ты меня перед товарищем поставила!

Катя заплакала.

— Я же за тебя терзалась!

— А я просил тебя об этом, просил?

Впервые в жизни они всерьез поссорились.

— Сакуленко хороший мужик, перво-статейный кузнец, — хмуро настаивал Матвей.

— А ты представляешь себе, что люди ради славы могут иногда сотворить? — насмешливо пожалела его Катя.

— Знаешь что? — вдруг решила она. — Пойду я к нашим, скажу.

— Отца хочешь в это дело втравить? — опасно вздохнул Матвей. — Но куда же ты, на ночь глядя, пойдешь? Дождище, ветрище...

— Что, мне восемьдесят лет? — фыркнула она и убежала.

Дома был только отец. Мать и Таня были на вечеринке у Панковых. Катя дала волю своему возмущению и обиде, рассказала все и потребовала:

— Подумай, папа, что хочешь, но вмешайся, обязательно вмешайся в это дело!

Иван Степанович еще до прихода Кати уже знал обо всем. На том бы дело и кончилось, не пояись Катя. Ее возмущение пердалось старику еще и потому, что Катя затронула лосевскую «родовую гордость».

— Лосевы всегда настоящими мастерами были и ни у кого на запятках не стояли! — горячо и гневно доказывала Катя. — У Лосевых в почете были слава да гордость, а не отсталость.

Иван Степанович взволновался, помрачнел и тоже стал высказываться в тоне дочери. И чем больше он говорил, тем сильнее ему казалось, что Матвей отнесся «как расточитель» к старинной гордости лосевского рода мастеров.

Услышав, как Костромин вышел в переднюю проводить Димитрия Никитича, старик Лосев вдруг решил посоветоваться с парторгом.

Иван Степанович с многозначительным видом обратился к парторгу:

— А мы с дочкой моей очень просим вас, Димитрий Никитич, зайти к нам на минуточку — важное у нас к вам дело, душевное, можно сказать, обстоятельство..

Иван Степанович сел рядышком с парторгом и начал немного загадочно:

— Скажем, оставил человек потомкам своим дерево плодородное и заказал на многие годы: «Берегите, умножайте плоды его на радость». Так оно и шло. И

вот кто-то перестал дорожить этим древом славы — а, ладно, мол, пусть кто хочет с него яблочки дорогие срывает, новые, мол, вырастут. У нас, Лосевых, свое древо славы — мастерство. Наш род царь Петр Первый отличал, потому что у нас скудоумных и хударуких в мастерстве не бывало. Зять мой, Матвей Темляков, не имей он мастерства, не попал бы в нашу семью ни-по-чем!.. А теперь очень обидно мне, что зять мой Матвей Петрович..

— Позволяет с вашего фамильного дерева яблоки срывать.

— Точно, Димитрий Никитич, точно. Сакуленко кузнец хороший, но..

— Но, чего доброго, вашу фамильную славу обездолит..

— Вот то-то и обидно.. — протянул было старик Лосев и вдруг осекся — парторг смотрел на него замысловато искрящимся взглядом, как в игре перед удачным ходом: «А я, мол, тебя сейчас собью!»

— Продолжая ваше сравнение, Иван Степанович, хочу вам только напомнить, что всякое плодосное дерево требует ухода: срезайте сухие старые ветки, прививайте новые, удобряйте почву.. верно?

— Правильно.

— А уж что говорить о мастерстве, какой уход за ним требуется, не мне вам об этом рассказывать, Иван Степанович. И, скажем прямо, плохое то мастерство, что на месте топчется, перемен боится.

— Уж это верно, так верно.

— А как вы думаете, может в наше военное время назваться подлинным мастером человек, который воображает, что его мастерство служит только ему, его самолюбию..

— Согласен, — заметно смутился Иван Степанович. — Все, что имеем в мастерстве нашем, родине, фронту отдаем.

— Так о чем же тревожиться лосевскому роду мастеров? О том, что, глядя на их мастерство, другие захотят работать лучше? Или вы хотите, чтобы вокруг вашего «дерева славы» образовалась бесплодная пустыня?

— Как можно, Димитрий Никитич, того у меня и в мыслях быть не могло..

— Ну, вот и прекрасно — значит, мы с вами друг друга вполне понимаем, Иван Степанович!..

Проводив Пластунова, старик растерянно опустился на софу, где он только-что беседовал с парторгом, и выразительно посмотрел на дочь.

— Слышала, как он вопрос повернул?.. И, знаешь, Катерина, нехороший смысл получается если задуматься: что же, выходит, я своему брату, рабочему, как завистник, бревно поперек дороги буду бросать?.. Нет, хватит, дочка, хватит.. втравишь ты меня в историю на старости лет, и опозорюсь я. И не проси, не прося..

Катя поднималась к себе, сумрачная и словно еще более раздраженная, чем вышла из дому.

— Отвела душу? — иронически спросил муж. — Что Иван Степаныч?

Катя сняла берет и упрямо трянула головой.

— Что?.. Папа на тебя обижается, — как бы с нарочитой сдержанностью ответила она и, решив, что нападать в ее положении лучше, чем отступать,

Она уже спала, а Матвей все курил у окна, глядя на заводские огни.

Утром Матвей, едва проснувшись, вспомнил все и сразу помрачнел.

— Фу, как погано все получилось!

Сакуленко с полотенцем через плечо вошел было в ванную. Увидев там Матвея, он молча вышел. Близицы, высунув носы из дверей своей комнаты, испуганно спрятались, когда Матвей прошел мимо. Марья Сергеевна с кошелкой в руках, столкнувшись на пороге с Катей, отстранилась и пробормотала как незнакомая: «Извините..»

Потом, когда ребята все-таки вскочили в переднюю, Марья Сергеевна затащила их обратно, крикнув с сердцем:

— Вон! Нечего вам тут людям мешать! В обеденный перерыв, обнаружив, что забыл спички дома, Темляков подошел к Сакуленко.

Сакуленко молча протянул ему свою трубку и отвернулся, продолжая с кем-то разговаривать.

— Ты что это ныне.. как по-вашему говорят.. сумный такой? — как ни в чем не бывало спросил Матвей.

— А тебе что? — не поворачивая головы, бросил Сакуленко.

— Да я так.. вообще.. — сконфузился Матвей и отошел.

Дома его ждала та же унылая, настороженная тишина. Она показала ему такую противную, что Матвею даже стало тошно.

Утром Матвей еле поднялся: голову отчаянно ломило, сердце сжималось, словно он лез куда-то на крутизну.

«Этак прямо-таки пропадешь», — подумал он с тоской и страхом, даже не радуясь правильно принятому решению.

— Ну, как? — спросила Катя.

— Что? — проворчал он, — Соревнуюсь, и все!

Дождя не было, но небо, низкое, тучливое, висело над домами и над голыми рябинами молодого сквера, будто огромная лохматая овчина. Чувство стойкого счастья, которого еще недавно даже совестился Матвей, казалось, затерялось надолго среди этих взъерошенных облаков, мокрых деревьев и тумана.

Продвигаясь в толпе к проходной будке, Матвей услышал позади себя разго-

вор двух незнакомых людей. Говорили о Сакуленко.

— Сегодня он покажет свой методковки.

— А, это насчет той новой танковой детали? Но откуда ты знаешь, что он всем будет показывать?

— Так он сам объявил вчера после смены: приходите, мол, смотрите все. А главное, наперед пообещал: «Поставлю новый рекорд».

Во времяковки Матвей несколько раз замечал, как на соседнем участке, против пятигонного молота Сакуленко, то-и-дело собирались кучки людей, смотрели, оживленно размахивая руками, словно дивясь чему-то.

«А ведь он опять что-то придумал! Надо пойти поглядеть!» — не утерпел кузнец и решил непременно, самым детальным образом все рассмотреть.

В обеденный перерыв на участке Сакуленко собрались бригадиры и подручные со всего пролета тяжелых молотов. Матвей пробрался в первый ряд и отдался привычному рабочему любопытству: а ну-ка, посмотрим, как у тебя, брат, получится?

Почти рядом с собой Матвей увидел геста, Иван Степанович стоял, задумавшись, и не заметил его. Сложив на груди темные жилистые руки, старик внимательно смотрел на все приготовления к ковке, будто взвешивая и непрерываемо оценивая каждый шаг и движение людей.

«Папа на тебя обижается», — вспомнились Матвею слова жены и он решил не попадаться тестю на глаза. Однако, прекрасно понимая, что старик следит за всем происходящим не только профессионально, как мастер смены, но и как Иван Лосев, — Матвей не мог не наблюдать за ним. Да и многие, обступившие полукругом площадку перед молотом Сакуленко, понимали то же самое и с почтительно-сдержанным любопытством доглядывали на старого мастера.

Кран подъехал, неся рыже-золотую болванку, и еле успел остановиться против молота, как болванку, словно обезжелезеного бешеного коня, уже подтащили к молоту. Рассыпая искры, болванка покорно вползла на неостывающее ложе наковальни. Сакуленко кивнул — и две пары клещей впились в ее раскаленные бока. Сакуленко шагнул к прозрачному пламенеющему слитку металла и скупым, словно отточенным движением опустил на него свой черный топорик, властно крикнув:

— Мо-лот!

Молот ухнул и упал, вогнав топорик в металл, будто в огненную глину.

— Клещи! — скомандовал Сакуленко, и двое других подручных, уже ожидавших этой команды, повернули болванку

на ребро. Так он командовал несколько раз, и подручные, сменяя друг друга, быстро и точно поворачивали слиток.

— Уго-ол! — протяжно пропел Сакуленко, и болванка с зияющей на ней глубокой зарубкой легла теперь под углом, Черное плоское тело топорика нависло над ней, как кинжал над обреченной плотью. Оживленный говорок вспорхнул над толпой:

— Здорово придумано!

— Прежде болванку попросту сначала на-двое разрезали..

— А потом уж угол высекали..

— А этот сразу на одной уголке просечет, а другая тут же заодно, сама собой отделится от первой половинки.

— Простая же штука, ребята!

Иван Степанович вдруг строго поднял руку: не мешайте, мол, важное дело происходит.

Матвей смотрел на ковку, не отводя глаз. Пятигонный молот вдруг показался ему небольшим сооружением, чрезвычайно подвизанным и послушным, как хорошая собака. По полукругу, где стоял со своим топориком Сакуленко, как будто кшелем горячий поток дружных, ритмичных, как подъем и откат волны, движений. Они сменялись с веселой яростью, безошибочные, как выстрел в цель.

Когда болванку, перерезанную наискось, Сакуленко разъял надвое своим топориком, разъял мягко и гибко, словно толщу глины, наблюдатели все, как один, восторженно ахнули:

— Ловко!

И Матвей кивнул «ловко», потому что все, что делал Сакуленко, непременно и естественно входило в сознание Темлякова, как пронзительная струя свежего воздуха, который вливается в распахнутое окно. Си чувствовал себя удивительно легко и прочно связанным со всем, что делал у своей пятигонки Сакуленко. Матвею хотелось войти в горячий его полукруг и сейчас же, немедленно рассказать, что он сейчас думает и чего хочет. Но нельзя было прерывать ритма этой огненной работы.

Рассеченная болванка, гремя, скатилась на железные плиты пола, и только тут Сакуленко откинулся назад, разминая плечи, и вытер потное лицо. Потом Сакуленко чуть задержался взглядом на двух укороченных слитках металла, которые в его руках получили форму и назначение. Что-то отцовское уловил Матвей в этом взгляде и улыбнулся тоже, в совершенстве это понимая.

Матвей понял также, что выражали хитренько посверкивающие васильковые глаза Ивана Степановича: старик любовался Сакуленко, потому что «мастерство рабочего человека», а особенно кузнеца всегда было для него самым дорогим и волнующим зрелищем. Старик вдруг за-

села Матвей и выразительно подмигнул ему, кивая на Сакуленко:

— Чистая работка! Здорово!

Вдруг, оглянувшись, Иван Степанович подтолкнул зятя:

— Пластунов тоже здесь!..

— А что такое?

— Да ведь разговор у меня с ним был насчет тебя да Сакуленко... расскажу потом... Ему, Пластунову-то, мало, что прошил он меня, так он еще и сам пришел на ковку смотреть, да еще что-то на ус мотать.

«Вовсе не обижаются он на меня!» — открыл для себя Матвей, и ему стало легче.

— Ну! — зычно крикнул Сакуленко и хлопнул себя по животу, обтянутому кожаным фартуком. — Обедать пора, хлопцы, а то борщ остынет!

Все, шумно переговариваясь, начали расходиться со смехом и шутками

— Ишь ты, хитрец — «борщ остынет!»... Хо, хо!

— А сам всего в пять минут управился.

— Да неужто всего пять минут прошло?

— Товарищи, а ведь он слово сдержал: новый рекорд поставил и новый метод доказал.

— Братцы мои, так это же выходит — пятьдесят деталей за смену?

— У Темлякова было сорок семь.

— Эй, Матвей!.. Сакуленко-то обставил себя!

Матвей кивнул и улыбнулся:

— Пока-что верно: обставил.

— Ишь ты, «пока», видать, что-то замутил, парень?

— Возможно и так.

— Хорошо, что не тухнешь, Матвейш-ко!

Матвей громко расхохотался.

— Да зачем же мне тухнуть, когда кругооборот получается хороший?

— Это чем же ты так расхвастался? — слышался голос Кати. Она шла в кухне стерженщицей своей комсомольской бригады. Ее лицо, вымазанное маслянистой земляной смесью, казалось старше, она смотрела на мужа сердито.

— И доволен-то как... прямо ни с того, ни с сего.

«Зеленая колючка!» — вспомнил кузнец.

Придя в столовую, Катя демонстративно заняла со своими стерженщицами самый дальний стол и села, не глядя в сторону Матвея.

Кузнец добродушно фыркнул в кулак и стал искать Сакуленко — этот человек был ему действительно необходим.

А Сакуленко только-что сел за отдельный столик и старательно тряс перочницу над тарелкой дымящегося борща.

— Тю! Здесь перцу нема! — проворчал он, поднял голову, ища глазами вокруг, и увидел кузнеца. Матвей смотрел на

Сакуленко с широкой обезоруживающей улыбкой.

Темляков без приглашения сел за стол и, подозвав официантку, заказал обед.

— И кроме того, нет ли у вас, многоуважаемая, чего-нибудь этакого... искристого?.. Понимаете, чтобы подъем настроения выразить?.. Ситро имеется? Харашо-о, тащите ситро!

— Что ты этаким именинником смстришь? — невольно любопытствовал Сакуленко.

— Благодаря тебе.

— Чудеса в решете!

— Смотрел я на тебя, как ты свой метод показывал, — тайственно подмигивая, начал Матвей, — и прямо тебе скажу: во-первых, у тебя очень здорово организован весь технологический процесс, есть чему поучиться.

— Эге ж, — довольно сказал Сакуленко. — А ты что думал?

— Так я как-раз и думал! — залился беззвучным смехом Матвей. — Мне в голову такая мысль пришла, такая, открой тебе, замечательная мысль... хо-хо!..

— Вот как. Это приятно, — сдержанно похвалил Сакуленко. — Значит, я тебе помогу?

— Определенно! Вот за это я тебе спасибо пришел сказать, прямо-таки от души, спасибо!

— Ну, что же, це гарно, братику, — уже совсем благодушно промолвил Сакуленко.

— Вообще, понимаешь, — опять тайственно заговорил Матвей, — чудное дело: велик ли срок пять минут, а думи человеческой и тут простора хватает!

— Это верно, — согласился Сакуленко и вытер мягкие, обвислые усы. — А какая же мысль тебя так обрадовала?

— Скажу! — торжественно победил Матвей. — После смены пойдем вместе и я тебе все открою.

Разбрызгивая черные осенние лужи, они шли большими шагами, два сильных человека, — худой, жилистый Темляков и плотный, приземистый Сакуленко.

— Понимаешь, — басил Матвей. — Увидел я, как люди у тебя расставлены, как ладно они сменяют друг дружку и, значит, устают меньше. Я прежде как-то не задумывался об этом: все, мол, у меня ребята наподбор..

И они разобрали по косточкам бригаду Темлякова и мысленно почти всех представили на новые места.

— Этак и всамделе лучше выйдет! — и Матвей радостно потер руки. — А здорово же ты угол высекаешь! Смело, крепко, будто песню поешь! Но.. — и Матвей, многозначительно фыркнув, повертел головой. — Но тут еще можно кое-что сделать!

— Да ты о чем? — так и вскинулся Сакуленко. — Что же еще можно сделать?

Они уже поднимались по лестнице. Гемяков повернул ключ в двери и так сияюще улыбнулся, что Сакуленко даже штрикнула назад.

— Ну, не томи же ты меня, хлопче! — взмолился он, стаскивая с плеч намокшее пальто.

— Сюда! Милости прошу к моему паашу! — и величественным жестом Матвей пригласил Сакуленко к своему рабочему столу.

— Терпеньеице, Никифор Павлыч, терпеньеице, обещанного три года ждут. Будьте так ласковеньки, взгляните на этот чертежик! — важно сказал Матвей и одним махом развернул перед Сакуленко лист бумаги большого формата.

— Узнаешь, Никифор Павлыч?

— Чего ж тут не узнать, коли это наша новая деталь! Стой... стой! А что у тебя тут?

Сакуленко торопливо надел очки и его большие мясистые пальцы взволнованно забегали по чертежу.

— Позволь, позволь, у тебя тут угол тоже должен высекаться сразу, не... как у меня, а наоборот.

— Да! Вот тут-то и вся штука! Я задумал сначала высекать малый угол, а потом большой, но... вдруг оробел, неудачи испугался, — ой, а вдруг, мол, не получится у меня, металл загублю, болванку искражу, и она с позором обратно в мартен отправится — со мной какой истории никогда не бывало. А пока я вызеряла да настраивался, ты уже начал угол высекать — и перегнал меня.

— Однако твой способ... туя я, лучше моего, Матвей, — раздумчиво сказал Сакуленко.

— Вот в том-то и крутооборот получается! Когда я твой метод, Никифор Павлыч, увидел, я в своем натвердо уверился!

— И поверь мне, твой метод лучше и смелее.

— Но ты к нему дорожку проложил, Никифор Павлыч!.. Ф-фу, подумать только, я было хотел от соревнования с тобой отказаться... а?! Это ж, все равно, как от части души своей отвернуться!

— Слушай, — серьезно сказал Сакуленко, — жигищина всякая, ей-богу, не стоит того, чтобы о ней вспоминали...

— Смотри, какая получается комбинация: я коня снаряжал, а ты дорогу показал. И теперь, выходит, не отличишь, где твое и где мое — да и нужно ли нам это теперь... верно?

Матвей вдруг поднялся со стула, гордо приосанился и сказал, словно дары принес:

— В силу всего этого, не угодно ли вам, Никифор Павлыч, мой способ выбирать?

— Угодно, Матвей Петрович, вполне угодно!

— А ввиду того, что вам это угодно,

не следует ли подсчитать, сколько этих самых танковых деталей сверх того, что дал Сакуленко, можем мы теперь дать оба?..

Кузнецы не слышали, как в дверях комнаты появилась Катя. Оба не видели, с каким гордым недоумением смотрела она на них. Но что-то заставило Катю остаться безмолвной.

Свет лампы мягко лился на склоненные над столом головы: лысеющую макушку Сакуленко и русский, жесткий бобрин Матвея.

«Быстро же вы помирились!» хотела бы сказать Катя, но опять почему-то не посмела: сила, которая объединяла этих двух людей, была так могуча, что хваленая «лосевская гордость» стояла перед ней, как слабенкий кустик перед высокой корабельной рощей, которой видны и небо, и море, и дальние просторы.

Катя кашлянула и сказала совсем не то, что хотела:

— Работаете? Может быть... чаю хотите?

— Не откажемся, — рассеянно бросил Матвей. — Только поскорей, Катенька.

— Нам сегодня же треба с технологом побалакать, — разъяснил Сакуленко. — Матвей вернулася от технолога поздно, усталый и довольный.

— Ух, были мы везде, и у Ивана Степановича, твоего папаша (старик шибко все одобряет), тоже побывали, все до тонкостей обговорили. Все наши планы одобрены и вообще руководство ими сильно заинтересовано... Да ведь ежели каждый рабочий нашего цеха, глядя на наши рекорды и приняв наш метод, даст еще всего на десять или пятнадцать процентов больше, так ведь это значит: каждую неделю мы будем сдавать государству на сотни, а то и тысячи тонн больше фронтальной продукции — и это сверх всяких повышенных планов! Что ты об этом скажешь, Катенька?

Тут только он заметил, что жена сидит в углу дивана, кутаясь в платок, тихая и молчаливая.

— Ты что, Катя? Заболела?

— А хоть бы и так — тебе-то что? — ответила она глухим голосом. — Тебе нынче и дома не сидится, ты со своим Сакуленко на край света поскачешь... гордости в тебе...

Кузнец беззвучно засмеялся и нежно сжал в ладонях ее бледненькое лицо с обиженно вздрагивающими ресницами.

— Эх, вы, Лосевы, Лосевы!.. Не та это гордость, Катенька, на ней далеко не уедешь. Только для себя гордиться, — как сухой кусок жевать, света не видать.

— Ну да-а... — проронила она, словно насильно вскинув голову, но губы и ресницы ее сводило нервной дрожью. Матвей вдруг понял: его «зеленая колючка» повзрослела за эти дни.

Матвей улыбнулся про себя и словно

задабривая и боясь ее гнева, сказал заисключаяюще, с лукавым смирением:

— Ох, уж и мерзнетса же мне... вскиптим, что ли, чайничек, Катенька?

За полчаса до начала смены Матвей оглядел площадку перед молотом, железный стол, где в строгом порядке разложены большие и малые клещи, топорик, большой циркуль. Первый подручный Темлякова, Михаил Автономов, сказал сочным баском:

— Ну, Матвей Петрович, сегодня наши ребята прямо-таки как львы рвутся в бой! Никому, говорят, даже Сакуленко нас не перекрыть.

— Но, но... расхвастался! — остановил его Матвей.

— Да что ж, Матвей Петрович, я дело говорю: за эти деньки в предоктябрьском соревновании мы силу и опыт немалый накопили. Меня вот, к примеру, возьми: мне хоть сейчас можно бригаду дать, я справлюсь. Или случись, к примеру, тебе заболеть, товарищ бригадир, я тебя без позора заменить могу.

— Ишь ты! — усмехнулся Матвей и словно только сейчас как следует рассмотрел Михаила. Давно ли Автономова, этого парнишку с белесым хохолком на макушке, звали просто «Мишаня», — и вот он выровнялся в рослого молотца.

— Эко, вымахал! — признался Матвей. — Тебе который пошел?

— Двадцать четвертый, Матвей Петрович. Жизнь идет себе вперед.

Да, жизнь шагает вперед. В двадцать четыре года Матвей Темляков еще только поглядывал снизу вверх на чужое мастерство, а этот, востроглазый, уже готов руководить бригадой — сила в нем играет!

— Эх, и покуем же мы сегодня, Матвей Петрович! Нравится мне новая твоя и Сакуленко выдумка — за один нагрев две болванки обработать. А если малый угол вначале высекать, то металла вдвое скорее можно будет обработать!

И Михаил Автономов выразительно заиграл своими длиннопальными красивыми руками, покрытыми золотым курчавым волосом.

— На новинке и опыт получать весело! Ковка началась стремительная, как рубка в бою, Матвей будто даже осязаемо чувствовал, как оберегается время и как оно обращается в металл.

— Давай! — кричал он гулко, зычно, свободно, на весь мир, — и сигнальный колокол мостового крана торопливо отвечал ему: «дин-дон, дин-дон, еду, еду, беру, несу, даю-даю-у-у! Готовь еще, о, готовь еще-о-о!»

Матвей не заметил, как к его пятитонному молоту подошел Иван Степанович, но все заинтересованные наблюдатели видели, как это было. Сначала он прошел на участок Сакуленко, побыл там и вер-

нулся, по общему мнению, «задумчивый, но сильно — довольный». Потом он направился на участок зятя — в самый разгар работы темляковской пятитонки.

Иван Степанович стоял, скрестив на груди жесткие мудрые руки мастера строгий и величавый, как один из бесшумных патриархов труда, а поколения, вышестоявшие им, показывали сейчас свою силу и мастерство.

Старик следил за ним с привычно-требовательным вниманием: «для чистоты совести» ему хотелось даже больше придираться к Матвею, чем к другим, — на то он и «свой, лосевского гнезда птица».

Топорик Матвея, вонзаясь в металл, как в покорную глину, мягко, словно даже без нажима, высекал в металле угол, сначала малый, потом большой. Едва многопудовый слиток, разъятый надвое бешено искрящимся зигзагом угла, успевал скатиться на пол, как уже новая болванка, подхваченная клещами, вертелась на тесном ложе, под разящей громадой молота.

Вокруг Ивана Степановича раздавались восклицания, шутки — равнодушных наблюдателей здесь не было.

— А ведь трудно решить, кто из двоих лучше! — сказал в ухо старику звучный голос Пластунова. — Мы с директором находим, что оба... победители!

— Разве директор в цехе?

— Непременно!. Заводу ведь немалый выигрыш от такого поворота в работе наших тяжелых молотов.

«Вот как! — подумал старик. — И без директора не обошлось — дорогое дело мой парни делают!»

Он уже не замечал, что гордится работой Сакуленко совершенно так же, как и ковкой Матвея.

Гулкий голос Сакуленко вывел его из задумчивости — Лосев как-раз стоял против его молота.

— Работает что надо, не подведут! — пробормотал он в усы, любуясь тем, как широкая фигура Сакуленко ритмично покачивалась в рыжезолотых отсветах раскаленного металла. Здесь ковка тоже пылала и гремела, и старику казалось, что подручные подхватывают само пылающее время.

— Ловко роят, дьяволы! — любовно выругался Иван Степанович.

Он обходил участки бригад, проверял, ворчал, советовал и все время чувствовал особо приятную молодцеватость и ясность в каждом своем шаге, движении, в мыслях. Привычная картина родного цеха с горячим дыханием его печей и негаснувшими зорями огненного металла сегодня виделась Ивану Степановичу как-то особенно четко. Идя в дальний конец пролета, Иван Степанович приостановился около молота Сакуленко. Телерь Сакуленко увидел его и, смахивая пот с лысого лба, улыбнулся мастеру Лосеву

широкой, опьяненно-усталой улыбкой. Иван Степанович ответил замысловато веселой усмешкой и даже поднял над головой руку — дескать, высоко смену держите, ребята!

И будто счастье молодости вдруг вернулось к нему и подняло его, как поднимает старую ветку играющая, полная весенняя вода...

Утром, когда Матвей вместе с Сакуленко вышли из проходной, Катя встретила их на улице.

— Что ты так задержался, где ты был? — спросила она, улыбаясь ему. Матвей чуть не вскрикнул: «Вот оно что!», но только подмигнула жене.

— Ты что? — смутилась она.

— Ладно, дома скажу, Катенька, дома!

Он вспомнил, как ему показалось во времяковки, что среди лиц, мелькающих вокруг Кати, но в ту минуту всмотреться было некогда, а теперь ясней ясного: конечно, то была Катя!

Матвей переглянулся с Сакуленко.

— Сказать ей или сюрпризом преподнести?

— Да уж коли начал, говори, — посоветовал Сакуленко. — Ведь все равно завтра, накануне праздника, она все узнает.

— А что, что? — загорелась Катя.

Матвей сжал локоть жены и повел ее вдоль ограды сквера.

— Задержались мы, Катенька, в завкоме. Оба мы, понимаешь, свои прежние рекорды перекрыли. Представь себе, наши фронтонные бригады дали по пятьдесят пять деталей каждая. Как ни бились мы, не могли друг дружку пересилить.

— Словом, нашла коса на камень, оба мы оказались крепкие мужики! — засмеялся Сакуленко.

— Да, можешь нас поздравить, Катя: оба, как передовые бригады цеха, получили и знамя вместе и завтра вместе примем его. Вот так я встану, и вот так — Сакуленко! — и Матвей, подойдя к краю асфальтовой панели, показал, в какой позе он будет завтра стоять на сцене заводского клуба. — Никифор Павлыч, поиди сюда!

— Ну, вот.. ей-богу.. — смутился Сакуленко, но так же, как и Матвей, невольно приосанившись, стал рядом с ним.

— Хороша картина? — спросил Матвей, любуясь счастливым, румяным лицом жены.

— Репетируете? — вдруг раздался позади сочный басок. Первый подручный, Михаил Автономов, шел прямо на них. — Желаю полного успеха!

— Будь здоров, Миша! — ответил Матвей и, проводив его задумчивым взглядом, спокойно улыбнулся Сакуленко.

— Вот этот молодец, глядишь, не се-

годня-завтра нас с тобой обставят заочет.

— Что ж, получи бригаду и начнет наступать, — рассудительно поддержал Сакуленко.

— Как это наступать — на вас обоих? — взволновалась Катя.

Он обнял ее плечи и повел дальше. Далеко, серебристо курясь еще неразстаявшими туманами, тянулись Уральские горы. Прорубаясь сквозь дремучие толщи лесов, островерхие их хребты синели, как богатые шлямы из вороненой стали. Горы шли, возвышаясь к югу, над бескрайними просторами, как железное могучее войско, головные отряды которого шагали где-то в сияющей дали, уже недоступной глазу.

— Как высоко идут горы... — тихо сказала Катя!

Матвей сжал ее руку и добавил:

— А дальше они еще выше!

Глава пятая ВЕЧЕР В НОЯБРЕ

Снег шел весь день. К вечеру, когда все свободные в ту смену собрались в читальне заводского клуба, в окна смотрел высокий яркосиний вечер.

Но, пожалуй, никто из сидящих вокруг радиопродуктора юнцов так же не замечал пышной и строгой зимней красоты за окном, как не слушали они концерта, который передавался из Москвы.

Среди них были и свои уральские, но большей частью это были ученики той самой заводской школы, которую Назарьева вывезла из Кленовска. Они уже начали работать на Лесгорском заводе. Недолгая, но богатая событиями жизнь в партизанском отряде наложила свой отпечаток на лица «южан» — они выглядели старше, суровее уральских ровесников. Особенно выделялся среди приезжих своим уверенным видом приземистый широкоплечий Игорь Чувилов.

Из большого зала клуба донесся плеск аплодисментов — там шло торжество передачи переходящего знамени Уральской гвардейской дивизии бригадам Темлякова и Сакуленко.

— Как бы не затянули там, — кивая в сторону большого зала, сказал Сережа Возчий, и его остренькое веснушчатое лицо озабоченно нахмурилось.

— Не такой момент, чтобы затягивать, — решительно обрезал Игорь Чувилов. С видом уже своего человека на заводе, он сидел в глубоком кресле, поглаживая его бордовый плаш.

— А интересно, где сегодня товарищ Сталин будет выступать? — мечтательно произнес Юрий Панков, хрупкого вида подросток, со смешными тонкими косицами коричневых волос вдоль матовых щек.

— Наверно, в Большом театре будет выступать или в Кремле..

— Да, там вот и будет для твоего удовольствия.—иронически произнес Игорь.

— Почему.. для моего удовольствия?— не понял Юрий Панков.

— Да вот, чтобы тебе воображать было приятно.. будущее светило!—и вдруг Игорь соорудил такую благоговейно-комическую гримасу, что круг мальчиков разразился хохотом. Юрий, который сидел рядом с Игорем, вспыхнул и спросил чуть дрожащим голосом:

— Какое ты имеешь право дразнить меня? «Будущее светило»—сам же меня прозвал, да сам и дразнит!. А вообще-то тебе нет никакого дела, кем я хочу быть..

— Есть дело!—гневно прервал его Игорь, и его скуластенское лицо нервно заиграло.—Мне есть дело до этого,—упрямо повторил он,—потому что такие типы, как ты, меня возмущают! Старший твой брат, раненый, с двумя орденами приехал, а ты.. в кино-актеры! Выдумки одни, только и всего. А ты лучше иди к нам в «отряд мстителей» имени Вити Толкунова и Вани Захарова.

— Нам туда народу нужно мно-ого!—и Сережа Возчий многозначительно pokrутил головой. Но Юрий, уже поняв, что всему заводилой здесь этот Игорь, обратился прямо к нему:

— «Отряд мстителей..» немцам мстить—понимаю. А кто они, Витя и Ваня?

— Партизаны — вот кто! — торжественно ответил Игорь. Они на глазах у меня погибли. Витя был из нашей школы, а Ваня местный, колхозник..

Но ему пришлось остановиться «на самом интересном месте», потому что в читальню вошли десятки людей из зала, где только-что окончилось торжество.

Матвей и Сакуленко вошли вместе с улыбающимися наряженными женами. Даже болезненная Мария Сергеевна казалась сегодня моложе и свежее, а Катя просто цвела, как пион.

Когда радиомызыка умолкла, Иван Степанович (словно только он один это заметил) в горячем волнении поднял руку: — Товарищи.. тише, тише!

Шум голосов сразу утих, и взгляды десятков людей поднялись к матово-черному диску. Диск молчал, и, казалось, так же, полное ожидания, молчит за окном звездное небо, молчат алмазные снега и древняя уральская земля со всеми неисчислимыми ее сокровищами тоже молчит и ждет.

В центре диска вдруг что-то мягко щелкнуло, будто ключ повернулся в замке и где-то далеко, но в чудесно-ощущаемой глубине, будто распланулась невидимая дверь,—и в читальню ворвался шум и всплески множества голосов, поднимающиеся, как нарастающий прибой.

— Слышите, Сталин вошел!—прошептал Иван Степанович.

— Сталин вошел!

Сквозь гул голосов и яростный плеск ладоней, пробилась пронзительная свирель звонка.

Наконец, наступила тишина, и спокойный голос Сталина произнес:

— Товарищи!

И десятки людей, все как один подавшись вперед, словно устремились на встречу этому голосу.

— Прошло двадцать четыре года с тех пор, как победила у нас Октябрьская социалистическая революция и установился в нашей стране советский строй. Мы стоим теперь на пороге следующего двадцать пятого, года существования советского строя.

Голос Сталина гулко и четко разносился среди чуткой торжественной тишины. Минутами Пластунову чудилось, что стоит только ему открыть глаза, и он увидит Сталина—так близко, так полно звучал голос его, который быстрее орлиных крыльев, летел сквозь черноту ночи, сквозь дали, ветер и холод поздней осени.

Пластунов родился в Москве на Божьей домке, где прошло его детство и школьные годы. Потом, когда отец умер, семья переехала в Ленинград, юноша полюбил его высеченные по прямой проспекты, старые массивные его заводы, полюбил белые ночи, Неву, свинцовые волны Балтики, башни Кронштадта, Ленинград он оставил летней ночью, грозно озаренной сполохами воздушного боя. И теперь улицы, заводы, сады, дворцы осажденного Ленинграда сливались в его воображении с картинами Москвы, той, что он видел в недолгую побывку в начале августа. Он осязаемо чувствовал ее родную Москву, погружившуюся во мрак суровую, недремлющую, как воин. Ему виделись темные, без единой искорки магистральные новые улицы с ослепшими окнами, с забитыми досками и заваленными мешками с песком витринами магазинов что делало их похожими на контрфорсы средневековых крепостей. Родной город виделся ему, погруженный во тьму, еще тивившийся зенитками, баррикадами, на прыгившей ненависти, скорбью и решимостью..

Голос Сталина раздавался над погруженной во тьму Москвой:

— Не может быть сомнения, что в результате четырех месяцев войны Германия, людские резервы которой уже иссякают.—оказалась значительно более ослабленной, чем Советский Союз, резервы которого только теперь разворачиваются в полном объеме.

Димитрию Никитичу вдруг бросилось в глаза лицо старика Лосева. Он слушал важно, истово, впитывая в себя каждое слово, как непреложное решение о себе самом. Он слушал, не шевеля бровью, и только его васильковые глаза, глядя прямо перед собой, сурово сияли, будто мы-

ли его сливались с тем решением, которое он слышал о себе. Он смотрел в окно, на высокий, переливающийся огнями купол кузнечного цеха, и в этом взгляде Дмитрий Никитич увидел зоркую и беспокойную заботу хозяина.

Немного левее дымчато светился купол второго заводского красавца—нового литейного цеха Рыжеватые сполохи литья достигали купола, и задымленное стекло аспыхивало разъяренным огнем. В литейном лили танковые башни, а в кузнечном уже ковали главные танковые детали, которые, по выражению Матвея Темлякова, «самые фигуристые, к сердцу машины относятся». Мастера этих танковых деталей сидели напротив, полочки на колени сильные, полусжатые в кулак, будто тоскующие в поиске руки.

Дмитрию Никитичу вдруг стало так легко, как давно уже не бывало за эти месяцы. Вдруг захотелось заглянуться в рубку, ее гладкая головка так приятно задушывалась в боковом кармане, но курить было нельзя.

Михаил Васильевич невольно заметил этот привычный жест Пластунова и сурово улыбнулся ему: сегодня все в торговле нравилось директору. «Честное слово, молодец он, этот Дмитрий Никитич!» — первый разузнал о радиопередаче, тамало похлопотал для того, чтобы торжество бригад Темлякова и Сакуленко провести раньше срока, — «а потом пусть и жены приходят доклад вождя слушать!» — добавил он. Сейчас вот они все вместе, руководство и рабочие—стахановцы старого Лесогорского завода слышат слово Сталина, слышат голос его, летящий к ним на Урал из-под черных туч самой грозной опасности, которую когда-либо видела Москва и вся Россия. Вот слушает он своего Сталина, заводской народ, — и проживи любой из них сто лет на свете, ни один не забудет вечер в ноябре 1941 года, спокойный, полный грозной правды голос Сталина и смысл слов его, обращенных ко всем и к каждому.

Михаил Васильевич исподлобья оглядел знакомые лица, и почти сразу они все как-то естественно смешались в его сознании одно с другим, словно звезды в небе: Иван Степанович и Сакуленко, Ланских и Нечпурок, Дмитрий Никитич и Матвей Темляков — ими держался Лесогорский завод, всеми ими — уральскими и неуральскими.

Голос Сталина, спокойный, широкий, звучал глубоким доверием к обширной земле советского тыла, к нему, старому большевуку, Михаилу Пермякову. Перед лицом этого доверия как-то само собой стало все, что мучило его: обида, подозрительность. Осталась одна правда жизни, то, что происходило сейчас на заводе. «Трудновато мне, товарищ Сталин», — сказал бы он вождю,

случись такой разговор, — «завод наш мнется на глазах, и, правду говоря, не тот уж это завод — не старый Лесогорский завод!» Новый завод влился в него в железных его жилах текла иная, омолаженная кровь. И куда он шагал, этот обновившийся, с каждым днем все шире расправляющий плечи Лесогорский завод? Пермяков сейчас видел это особенно ясно. Завод шагал к новому бытию, которое обозначалось одним словом: поток. Старый Лесогорский завод, говоря чистую правду, работал «островками», как выразился однажды Пластунов. Со всем этим мирилась, как с чем-то совершенно неизбежным — эх, мол, и на солнце есть пятна. Но все эти «островки» работы, когда каждый участок, каждый цех «сам себе голова», — обречены и, как все отмирающее падают на дно. Поток, который соединяет в одной поступи действия людей и машин, — этот поток уже начал прокладывать себе дорогу. Новое еще только, что называется, макушку показало, а сколько исхоженных (привычных, удобных, охо-хо!) тропок уже беспощадно зачеркнуто. Оттого-то и трудно, что поспевать надо, учась на ходу, а сколько еще производственных процессов и событий предстоит наладить и, как прочно оснастить лодку, пустить в поток, который должен работать по часам и минутам, ритмично, точно, как движение земли вокруг солнца. «Современная война, есть война моторов». Миллионами сил гудят, режут моторы войны на земле и в небе, на больших дорогах, в лесах и оврагах. Придет день и на лесогорской земле грозно заревут моторы под стальной броней танков и загремят на ветке тяжелые составы — то každодневная братская помощь лесогорцев отправится к великому фронту. В этом и заключается сейчас главная цель жизни Михаила Пермякова, и да придет скорее этот час, когда он проводит на фронт первый состав лесогорских танков.

— «Только бы впервой сделать», — любит повторять Ланских. И Михаил Васильевич опять взглянул на Ланских.

Сталевар стоял у дверей неподвижно, ничего не замечая, и только временами торчащий хохолок его бурожелтых волос топорищился, будто забытый на поле стебель.

Нечпурок, сидя неподалеку, исподлобья наблюдал за Ланских. Нечпурку казалось, что Ланских думает как-раз о нем: та-ак, разлетелся, голубчик, перекрыл, мол, Ланских и пошел себе спать-почивать. А я, пока ты седьмой сон видел, взял да и перекрыл тебя, Нечпурок!.. Как тебе нравится, 143 тонны с квадратного метра пода?

Нечпурок сердито переместился на стул.

Когда Сталин начал говорить о том,

что советские танки «по качеству превосходят немецкие, но танков у нас все же в несколько раз меньше», — Нечпорок даже вздрогнул. Его так и хлестнула мысль, которую Сталин не произнес вслух, но она, конечно, заключалась в его словах, мысль такая: танков у нас в несколько раз меньше, потому что некоторые наши люди еще не научились их быстро делать.

И тут Нечпорок вдруг заметил, что Ланских «усталился» как-раз на него.

А тот, действительно, думал о Нечпороке и самым непредставимым для «рискового» сталевара образом. Ланских вспоминал, как они с Нечпороком ремонтировали старую печь № 2. А ведь начал на заводе скоростные плавки Нечпорок — и, надо сказать, смело или по его «рисково» оседлал он старого «мартына». Первая же скоростная плавка сразу удалась. Ланских присмотрелся к успехам сменщика и начал осторожно «срезать» время и все ближе подступать к цифре Нечпорока. За Ланских потянулись другие сталевары, и совсем недавно, перед праздником, в цехе появился целый «куст» бригад скоростников: Андрея Якунина, Семена Тушканова, Василия Полева.

«К тому времени, когда будем варить сталь в новых печах, отряд сталеваров-скоростников еще возрастет. Зерно с самого начала крепкое: Нечпорок, как и я, за нашу танковую сталь душу положит, да и знания у него настоящие. Только горяч он шибко, разбрасывается, до славы жаден, терпения мало, и любит иногда с маху резануть, не подумав. А талант он — настоящий, и еще более может дать, если размышлять о труде научится. Конечно, прежде всего, я обязан ему в этом помочь!»

Смешной хохолок желтобурых волос качнулся на голову Ланских в такт его решительным мыслям. Юра Панков поднял на него глаза, улыбулся было, но покраснел и сделал серьезное лицо. Он чувствовал себя на этом собрании немного подавленно, как, впрочем, и вся их любопытная мальчишечья стайка. Они очутились среди «самого главного начальства» завода, заняли кресла в центре читального зала и теперь очень стеснялись, что «выставились», как недовольно шепнула всем Игорь.

Игорь слушал Сталина, и каждое его слово было так понятно, будто Сталин имел в виду и таких, как Игорь Чувилов и его друзья.

Вчера выступал у них в цехе капиган Сергей Панков, который познакомился с ними еще по пути в Лесогорск в поезде. Слушая разговоры «обстрелянных» ребят о их жизни в лесах, он еще тогда сказал им:

— В «обстрелянные» вы попали поне-

воле, это хорошо для вашей биографии, а для фронта такие, как вы, зеленые, необученные совсем даже не находка. А вот, если вы будете помогать вооружать фронт, тогда ваша истребительная сила заиграет как должно.

А вчера он поздравил ребят, приступивших к работе, и, обращаясь к Игорю, как к знакомому, сказал:

— Вот ты уже и бьешь немцев, Игорь! Видишь, как у тебя здорово получается.

После него выступил Игорь и Сережа Возчий и дали обещание: «Вы, товариш капитан, передайте там на фронте, что мы здесь целый фронтной отряд собьем из самых боевых ребят, а называться он будет «отрядом мстителей имени Вити Толкунова и Вани Захаренко», а принимать будем только тех, кто план перевыполняет!» Словом, каша заварилась: создали совет «отряда мстителей!» В совет вошли: Игорь Чувилов, Толя Суицков и Сережа Возчий, как инициаторы, — и даже уже постановили: в «отряд мстителей!» входят все молодые рабочие всех специальностей только с высокими показателями работы.

В завкоме был как-раз редактор многотиражки «Лесогорский рабочий». Познакомились. Редактор стал просить написать статью-призыв к самым молодым кадрам на Лесогорском заводе.

Слушая Сталина, Игорь живо припомнил вчерашний вечер. Сейчас их вчерашние обещания и написанная статья приобретае для него особо важный смысл.

В московском зале опять загрела буря аплодисментов. Слышно, как в президиуме собрания зазвонил звонок, но ему пришлось заливаться несколько минут пока наступила тишина и голос Сталина полный непоколебимой веры и спокойствия, заговорил опять:

— Но для этого необходимо, чтобы наша армия и наш флот имели деятельную и активную поддержку со стороны всей нашей страны, чтобы наши рабочие и служащие, мужчины и женщины, работали на предприятиях, не покладая рук, и давали бы фронту все больше и больше танков..

«Да, да, именно так: все больше и больше танков!» — шептал про себя Игорь, и ему казалось, что Сталин сейчас слышит его.

Слезы выступили у него на глазах, румянец жег щеки, в груди жарко спало дыхание, как будто он шагал по крутой тропе, и тугой высотный ветер бил ему в лицо.

Вдруг Игорь почувствовал на себе чей-то взгляд и, подняв глаза, увидел задумчивую улыбку Ланских. И, словно уверенный в том, что сталевару известны все его думы, Игорь улыбнулся ему.

Варвара Сергеевна Пермякова слушала доклад Сталина одна у себя в квартире. Елену Борисовну считать не приходилось, к вечеру у ней опять поднялся жар, и сколько раз уже ни заходила к ней Варвара Сергеевна, больная спала таким крепким сном, что Пермякова даже пугалась: жива ли?

Из-за нее-то Варвара Сергеевна и осталась дома. В квартире было тихо и грустно, хотя все празднично белело, блестело, топорщилось накрахмаленным тюлем, от старых ковров пахло свежестью — хозяйка выбила их прямо на снег. Она даже раздобыла в огороде «традиционные» хризантемы, и нашлись именно такие, что особенно нравились ей: очень крупные, белые и желтые с красными коготками лепестков, будто их окрасили гранатным соком.

Но ни цветы, ни праздничный уют не могли заполнить той тревожной пустоты, которую чувствовала Варвара Сергеевна: сыновья на фронте и что с ними — живы ли?

Однако и печальным размышлениям она не могла предаваться: на столе перед ней стоял красивый расписной сундучок, пестро украшенный сафьяном, фольгой и цветной жемью, уже давняя работа дедушки Тимофея-сундучника. В сундучке пестрели большие клубки шерсти, Варвара Сергеевна вязала сыновьям варежки, особенным ею изобретенным рисунком «ласточкой».

Варвара Сергеевна слушала радиопередачу, и костяные спицы в ее руках равномерно пощелкивали, не мешая работе мысли.

Варвара Сергеевна еще ни разу не бывала в Москве, как и вообще никуда с Урала не выезжала. Но ее неизбалованному воображению без особых усилий представлялась Москва в опасности. Чем больше она слушала Сталина, тем всё сильнее думала о нем. Чувствуя, как его спокойствие передается ей, Варвара Сергеевна всё ярче и подробнее представляла себе, как Сталин говорит с трибуны переполненного зала. Почему-то он виделся ей в фуражке и наглухо застегнутой шинели, суровой простой шинели солдата, с осунувшимся лицом, — этакое страшное бедствие никого не красит! Михаил Васильевич наверно бы насмешливо и сердито сказал ей сейчас: «Бабство! Геня с обыкновенным человеком и сравнивать нельзя!» Но ведь и гений тоже человек, у гения-то сердце еще сильнее болит за народ свой, за родину, да и за весь мир — подумают страшно, миллионы людей страдают, кровью обливаются, погибают голодной смертью..

— Гитлер — ублюдок проклятый! — сказала она гневно и вдруг положила вязанье на стол.

«Что это я? — смущенно подумала она,

приложив ладони к разгоревшемуся лицу. — Разбушевалась тут одна-одинёшенька!»

Ей, действительно, хотелось бушевать, вдруг стало тесно в низковатой уютной столовой, хотелось тревожиться, думать о чем-то, что находится очень далеко за стенами ее дома.

Она вдруг представила себе, что переживала бы, если бы вдруг хоть одна тысячная доля заботы, какую несет на себе Сталин, вдруг досталась ей, да ещё в такое грозное время!

— Господи, да я бы с ума сошла!.. Как же мы, каждый из нас должны помогать ему, Сталину!

Уже отгремели аплодисменты, и шла музыкальная передача, а Варвара Сергеевна все еще сидела, как замороженная.

Она еще не представляла себе, как она будет помогать Сталину, но решение было принято, и оставалось еще посоветоваться с мужем и со знающими людьми, где лучше всего может помочь старательная женщина, которая не имеет заводской специальности.

Костяные спицы опять нежно постукивали в ее ловких пальцах. Это была уже третья пара фронтовых варежек — для старшего сына — и все на один узор: белая ласточка, чистая, быстрокрылая, как сама любовь материнская, летела на кубовом фоне, густосинем, как уральское небо над молодыми снегами. Кайма была веселая, красная, будто спелая брусника под стругеной росой в уральских лесах.

Сергей Панков и Таня Лосева слушали доклад Сталина, сидя у стола в таниной комнате.

На письменном столике Тани лежала книга, которая осталась открытой на той странице, где прервала чтение начавшаяся передача.

Что, если бы и вправду эти звезды
В ее лице светили вместо глаз,
Ее ж глаза сменили их на небе?
Ее лица сиянье эти звезды
Затмили бы, как лампу свет дневной.

Два часа назад говорили они с Таней о «повести печальной Ромео и Джульетты», и Таня сказала: «Всё-таки, по-нашему, как слабы они были, отцы их враждовали, а они опоры в себе найти не могли и потому погибли». Сергей спросил: «А в чем, по-твоему, наша с тобой опора?» Она ответила: «Родина жива, — и любовь жива».

Он был сейчас поэтому уверен, что Таня знает все, что происходит в нем. Его раны уже скоро совсем затянутся, и он опять вернется туда, где должен быть, чтобы защищать родину и любовь.

Он тихонько сжал руку Тани, еще детски-мягкую, с теплой узкой ладонью. Таня подняла голову и, повинувшись внезап-

всему, но всегда точному пониманию внутренней жизни другого человека, которое дается любовью, долгим взглядом, рассмотрела на него и улынулась. А Сергей прочел в этих синих глубоких глазах: да, нам уже недолго оставаться вместе, на ничего другого и не может быть, а если бы и было это другое, я не любила бы тебя так, как люблю.

Когда из Москвы зазвучала музыка «Интернационала», Пластунов с улыбкой спросил старика Лосева:

— Ну, как, Иван Степанович?

Старый мастер подумал и ответил задумчиво и важно:

— Да ведь, что ж.. не забудешь этого всю жизнь. Поднял он нас, Иосиф-то Виссарионович, так поднял, будто к каждому подошел да по душам поговорил.

Глава шестая

МЕДНЫЙ ВЕЛИКАН

Костромин, вызванный в Москву перед праздником, прилетел обратно утром пятнадцатого ноября, а в обеденный перерыв встретился с Пластуновым.

— Не обзвевайте, прошу, мою скромную особу. Димитрий Никитич!. Я пожелал, как факир: сегодня на рассвете мы попали в болтанку, а в общем... слетал великолепно! — и осунувшееся лицо Костромина вспыхнуло радостной улыбкой. Пластунов еще никогда не видел его таким оживленным и говорливым. Он много рассказывал о Москве, суровой, перерезанной баррикадами, о москвичах, а главное — о встречах «с большими людьми».

Как и ожидал Пластунов, Юрий Михайлович привез из Москвы важнейшие директивы, о которых он хотел бы доложить немедленно руководству Лесогорского завода.

Вечером в кабинете Пермякова, после доклада Костромина, план работы Лесогорского завода был уточнен полностью: танковый конвейер должен был начать свои операции с таким расчетом, чтобы первый эшелон лесогорских танков со станции новой ветки вышел не позднее 15 марта.

Далеко за полночь еще горели огни в окнах директорского кабинета. Крепкий чай стыл, лиловел в стаканах. Сонная официантка принесла новый поднос, но и эти стаканы тоже остыли.

— Ну, начерно, так сказать, все наши мощности подсчитаны. К пятнадцатому марта наши танки поедут на фронт — это дело нашей чести. Теперь остается все конкретизировать... — заявил Пермяков и хмуро качнул массивной головой. Было отчего хмуриться, хотя до поры до времени, он помалкивал — может быть, «еще обойдется». Его тревожило состояние одного из важнейших агрегатов завода — мощного пресса.

Этот пресс был поставлен девять лет

назад германской фирмой «Дейт-пресс». Такие прессы на Урале тогда еще были новье. Но через несколько лет, когда Лесогорский завод уже выполнял ответственные правительственные заказы, они перестали быть новостью. Более того: лесогорские механики, под предводительством неутомимого искателя «новых путей в технике», Артема Сбоева, не только раскрыли секреты немецкой техники — и все ловко замаскированные пороки ее, и самый главный из них: могучие медные цилиндры пресса оказались не кованные, как полагалось, а литые. Поэтому, за прессом постоянно досматривали, придумывали разного рода усовершенствования, следили за ремонтами, — и все-таки, медному великану не доверяли.

У Артема было сильно развито, как он сам любил говорить, чувство машины Недаром на заводе его прозвали «главным машинным хирургом». Ему были известны, точно, на практике, все станки и агрегаты завода, и еще никому на Лесогорском заводе не доводилось слышать, чтобы Артем чего-нибудь не знал или не умел. С его «диагнозом» обычно не спорили — ошибок за ним не числалось.

Утром, войдя в прессовый цех, Михаил Васильевич с облегчением услышал тяжелое уханье медного великана. На площадке, откуда спускалась лестница в подземное хозяйство пресса, директор увидел Артема.

— Ну, как дела, Артем Иванович? — спросил Пермяков, кивая на огромную из медных столбах арку пресса.

— Да ничего-о, — неохотно протянул Артем, вытирая жирные от масла руки. — Как хотите, Михаил Васильевич, но чует мое сердце, что без капитального ремонта жизни не будет!

— Ой, не пугай, Артем Иванович, — угромо пошутил Михаил Васильевич. — Сам понимаешь, такой ремонт сейчас прямо бедствие!

— Все знаю, да ведь с ним, дьяволом (Артем злобно кивнул на темную громаду пресса), иначе настоящей жизни ни как не выйдем!

Таня Лосева уже собралась ложиться (в конструкторском бюро работа началась всегда утром), как в комнату ворвалась Верочка Аносова, плачущая, расстрепанная.

— Все пропало, Таня, все пропало!

— Что с тобой, что пропало?

— Какой стыд, какой позор! — плакала Верочка.

— Да в чем дело? Что ты кричишь, как в сумасшедшем доме? — рассердилась Таня. Смахивая ладошкой слезы с тугих плавающих щек, Верочка рассказала о своем «невнятном позоре»: свадьба ее с Артемом Сбоевым, назначенная на 18 ноября, не состоится — ужас! Артем «отложил»

звядьбу, потому что сейчас ему «до заразу некогда» — в прессовом цехе стал главный мощный пресс.

— Ну, что ж... поправят его, этот пресс, а тут такой позор, стыд.. Мама прямо рвет и мечет, Артема «обманщиком» назвала.. а он хоть бы что — пошел себе в цех и только сказал: «Пока ремонт не кончу, не ждите!» Он меня совсем не любил, Таня!

— Разреши тебе сказать, ты дура, — спокойно отрезала Таня. — Да ведь Артем был бы последним человеком, если б о работе в первую голову не думал — ведь пресс для фронтных заказов работает!

— Ладно тебе издеваться надо мной! — сердито вспыхнула Верочка. — Тебе легче: твой Сергей всегда с тобой.. только ты у него на уме!

— Подумала бы прежде, чем так говорить! — горько сказала Таня. — Твой Артем отремонтирует пресс, и пашните себе.. а мой Сергей скоро поправится и опять на фронт, в бой.. и я не буду знать, когда с ним увижусь.. и вообще, что с ним.. разве легка эта любовь?

В словах подруги беспечная Верочка прочла такую глубокую тревогу, что не нашлась что ответить.

— Но что же мне делать? — беспомощно спросила она. — Теперь я его и видеть-то не буду..

— Остается только пойти тебе туда, где Артем, — усмехнулась Таня. — Сколько сейчас женщин и девчат в цеха пошла.

— А как же мама? Она, бедная, как взглянет на мое белое платье в шкафу.. «ну рвет!»

— Не уйдет никуда твое белое платье, тебе, Верка, пора жить своим умом.

— Значит, звонить мне Артему в цех?.. Но.. сейчас или завтра? А, Таня?

— Я, на твоём месте, не стала бы откладывать.

— Сейчас, позвоню от вас! Сразу решила — и отрезала, верно?

Настроение у Верочки менялось быстрее волны морской. Она вскочила с диванчика, поправила волосы и чуть не припрыжку побежала к телефону.

О том, что главный мощный пресс «отказал», Михаил Васильевич узнал по телефону от Назарьева. Его фраза «пресс сдал окончательно» показалась Пермякову даже оскорбительной своей краткостью. «Тут у тебя словно кусок из сердца с кровью вырвали, а этот «артист» на-ко, взял да и отрубил двумя словами». И хотя, верный своей скупой на слова манере, Назарьев добавил, что бригада Артема Сбоева уже на месте, — неприятные мысли, к которым Пермяков уже начал было терять вкус, опять подступили к нему, как вспышка ревности. Он представил себе легкую походку Назарьева, его узкую стройную спину.

Нет, это скрытный, неискренний человек, который целиком сам виноват в том, что не сумел душевно и просто подойти к нему, одному из старейших заводских директоров области, к тому же Назарьев всегда что-то держит «на уме» против него, а что именно — поди-ка, догадайся — у этого «артиста» своя «школа» обращения с людьми!

Идя в прессовый цех, Пермяков был уверен, что Назарьев распорядился формально, что даже, собственно говоря, ни чегошеньки не сделал. Но в цехе Пермяков сразу увидел, что все распоряжения были сделаны правильно, — и странно: это еще больше раздражило Михаила Васильевича. Он даже не мог бы в эту минуту разобратся, что чувствовал сильнее: зоботу из-за аварии пресса или свое раздражение против Назарьева.

Мертвый пресс возвышался посреди цеха, как огромная безлюдная скала, а неподалеку на железном полу валялся исковерканный, будто сведенный судорогой кусок металла — то была последняя танковая деталь, на которой «отказал» медный великан.

Знаменитая бригада Артема Сбоева словно матросы на корабле во время бури, уже заняла свои места: на архитраве, у подножия цилиндров, на лесенках в подземных коридорчиках; все выступывало, проглядывалось, как исполненное тело, в котором остановилось дыхание.

Артем, мрачный, но, как всегда, собран и быстрый, поспевал всюду, распоряжался, записывал и высчитывал вслух кивал самому себе, и временами походил на одержимого.

— Вот, что я говорил? — встретил директора Артем. — Ждал, что он, подведет, — подведет, — вот он и подвел!

Он с ненавистью махнул рукой на черную арку неподвижного пресса и сказал глухим голосом, каким говорят о показнике, которому живые не могут простить нанесенного им зла:

— Цилиндры лопнули! И будто по уговору — оба!.. Р-раз, и ваших нет! Картина ясна: эта подлая фирма послала к нам фашистских агентов, а они с тем расчетом и ставили, чтобы цилиндры сдали как-раз в войну!.. А, чорт!.. Далеко эти гады целились, да мы тоже не зайцы — на олушке пули ждать не будем!

Подобным образом Артем не однажды облегал себе душу — сегодня ему оставалось только подтвердить гневной скороговоркой свое давнее убеждение и прощельство, которое сбилось точка в точку:

— Из этих вот.. «призванных» жен и девчат требуется мне десяточка два половиной для подсобной работы. Обязуюсь обучить их, считая не только на дни, но и на часы!

— Действуй! — кратко одобрил Михаил Васильевич

Из кабинета он позвонил домой, предупредив Варвару Сергеевну, чтобы она к указанному часу пришла в прессовый цех, где соберутся «призванные» женщины и девушки на помощь медному великану.

Уже смеркалось, когда Варвара Сергеевна вышла на черное крыльцо своего дома. Красавчик, высунув из будки лохматую морду, удивленно залаял — в сумерки хозяйка обычно никуда не выходила.

— Ну, ну, — сказала Варвара Сергеевна и бросила ему кость, — сторожи, чужих не пускай.

Она оглядела свой небольшой двор, вздохнув, заперла дверь и вышла за ворота. На углу улицы пожилая женщина оглянулась назад. Домик с белыми ставнями и резными наличниками, где она прожила три десятка лет, будто смотрел ей вслед, как и вся ее жизнь до этого дня, знавшая только тепло его стен и свет его лампы. Варвара Сергеевна еще постояла, потом поправила свою круглую темносерую мерлушковую шапочку и пошла навстречу каленному морозному ветру.

В цехе она осмотрелась гораздо скорее, чем сама ожидала, — конечно, потому, что свое присутствие здесь считала совершенно обязательным. Около зеленой будочки мастера собрались все «призванные».

— Вам бы сначала поговорить, — предложила ей Артем.

— Что ж, хорошо, — спокойно согласилась она, хотя в пруды у ней по-молодому разлилась тревожная дрожь. «Решила, так уж держись», — подумала она и, сняв с головы, кое-где тронутой сединей, темносерую шапочку, встала со скамьи.

— Товарищи, всем ясно, для чего мы сюда собрались, и потому, как мне кажется, говорить много не надо. Давайте все стараться хорошо усвоить, чему нас будут учить, работать от всей души, чтобы от государства благодарность была.

Она вздохнула и почему-то поклонилась.

— Ну вот и все.

Пока она говорила, Артем успел оглядеть всех собравшихся. Среди них он заметил немало знакомых девушек, с которыми случалось ему кататься на катке, танцевать на вечерах в комсомольские времена до своего жениховства. Кое-кем из них он даже увлекался. Теперь он заранее сердился на все эти знакомые глазки и прически — может быть, обладательницы их воображают, что «по старой памяти», он отнесется к их приходу сюда, как любезный и податливый хозяин? «Нет, чорта с два!» — еще злее подумал он и, сделав каменное лицо, начал горячей скороговоркой:

— Дело, ради которого вы сюда, товарищи, собрались, чрезвычайно серьезное, военное дело. Вы будете работать для

войны. Работать тут плохо, сами понимаете, нельзя, стыдно, позорно!

Он заметил чей-то робко блеснувший ему навстречу взгляд, узнал Верочку Аносову, и, еле сдержав улыбку, подумал: «С чего это я накидываюсь на них?»

Затем вернулся к молчаливой громаде пресса, и давнее раздражение против этого металлического колосса вспыхнуло в нем, и он заговорил горячо и точно. Он кратко рассказал о литых «обманных» цилиндрах, о немецких планах.

И вдруг, быстро шагнув вперед, остановился перед прессом.

— А мы.

Он еще выше вскинул голову, и тенорок его налился металлом:

— А мы все на чистую воду вывели и вот увидите, товарищи, как мы этого великана поднимем!

Он вдруг лихо махнул рукой:

— Мы из него настоящего человека делаем!

На скамьях около будки засмеялись и захолопали. Артем услышал рассыпчатый смехок Верочки Аносовой («молодчина ты моя, расцелуй тебя, что помогать пришла!») — и воскликнул:

— И цилиндры мы нашли-и!

Он сел верхом на табуретку и сообщил своим слушательницам, что кованые цилиндры он разыскал среди эвакуированного имущества.

— Да ведь какие, братцы, цилиндры-ы вы! — даже пропел он, совсем забыв, что пятюк минут назад делал важно-каменное лицо. — Я нашу марку сразу узнал — мы для новых южных заводов этих цилиндров не одну пару сделали — и, уж будьте спокойны, эти кованые цилиндры, наши, советские, заработают так, что немчуре будет тошно!. Ну, а теперь, товарищи, можно и начать. Прошу, получите спецовки и вот вам — инструктор. Эй, Игорь!

— Иду!

Игорь Чувилен появился на пороге, вынул руки из карманов спецовки и недовольно поклонился. Верочка прыснула в кулачок и не очень почтительно указала на Игоря:

— Эту... инструктор?

Артем добавил серьезно:

— Токарь третьего и слесарь четвертого разряда, очень способный молодой человек.

Игорь находилась и, будто не замечая, что его рассматривают кто с любопытством, кто с усмешкой, произнес:

— Нам надо спуститься вниз, там как раз работа требуется. — Он зашагал впереди, чувствуя, как на него все еще смотрят десятки женских глаз.

Поднявшись через несколько часов наверх, Игорь застал Артема у будки.

— Ну, как? — спросила сумрачно Артем. — Как наши новые работницы?

— Ничего, стараются, — не без важности ответил Игорь. — Толк выйдет.

Между ними установилось равноправие двух друзей, старшего и младшего. Артем сразу прозвал Игоря ласково «мастерок», узнал к тому же, что он сирота, и, хотя проникся к нему сочувствием более сильного и счастливого человека, однако, слабым ему Игорь не казался. У этого пятнадцатилетка был ясный сметливый ум, «настоящий ум техника», как говорил Артем, тонкая чуткая память и вполне взрослая любовь к мастерству. В свою очередь Игорь очень дорожил дружбой с Артемом и втихомолку гордился: доверие мастера поднимало его в собственных глазах и заставляло еще больше требовать от себя.

Артем еще спросил его о чем-то и начал оглядывать темный потолок цеха.

— О чем это вы задумались, Артем Иваныч?

— Задумаешься, брат, при такой ситуации, — бросил Артем. — Смотри вверх... вот тебе подъемный кран.

— Вижу... ну?

— А я еще другое вижу: немецкие молотки и насчет кранов предусмотрели. Ведь, чтобы освободить цилиндры, надо снять траверсу.

— Ну, ясно.

— Вес ее, голубушки, четыреста тонн, а грузоподъемность нашего крана всего на всего двести тонн?.. Смекаешь?

— Чего ж тут... Они себе воображали, цилиндры, мол, в войну лопнут, так их и не снимешь... понятно.

— Вот ты и вообрази мое положение и всей бригады. Мы же, ремонтники, универсалы, мы все можем. Кузнец, фрезеровщик, лекальщик, сталявар — могут сказать: «Э, извините такое-то вот дело к моей профессии не относится, я, мол, не знаю. А рабочий-ремонтник все должен уметь: варить, паять, резать, сверлить, даже конструировать. В прошлом году я из всякого старья сконструировал здоровенный транспортёр, металл у меня в руках, что воск, послушен, да и не бывало случая, чтобы мне что-то не удалось. А тут, на тебе: только бы поднять — и нечем!

Артем с силой погладил себя по волосам — таким густым, что взъерошить их было просто невозможно.

— Есть у меня мысль одна... — вдруг зашептал он над ухом Игоря.

— Ну? — шопотом отозвался тот.

— Понимаешь, в технологии об этом не сказано... это просто русская наша смекалка. Я вдруг подумал: а почему в верх только сверху нужно брать? Представляешь?

— Абсолютно представляю! — зашептал Игорь.

— Можно вверх снизу поднять... вот

этак... ведь камень мы снизу берем. Представляешь?

— Артем Иваныч... — вдруг задохнулся Игорь, и радость, что он сейчас может помочь Артему, вдруг вспыхнула в нем. — Что я сейчас расскажу!

— Ну, ну?

— Когда мы на экскурсии были в Москве в сороковом году, видели мы, как четырехэтажный дом на другое место передвигали. До чего интересно было!.. Нам разрешили вниз спуститься, под дом, где все механизмы работали.

— Мощные домкраты?

— Да!.. И до чего же ловко этот дом на шел! Мы даже в одной квартире по бывали на четвертом этаже. Дом движется, а на комоды две вазочки фарфоровые стоят, как миленькие!

— Здорово! В наших краях дома еще не передвигают так, я не видел.

— А я видел и вашу мысль понимаю! — сиял Игорь. — Можно, можно домкратом снизу все вот... э-так приподнять..

— Э-эх! — вдруг лихо крикнул Артем и сильными руками встряхнул Игоря за плечи. — Во-время ты, мастерок, Москву вспомнил! Мысль, милый мой, как растение, почву ищет, дай ей сантиметр твердой земли, и она оттолкнется, а потом.. взлетит куда ей надо!.. Эх, брат, поднимем!

— Артем Иванович, вы нами распоряжайтесь, как будет нужно. Я знаю настрояние наших ребят и смело могу говорить за них. Мы, Артем Иванович, что угодно сделаем. Да мы хоть клятву в том дадим..

— Ух ты, романтик, да я и так верю Скоро перерыв, однако. Эй, товарищи, после столовой сделаем летучку, обсудим одно интересное техническое предложение. Так, что ли, Игорь?

— Так!..

Свадьбу Сергея Панкова и Тани Лосевой назначили на конец ноября. По желанию Тани (а Сергей на перечил ей), свадьба предполагалась очень скромная, а гости только свои и близкие друзья обеих семей. Наталья Андреевна по этому поводу немало огорчилась:

— Слава тебе господи, не как попало живем — уж нашли бы, что на столы поставить! Катерину выдали до человечески — и шумно, и нарядно... А тебе, Танюшка, будто запрет на себя охота наложить. Да еще, скажи, пожалуйста, строгости какие выдумала: чтобы и танцев было немного, чтобы и гости сидели недолго... Словом, запрет сплошной, а, не свадьба!

— Мама, прошу тебя, не агитируй, нам с Сергеем так нравится.

Таня хитрила, И даже Сергею не призналась она, что и ей хотелось такой же

шумной и веселой свадьбы, как у старшей ее сестры Кати. Но Таня тем упрямее хотела ограничивать себя, чем больше ей хотелось свадебного шума. Она была так счастлива, что у нее даже появилось суеверное убеждение, что за счастье надо заранее «пострадать». Казалось, она вела трудную игру со всем, что невозможно предвидеть и предотвратить — и «заранее откупалась» лишением себя веселья, нового платья, предупредила всех родных, чтобы «ни под каким видом» никто ничего ей на дарил и еле согласилась, чтобы за свадебным ужином было вино.

— Да ты вконец зачудилась, девка! — сердито кричала Наталья Андреевна. — Больше я знать не знаю никаких твоих советов!

И, действительно, свадьба, хоть и немногочисленная, удалась «по всем статьям», как после нескольких лафитничков заявил Матвей Темляков. Он любил поговорить «на разные душевные темы».

— Товарищ капитан, герой сего вечера — ты! — восторженно помаргивая увлажнившимися глазами, разлагольствовал он. — Я тебя, Сергей Алексеевич, еще вот с каких пор помню... ты был, извини, заводской углан, а стал, герой-воин!

— Да будет тебе наседать на человека! — пыталась остановить мужа Катя.

— Погоди! — упрямился Матвей, и глаза его еще сильнее прослезались. — У меня, Катюша, в душе восторг, понимаешь? Разве я только с дорогим сывком беседую? Нет, я всей нашей Красной Армии передать прошу: вы в нас, уральцах, и-ни, ни, на миг-т не сомневайтесь, мы для вас на все готовы, мы ни за чем не стоим!.. Верно, Никанор Павлыч?

— Правильно, — солидно отозвался Сакуланко, неспеша обасывая мягкие усы.

— Эх! — вдруг в лихом восторге воскликнул Матвей. — Предлагаю тост за фронтовой труд! Перед воинами выпьем за мастеров!

К ужину ждали Артема и Верочку, а их все еще не было. Наталья Андреевна «пока-что» накрыла стол для закуски.

Уже несколько раз прокричали «горько», перепробовали все соленья, копчененья и маринады запасливой Натальи Андреевны, а Артем и Верочка все еще не шли. Вдруг Артем позвонил из цеха и вызвал Сергея, — он был на два года старше его и в свое время проводил в комсомол.

— Артем, мы тебя ужинать ждем — где ты запропал?

— Ужин, дорогие новобрачные, не уйдет, а время военное ловить надо. У меня предложение, сначала вы ко мне в цех приходите. Очень мне хочется, чтобы ты увидел, как мы цилиндры поднимать будем — совладали мы с нашим медным великаном!

— Как, уже?

— Да, на два дня раньше краткого срока, нам назначенного. А когда цилиндр установим, — уверен, еще два дня скинем. Приходите, цилиндры поставим — и на свадьбу ужинать пойдем. Пропуска вам уже готовы.

Тысячесвечные лампы освещали пресовый цех, и обилие света словно рождало особую полновесную тишину, которую, будто по уговору, строго сохраняла десятки людей. Шли последние мелкие приготовления к подъему. Артем, озабоченный, и, как всегда, щегольски подтянутый, вполголоса, одним-двумя словами отдавал приказания, а сам, легкий, как мальчишка, поспевал всюду, именно в ту минуту, когда был нужнее всего.

— Вот ведь время-то какое. Думали мы с тобой, что в день нашей свадьбы попадем в цех... а? — Сергей тихонько жжал пальцы Тани. Вечера врач решил снять ему повязку с плеча и руки, и Таня чувствовала сейчас ее возвращенную силу и тепло. При мощном свете заводских ламп особенно ярко видно было, как поздоровел Сергей. Исчезла восковая желтизна вдоль щек, глаза, посверкивая из-под густых бровей, озирали все происходящее с памятливым и зорким любопытством военного человека.

Таня чувствовала, что, даже не глядя в ее сторону, Сергей всегда видел ее. Она смотрела на него, как на свое создание, и так же безошибочно чувствовала, что и она тоже его создание. Она изумлялась всему, что открывалось ей в нем и в себе, и в то же время ничего иного не могла бы вообразить. Ей вспоминался весь сегодняшний день: радостно-беспокойный сон, раннее пробуждение, праздничные хлопоты в квартире, ворчливая ласковость матери, приход Сергея потом улица, вся в снегу и морозном солнце — и, наконец, учрежденская комната в поселковом совете, где они рассчитались в книге браков. Чудаковатого вида старичок чем-то напомнил им Тимофея, сундучника, — и сказки детства будто запели у них в ушах. Дома, чтобы они двое «людям не мешали», Наталья Андреевна приказала им перетереть столовую и чайную посуду. Один старинный лафитничек они разбили, и Наталья Андреевна замаяхулась на них полотенцем. Потом засмеялась и даже была довольна: на свадьбе посуду бить — к счастью!.

На желтом песчаном настиле, будто спящие гиганты, неподвижно лежали опутанные толстыми, как удавы, цепями, два опрощенных пустотелых цилиндра. Залился свисток — и десятки людей, словно этой минуты больше всего они и жда-

ли, — бросились в наступление, и вокруг лежащих на земле цилиндров закипела работа. Свежие сосновые плахи заката протяжно закрипели, под могучей тяжестью цилиндра, повсюду брызнуло мелкое щепье, будто холодный металл глухо свирепствовал оттого, что люди нарушили его покой. Но люди были неукротимы, не даром это была знаменитая бригада Артема Сбоева.

— А вот, смотри, какой там шпингалетик на лестницу, взобрался! Фу ты, да ведь это Игорь Чувилев! Смотри, Таня! — Ну да, Игорь! Только он никого сейчас не замечает.

Игорь, действительно, никого не замечал. Он стоял на передвижной лестнице, держа наготове клюшку, которой он должен был подхватить за звено цепь, чтобы при подъеме цилиндра она не соскользнула вниз. Он должен был уловить момент, когда цепь, еще не успевшую натянуть, мгновенно за его клюшкой, подхватывая клещами с другой стороны, и цепь равномерно обовьет металл, чтобы крановщик мог снять его с места.

Игорь отлично понимал, на какое дело он вызвался. Оно требовало большой ловкости, смелости, его план одобрил «сам» Артем.

Поднявшись на верхнюю ступеньку, Игорь почувствовал себя как бы на самом высоком гребне своих пятнадцати лет, и сердце в нем болело и тревожно билось, словно от молниеносного движения клюшкой зависела вся его дальнейшая жизнь.

Металл вдруг охнул и, стуча цепью, медная колонна приподнялась вровень с головами людей. Она вставала, грузно покачиваясь, и будто в безмолвной злобе грозила обрушиться, раздвинуть своей гемной, слепой силой всех обступивших ее.

Цилиндр, глухо гудя, поднимался по наклонной, и цепь, обвивающая его, задвигалась и поползла вниз. «Пора!» как голочек почувствовал Игорь и выбросил вперед свою клюшку. Потянув, он еле удержался на ногах, и сразу ощутил почти блаженную легкость. Цепь тут же подхватила с другой стороны. Вот она уже плотно прилегла к металлу, надетая на подъемный крюк, натянулась как трос, и медный цилиндр качнулся и отделился от земли. Перед ним все расступилось, и он пошел, высокий, прямой, укрощенный, бесшумный. Он шел, кованный, надежный цилиндр, вернувшийся под родную крышу, где его сделали руки советских мастеров.

А люди, возвратившие его к жизни, смотрели на безмолвное, но торжественное шествие своей победы и будто даже не совсем верили, что это сделали они.

Артем, вытирая потный лоб, подмигнул Тане и Сергею и шопотком спросил:

— Ну, ваше дорогое мнение?

— Молодцы! — ответил Сергей и вдруг поклонился на обе стороны, — и все, поняв, что этот рослый с двумя орденами гвардеец благодарит за быстрю и хорошую работу, заулыбались и поклонились в ответ.

Медная колонна медленно и важно шла к своему месту, а маленький Артем, словно полководец в передышку между боями, рассказывал:

— Когда эта мошеническая фирма «Дейчпресс» маклерила у нас свою уставку, поинтересовались мы однажды: «а что, уважаемые господа, сколько потребуется времени, если случится, скажем, надобность произвести регулировку всей этой машины?» Тогда самый главный из немцев вот этак промчал: «м.. м..»

Подвижное лицо Артема передразнило физиономию главного из немцев:

«О, молодой шеловек, регулировка — это три «маленьких недели». Ничего себе! «А если, спрашиваю, случится капитальный ремонт пресса?» — «О, молодой шеловек, ремонт не будет... наш пресс на целый век!» — «Но все-таки, все-таки?» — приступаю я к ним. «Н-ну, ремонт — эти четыре маленьких месяца». — Четыре месяца! Вот чего они хотели! А мы через девять дней цилиндры сменили, да и еще многое подновили, а теперь после самого главного, все остальное не в четыре, а в два дня моя бригада обещает сделать! Итого — двенадцать дней на восстановление нашего медного великана.. Ага! Дошел!

Артем прижал свисток к губам, и пронзительная его трель разнеслась по цеху — цилиндр дошагал до места, где его уже ждали. Едва он успел остановиться, как ловкие руки направили его в новое железное гнездо. Лязгнул металл о металл, с грохотом упала цепь, отъехал кран.

— Ха-ра-шо! — громко крикнул Артем. — Одна у великана нога уже есть, сейчас мы ему, голубчику, и другую поставим!

Когда подняли и поставили рядом с первым второй цилиндр, Таня заметила Артему:

— Кажется, что сейчас все быстрее прошло, даже удивительно!

— Повторить всегда легче! — рассмеялся Артем и, вынув платок, крепко вытер пылающее лицо.

Подошел Игорь Чувилев. Он, видимо, что-то хотел сказать, но Сергей протянул ему руку и сказал:

— Вижу, вижу, ты брат, хорошо здесь немцев бьешь!

Игорь вспыхнул и только моргнул в ответ.

Компания вышла с завода к скверу. Голенастый, жиденький в осеннюю пору, этот молодой сквер сейчас был неузнаваемо прекрасен, с одетыми в пышную бахрому деревьями, которые слетались между

собой, как сказочные белые водоросли. В просветах, словно ледяная глубина, кобальтом сверкало небо. Снег так хрустел под ногами, что хруст, казалось, долетал до самых звезд. А звезды горели, будто совсем близко над заводским миром, крупные, как уральские топазы-самородки.

Десять дней пролетели для Тани быстрее сна. Когда она с Сергеем вышла на перрон, ей почудилось, что верно ей все приснилось: и любовь, и свадьба, и счастье. Реальным было лишь метельное декабрьское утро, колючий ветер, станционная суета и ожидание поезда, который увезет ее Сергея на запад.

Сергей пошел справиться о поезде, а Таня осталась стоять у станционного полисадничка. Прислонясь плечом к запорощенному снегом переплету решетки, Таня так и застыла в этой позе. Горькая слабость перед неотвратимым охватила ее. Она не могла себе представить завтрашнего утра, когда не увидит Сергея.

«Что же это будет, что же?..» — бессильно думала она, кусая губы.

— Поезд из Моховки уже вышел, — сказал над ухом голос Сергея, — будет здесь через десять минут.

— Как? Уже? — испугалась она и вдруг, припав к его плечу, тихонько заплакала.

— Милая, что ты? Ну, что ты? — шепнул он, сжимая ее локоть. У Тани сладко захолонуло сердце от взгляда, каким он смотрел на нее. — Ведь мы с тобой ко все-му готовы. Мы же знаем, как в наше время любить приходится... Ведь знаем, да?

— Да... — вздохнула она.

Когда подошел поезд, Таня испугалась, что самого главного она не успела сказать. А когда поезд тронулся, и она, задыхаясь и еще чувствуя на губах поцелуй Сергея, бежала по краю перрона, уже с твердой уверенностью знала, что каких-то самых забываемых слов она ему так и не сказала.

Заводской автобус подавал сердитые гудки.

Таня взглянула на сизое крылышко дыма где-то за лесом и разбитой походкой пошла к автобусу.

Глава седьмая

В МОРЕ ВОЛНЫ ПЛЕЩУТ, В СЕРДЦЕ ОТЗЫВАЕТСЯ.

Елена Борисовна умерла тихо и совершенно неожиданно даже для тех, кому было хорошо известно ее тяжелое состояние. Все-таки и Пластунову, и Пермьяковым, которые бесконечно жалели ее, казалось, что, томясь душой и телом, она «все же еще поживет». В тот день Пластунов пришел домой поздно и застал дома переполох. Варвара Сергеевна и еще

какие-то женщины хлопотали около покойницы. Пожилая сиделка из заводской больницы растерянно рыдала и все повторяла:

— И когда она кончалась-то, моя голу-бушка, я и не слыхала! «Я, говорит, Дашенька, хочу заснуть и вы поспите». Я вот тут и прикорнула, а она... и совсем на веки-вечные...

Взглянув на Пластунова, женщина умолкла. Он стоял, словно оглушенный, и, не отрываясь, смотрел в спокойное лицо жены. Казалось, наконец-то после многих бессонниц и страданий, она заснула крепким сном и спит, наслаждаясь покоем.

Всю ночь Димитрий Никитич просидел возле жены, вспоминал свою четырнадцатилетнюю жизнь с ней, всю, всю, — от первого знакомства нежным весенним днем, овеянным бархатным морским ветерком, который бывает только в Ленинграде, — и до последнего ее взгляда и слов, обращенных к нему.

Через пять дней Димитрий Никитич поздним вечером в своем заводском кабинете писал на фронт брату, майору авиации:

«— Вот, таковы дела, брат Паша. Что я пережил за эти дни, рассказать невозможно. Никого я на свете так не любил, как Леночку мою! Вначале у меня даже было такое чувство, будто и во мне все умерло, и пустота в сердце моем все пожрала, как саранча. Но — сильнее всего жизни!». Эту простую истину я почувствовал на себе самом. Жизнь наша лесогорская, брат Паша, такой боевой котел, что только совершенно бездыханного человека не подымет. Я стал похож на отощавшего чорта, китель на мне сидит, как на вешалке, а физиономия, брат, такова, что лучше и не приходи к зеркалу. А злобы во мне еще прибавилось. Вот сейчас смотрю я на карточку моей бедной Леночки, и сердце мое кипит: какая красота, какой талант был в человеке — и немецкое нашествие сгубило его! Вспоминаются мне, Паша, твои слова, когда ты познакомился с моей женой: «Очень хороша, но слишком хрупкий цветок!» — Помнится, я даже спорил с тобой: наша общая счастливая мирная жизнь уже становилась такой полной, что для художника-мечтателя, целиком наполненного музыкой, каким была моя Леночка, казалось, окрепла почва, было чем питаться и этим хрупким цветам. Что говорить, некоторые натуры могут жить только среди тепла и света своей мечты. Однако, если бы контузия не вывела из строя чудесную силу ее пальцев, она вытерпела бы все тяготы, но, невозможности служить своей мечте, она вынести не могла... Друг мой, брат Паша! Прочти своим товарищам-фронтовикам все, что я написал тебе, запомни и помоги мне отомстить за мою жену! Я теперь почти не захожу домой, все так напоминает ее,

что прямо-таки сам не свой становлюсь, а горю предаваться нельзя. Живу я на заводе, питаюсь здесь, и сплю чаще всего на диване, вот в этом кабинете. Леночкина карточка стоит на столе передо мной—вот и вся моя личная жизнь.

Таковы мои дела, Паша. Надеюсь, что ты жив и здоров. Обнимаю тебя, шлю привет всей твоей славной истребительной эскадрилье и жду твоих писем.

Твой младший брат

Димитрий.»

Пластунов запечатал конверт, надписал адрес, снес письмо курьерше. Вернулся, сел к столу, охватив голову руками, потом поискал в кармане трубку и только поднес к ней спичку, как телефон на столе зазвонил. В трубке послышался голос Михаила Васильевича, отрывистый — значит, чем-то раздражен.

— Дмитрий Никитич, вы домой скоро?

— Нет, Михаил Васильевич, уж здесь останусь—скоро два часа.

— Тогда я к вам зайду... вопрос срочный, до утра оставлять нельзя. Разрешите?

— Пожалуйста!

Директор вошел было широким шагом, но е подороги вернулся, с силой захлопнул дверь, со звоном повернул ключ в замке, размашисто повесил на вешалку-вертушку шапку и шубу. Пожал руку Пластунова холодными жесткими пальцами и так же отрывисто бросил:

— Вопрос у меня один...

Михаил Васильевич трубно кашлянул, нахмурился и закончил:

— На каком основании Назарьев только что выехал отчитываться в Обком?

— На основании вызова Обкома.

— Именно его вызвали? А кто мне это подтвердит?

— Я могу подтвердить, потому что разговор шел со мной.

— Та-ак... В жизни моей такого случая не было, чтобы в Обкоме отчитывался кто-нибудь другой!..

— Почему же «кто-нибудь», когда это ваш заместитель по новому строительству?

— Ну, ладно... заместитель...

Пермяков тяжело поднялся с кресла и крупными шагами заходил по комнате, притопывая своими огромными валеными сапогами.

— Со старым моим замом, ныне покойным, жили мы душа в душу. Никогда никакого разделения труда не производили... Я достаточно долго терпел, как меня ущемляли—и... больше терпеть не желаю!

Он круто повернулся к Пластунову и вдруг заметил, что его слушает худой желтолицый человек, с глубоко запавшими щеками; человек этот с какой-то незнакомой пристальностью смотрел на него. Директору вспомнилось играющее умным лукавством лицо «ленинградского

морячка», золотой глазок его трубки. Игры теперь в его лице не было, а трубка подернулась пеплом.

— Простите...—глухо оборвал себя Пермяков,—у вас горе, а я тут бушевать вздумал.

Он с силой прочесал пятерней густые сильные волосы, помолчал немного и сердито тряхнул головой.

— А с другой стороны, как быть-то, если люди не могут сжиться между собой?

— От Николая Петровича ни разу я не слышал никаких претензий по отношению к вам.

— Ну... да разве он скажет?

— Михаил Васильевич, я не привык гадать на кофейной гуще. Разговор это старый. Скажите прямо, что вы предлагаете?

Пермяков быковато нагнул голову и сел в кресло.

— Пусть мне дадут другого заместителя, Дмитрий Никитич!

— Та-ак, — утомленно усмехнулся Пластунов.—Не выйдет, Михаил Васильевич. Пластунов поднес спичку к трубке, неспеша пыхнул дымком и, глянув строго поверх широких плеч директора, повторил еще резче:

— Не выйдет!.. Выполнение государственного плана, военного плана, — подчеркиваю!—требует именно такого распределения обязанностей, как сейчас.

— Значит, мне все это... терпеть?

— Можете оспаривать, если хотите, но я буду защищать именно это положение.

— Но если спорить...—директор запнулся, его крупное лицо выразило страдания. — Тогда значит, драться мне придется и с вами.

— А со мной вам драться неохота, — и на желтом печальном лице парторга вдруг бледной тенью мелькнула одна из недавних обаятельных улыбок «ленинградского морячка».

— Да,—решительно сказал Михаил Васильевич и поднялся.—Этого я делать не стану.

Назарьев вернулся через два дня. Директору позвонили, что заместитель ищет его и хотел зайти. Но по разным причинам они так и не встретились и на другой день.

«Походи-ка вот теперь, коли без моего слова уехал!»—сумрачно торжествовал про себя Пермяков. Директору было переносимо видеть бледное длинное лицо Назарьева, слышать голос его. «Пусть на заседании официально доложит, в чем он там отчитывался!»—еще злее размышлял Пермяков и, наконец, решил, что встреча с Назарьевым совсем «не к спеху». Ему вдруг захотелось хоть минутку побывать дома. На звонок никто не ответил. «Ушла наша председательница»,—подумал он, открывая дверь своим ключом. Столовая оказалась ему холодной и неуютной, хотя он, войдя, сразу по-привычке

приложил ладони к горячим изразцам дечи.

На столе лежала записка: «Суп в термосе, а пирог между диванными подушками».

«Значит, нескоро придет. Поесть, что ли?» — подумал Пермяков, но тут услышал шаги на крыльце.

— Варя! — обрадовался он и пошел навстречу. Но в дверях показался Назарьев, худой и тонкий даже в шубе; высокая шапка из черного каракуля делала его впалощекое лицо длиннее и бледнее.

— Вы... — даже растерялся Пермяков и вдруг ощутил прилив внезапного отвращения и к этой высокой шапке, и к этому лицу, и к улыбке, раздвинувшей тонкие бритые губы.

— Простите, но я уж решил заявиться к вам домой... — начал Назарьев, выйдя из передней и приглаживая темные, лоснящиеся волосы. Каким-то птичьим голосом он начал рассказывать что-то о заседании. И жест, которым он дотронулся до горячих изразцов печи, показался Михаилу Васильевичу так противен, что у него перехватило горло.

— Что вы ко мне пришли? — закричал он, — что? Тайком ускакали в 'Обком, за меня доложились... на готовенькое, на старом-то добре легко хозяина строить! Он затопал, задохнувшись от бешеной юбиды.

— Мое святое право, лично, слышите вы, лично!.. а не через разных там замов, отчитываться перед партией... А вы... вы...

— Миша!.. Миша! — вдруг прозвонел голос жены. Она шла к нему, подняв руки; ее белая шаль вокруг раздумывавшегося лица сверкала резко и чисто. Михаил Васильевич почувствовал на лбу прохладную ладонь жены — и, будто очнувшись после припадка, обвел комнату тяжелым взглядом. Назарьева в комнате не было.

— Миша... что с тобой? Батюшки, да на тебе лица нет! — говорила Варвара Сергеевна, глядя его по щеке. — Что с тобой сделалось? Никогда в жизни такого не было.

То, что в голосе жены Пермяков слышал жалость, и то, что она все еще сидела в шубе и гладила его по щеке и по голове, как маленького или безумного, — с ужаснувшей ясностью сказало ему, что он упал, рухнул, как столб, — вчера еще стоял высоко, а сегодня рассыпался грудой старых кирпичей.

— Дай папиросу, — глухо произнес он, почти изнемогая от ледяной тяжести во всем теле.

— На, покури...

В голосе жены, в движении ее руки, что поднесла спичку, Пермяков опять заметил осуждение и жалость, унижающие его. Он жадно затянулся и глубоко вдохнул запах табачного дыма.

— За что ты его, Миша? — спросила Варвара Сергеевна. Она сидела против

него, привычная, родная, но лицо ее впервые в жизни выражало печаль и боль за него.

— Терпел' долго... — угрюмо бросил Михаил Васильевич.

— Да где же... терпел-то? — вдруг строго спросила она, качая головой. — Он хороший человек, Николай Петрович, мы, женщины, его все узнали: вот у него, действительно, терпение, Миша!.. Сам-то все кашляет, смотришь, опять за грудь схватился, а распоряжается всем толково и требовать умеет, что надо, — хороший начальник, по-моему.

— А я, выходит, плохой? — криво усмехнулся Михаил Васильевич.

— Кто об этом говорит, Миша!.. Но ведь это у тебя ревность к почету... О, господи, да разве мало у тебя почета, Миша?

Словно оттаивая понемногу, Пермяков заговорил, с болью вслушиваясь в каждое свое слово. Да, в тяжелую для него минуту приходится подытоживать все пережитое, что связано с Назарьевым. Сначала его раздражала новизна, которая ощущалась в каждом распоряжении Назарьева. При этом Пермякову казалось, что Назарьев, правда, внешне этого не показывая, свысока относится к Лесогорскому заводу. Ему, Михаилу Пермякову, казалось, что такие люди, как Назарьев, даже слишком избалованы тем, что их заводы поднялись «в один дух», сразу во всеоружии высокой современной техники — «до самого последнего гвоздышка». Вот почему им все и достается легче, а уж обо всем новом и говорить не приходится — оно им прямо в руки дано!.. Что ж, таиться не следует: Михаил Пермяков, знающий человек, временами даже завидовал уверенности и быстроте, с какой Назарьев входил в свою обстановку, действовал и дышал ее воздухом. Михаилу Васильевичу казалось, что и все решения Назарьев находит слишком легко и уж слишком не нуждается ни в помощи, ни в советах. Впрочем, если даже он и советовался о чем-нибудь с Пермяковым, директор всегда в этом обращении к нему Назарьева подозревал одно, тонко замаскированное стремление: собственно говоря, мне-де не столько важен директорский совет, — я и сам де все знаю, — мне нужно только проверить себя лишней раз. Михаил Васильевич сплошь и рядом не понимал своего зама, когда и что он намерен сделать. Правда, то, что делал Назарьев, не вызывало потом никаких придирок, но директор уже привык подозревать своего зама в том, что он все-таки предпочитал бы «верховодить» один. Худо ли, хорошо ли, но Михаил Васильевич еще со времени подполья привык «доглядывать за людьми»: на одних можно положиться, на других нельзя, и он любил точно, обо-

снованно знать — почему. А для этого надо взвесить изъяны и достоинства человека. Сначала он высматривал изъяны — ведь дурное в человеке всегда хитрее и глубже прячется. Конечно, и Назарьев тоже прятал свое — стремление к власти. Чем больше директор не понимал его, тем все упорнее его посещала мысль: уж, конечно, такой высококвалифицированный работник, как Назарьев, скорей хотел бы властвовать, а не бежать в сторону. А, стремясь к власти, человек не очень склонен любить того, кто ее с ним разделяет.

— Значит, ты сначала плохому в человеке веришь, а потом уже хорошему? — сказала Варвара Сергеевна. — Ох, а я вот не боюсь верить, наоборот, — сначала хорошему...

— Вот ты, смелая какая! — сумрачно пошутил Пермяков. — Однако совсем-то ты уж меня не попрекай, Варя. Пойми, я бы рад от сивых моих волос избавиться, да опять бы в бронеэтах ходить... как же мне от себя отказаться?..

— А ты не об отказе думай, Миша, а о том, чтобы что-то вновь приобрести. Вот, прежде не было, а теперь есть. Знаешь, попадут люди в бурю, так, небось, всякий и грести примется, и воду черпает, и парус ставит — научишься, так и научишься. В бурю живем, в море волны хлещут, в сердце отзывается.

Михаил Васильевич подумал, что никогда за тридцать лет дружной жизни они не разговаривали так, как сейчас. Исподлобья он следил за женой, невесело радуясь плавной свободе движений ее высокой крепкой фигуры, вдумчивой смелости речи, которую только сейчас заметил.

В заводском кабинете Пермякова ждало письмо от Назарьева:

«Тяжелая и неприятная сцена между нами произошла не по моей вине, — писал Назарьев. — И вообще я не считаю себя виноватым перед Вами решительно ни в чем. Я должен был выехать немедленно, не успев связаться с Вами, так как торопился не опоздать к поезду. Заверяю Вас моей честью коммуниста и советского инженера, что нигде и ни в чем, я не затронул ни Вашего руководящего положения, ни Вашего авторитета. Меня поразило Ваше неприкрыто-враждебное отношение ко мне и подозрительность, основанная на посторонних соображениях и обстоятельствах. Им я никогда свою жизнь не подчинял и тем более не подчиню сейчас. Поэтому желание Ваше, хотя и высказанное в состоянии аффекта, чтобы я отошел куда-то в сторону, невыполнимо. В интересах дела, я готов принять любую комбинацию, которая дала бы возможность и мне, и Вам, не отвлекаясь посторонними обязательствами, выполнять свой долг».

Пермяков недоуменно пожал плечами: никакой «комбинации» он придумать не

мог. Но странно: теперь он думал о Назарьеве спокойнее. Ему даже вспомнилось, как вздрогнул Назарьев, как залилось его лицо оскорбленным и беспомощным румянцем — он, конечно, не ожидал такого взрыва.

«А я сам ожидаю?» — который раз спрашивал себя ночью Михаил Васильевич. Грудь нехорошо теснило, голову ломило, хотя его богатырское здоровье вообще не знало никаких болезней.

Он жадно курил, вспоминал. Конечно, всему виной его подозрительность и привычка доглядывать за людьми, ища в них сначала изъяны. Но, может быть, он вообще не любит искать? Не слишком ли он привык к тому, чтобы люди его искали и показывали ему все, как на ладони: смотри, вот чем я богат. А умеет ли он, по выражению Пластунова, натакивать людей на их собственный опыт, знание, мастерство? Разве не пришло к нему громадное богатство техники и опыта, которое, конечно, и после войны останется на Лесогорском заводе? Да, богатство привалило невиданное. А приготовился ли ты принять его? Что перешло к тебе от этого нового опыта и техники, чем ты, лично ты обогатился? Ох, похоже, ты все настаивал на тех порядках, какие были до войны, ты все упирался, подозревал, обижался, хотя ты уж не так безнадежно упрям. Эх, Михаил Васильевич, грузноват ты стал, на ухо туговат!»

Пермяков жадно курил, проворочался всю ночь, встал с тяжелой головой. Пред обедом у него был разговор с Пластуновым, и решительно по всем вопросам оба были единодушны. Пластунов, заметив сумрачность директора, спросил о здоровье. «Не проспался», — ответила Михаил Васильевич, а сам украдкой поглядывал на Пластунова и гадал про себя: знает или не знает он о вчерашней истории? Но лицо Пластунова, желтое с ввалившимися глазами, было непроницаемо спокойно. «Не знает!» — облегченно подумал директор. Потом, когда, обдумывая что-то, Пластунов исподлобья взглянул на него, Пермяков, весь сжавшись, решил: «Знает, все знает — Назарьев рассказал!»

Прошло два дня, и самые придирчивые наблюдения показали Пермякову, что Пластунов относится к нему попрежнему. В разговорах он спокойно соединял имена директора и его зама, а на третий день предложил собраться «на полчасика» — побеседовать об еще «большем ускорении строительства маргеновского цеха».

Михаил Васильевич даже поблуднея, увидев на совещании Назарьева Николай Петрович вошел в его заводской кабинет, совершенно так же приглаживая волосы, как и перед последним скандальным разговором. Назарьев сделал общий поклон, и, хотя обычно он таким образом здоровался со всеми, Михаил Васильевич с по-

дозрительной горечью подумал: «Всем кланяется, чтобы мне руки не податы!» Ему показалось, что Назарьев похудел и нарочито не смотрит в его сторону.

Когда Михаил Васильевич сказал, что вполне возможно пустить новый мартеновский цех к концу декабря, Назарьев добавил своим ровным голосом:

— Под Новый год обновить мартены.

— Дело! — весело сказал Пластунов и кивнул директору и заместителю. — Попади в точку!

«Ничего не знает!» — уже уверенно решил Пермяков, и вдруг подумал: «А может, у него случая не было Пластунову рассказать? Вот возьмет да сейчас все и расскажет!»

Эта мысль мучила его весь день.

— Ох, Варя, — сказал он жене, покачивая тяжелой головой, — скажет Назарьев нашему «морячку»! А я уж вырос из тех годов, чтобы краснеть да глаза прятать!

— Не скажет он, — уверенно возразила Варвара Сергеевна. — И перестань ты изводиться, Мишенька...

Она притянула его поникшую голову к своей большой теплой груди, и он устал закрыл глаза — ох, если бы никогда не было этого проклятого разговора!

Строители мартеновского цеха обратились с призывом к молодежи Лесогорского завода и своего района, помочь пустить новые печи, чтобы встретить 1942 год могучими плавками в новых мартенах. В заводской многотиражке и в областной газете появились статьи и вызовы лесогорских комсомольцев районным организациям, товарищам и знакомым.

Артем Сбоев, Игорь Чувилев и вместе с ними все, составляющие «костяк цеха», радушно приняли новичков. То же самое происходило и в других цехах: вновь пришедшую молодежь обучали разным специальностям, многими, выверенными в дни войны «скоростными способами», как шутил Артем. Он дал обещание «в кратчайший срок подготовить целое войско слесарей, электриков и монтажников». В своих статьях в многотиражке он, не скупясь, рассказывал об удачном опыте собирания и освоения новых сил, как это было при подъеме медного великана.

После подъема играли свадьбу Артема, которая, по выражению Верочки, «успела проскочить между двумя сменами».

Через два дня, возвращаясь с работы, Таня встретила на улице Верочку. Она шла в новой серой шубке, пряча нос в преютную муфточку с помпошками.

— Я сегодня никак нагуляться не могу! — со смехом объявила она Тане.

— У тебя теперь ночная смена?

— Никакая! — беззаботно расхохоталась Верочка. — Я ушла с завода... ну его к черту!

— То-есть как это? — опешила Таня. — Ведь ты уже начала работать, квалификацию получила..

— Ну и что ж из того? Я еще вчера договорилась с начальником цеха..

Верочка показала глазами, как она договорилась:

— Ах, говорю, эта работа не по силам мне, я надорвалась, совсем больна и мать у меня лежит, братья на фронте, некому за ней ухаживать, стакан воды подать..

Она вдруг осеклась, увидев устремленный на нее гневный взгляд.

— Ты.. сознаешь хоть сколько-нибудь, какую ты подлость делаешь? — возмутилась Таня.

— Ах, как вы мне все надоели! — рассердилась Верочка и, надев на палец шнур, с силой закрутила пушистую муфточку. — Я не святая, врать не умею и не желаю: я пошла в цех, чтобы не потерять Артема, и я старалась.

— Ты урод!.. Уж чего-чего при твоей беспечности, а этого я от тебя никак не ожидала!

Вера опять стала крутить муфточку, упрямо кивая головой.

— Я никогда не прикрашивалась и всегда говорила, что я самая обыкновенная..

— А жизнь по-твоему у нас сейчас самая «обыкновенная»? — вспыхнула Таня. — Надо жить.. — она поискала слова, — по общей жизни, со своим народом, иначе — подло, позорно!

На крыльце лосевской квартиры Таня сказала едко:

— О самом-то главном для тебя ты и забыла: как Артем посмотрит на твои штучки?

— А!.. Посердится — и перестанет!..

Таня дальше не слушала Завота, которая угнетала ее самое, отодвинула в сторону мысли о всяких «штучках» сумасшедшей Веры Аносовой. Прошло две недели, как уехал Сергей. Таня получила от него несколько открыток с дороги, теперь ждала письма, а его не было. Она понимала, что письмо с фронта не может прийти так скоро, но, наперекор рассудку, вела свой нетерпеливый счет времени.

В тишине конструкторского бюро она заставляла себя думать о технологических расчетах, но стоило ей повернуть ключ в двери своей комнаты, как воспоминания о Сергее полностью овладевали ею. Она горько изумлялась, как могла она, столько лет зная Сергея, не любить его, как могла она не видеть, каков он есть, а главное, как могла она заставлять его страдать из-за нее!

Она писала ему каждый день, рассказывала о своих думах, о тоске по нем, обо всех интересных событиях, о книгах, которые она прочла, о кинофильмах, о лыжах. Однажды, вспомнилось ей, Сергей сказал, что фронтовику даже интересно, «какая дома погода» — и Таня писала ему

и о погоде, Она верила, что ее письмо непременно найдет Сергея, что ее слово встретится с ответной мыслью о ней так же, как волны встречаются в море.

Таня села за стол и задумалась, стоит ли писать Сергею о возмутительном поведении Веры. Голос матери обрадованно сказал за дверью:

— Тебе письмо, Танюша.

Написанное химическим карандашом на блокнотной (таниной покупки) клетчатой бумаге, письмо, казалось, принесло с собой полутьму и тесноту фронтового блиндажа: строки то катились вниз, то сливались одна с другой, кое-где острие карандаша прорвало бумагу, будто Сергей торопился, боясь, что его прервут.

«Наш танковый взвод прикрывал перегруппировку одной нашей части, и мы довольно долго сдерживали атаки врага. Немцев было впятеро больше, но во что бы то ни стало надо было их уничтожить. Обстановка создалась очень серьезная, Танюша! Сначала они лезли с фланга. Мы подгускали их на близкое расстояние, — и падали в упор! Четыре фашиста загорелись. Тогда они навалились с флангов, развили огромную скорость, но они, представь себе, Таничка, никак не ждали, что в перелесках, за елочками (они целой компанией росли, и такие были пушистые, Таня, прямо настоящие новогодние елки!) — так вот в этих елочках, с обеих сторон мы поставили несколько запасных танков, и они хладнокровно выжидали и ничем себя не обнаруживали. Стояли себе наши таночки тихо, как мыши, и прицеливались себе на немчуру. Мы подбили три танка, подожгли еще один, и тогда немцы стали расползаться по кромке леса, надеясь взять нас в клещи. Тут-то и настиг их прицельный огонь наших запасников!.. Эх, милая моя, Танюшенька, нет для глаза танкиста красивее такой вот картины: по обе стороны черными факелами пылают фашистские танки, солдаты и офицеры пытаются вылезть наружу, кто как умеет, а мы их берем на мушку, в середине же мечутся два еще живых танка. Один развернулся было прямо на меня, я подпустил его поближе — и хватил по-нашенски, по-уральски, так хватил, что у него башню своротило и гусеницу разбило в клочья. А с другим танком справился товарищ мой, Никола Квашин, сибиряк (помнишь, я тебе о нем рассказывал?), замечательный мастер танкового боя из него формируется!.. В общем, за все это время мы сожгли и уничтожили десять немецких танков. Ничего, учимся воевать, Танюша!

Оба мы с Квашиным не только как историки по штатской нашей специальности, не можем не задуматься над этим, но и как воины!.. Эх, целые тома можно написать о русском мужестве в эту войну! Таких больших писем, как это, скоро от меня не жди — сегодня мы с Квашиным

после работки отлеживаемся, вроде, как в доме отдыха!

Милая, любовь моя, не волнуйся, письма твои я получаю! Последние два прилетели ко мне за час до получения приказа об операции, только-что мной описанной. Я прочел эти два бесценных письма... эх, да ты легко представляешь, как я их читал!.. А когда мой танк вынесся на открытое поле, я увидел будто прямо перед собой твои глазнышки, родная моя! И словно ты вела меня, и смелость такую вдохнули в меня глаза твои, слова твои, Танюшенька!.. Только думаю я о тебе, единственная моя, подумаю о лесогорке, — такая в душе ярость загорится против немецкой нечисти. Милая, радость моя если бы ты могла представить себе, как много значит твоя любовь для меня!»

Наталя Андреевна уже не раз открывала дверь в комнату, но Таня ничего не слышала — она писала Сергею.

«.. Словом, наше комсомольское бюро сразу взялось за это позорное дело. Вызвали сегодня и меня. На Артема, знаешь, больно было смотреть: он никак не ожидал от Верочки такого легкомыслия и страдал ужасно. Вела она себя отратно, поведение свое совсем не считала плохим, а твердила одно: «А если война еще два-три года продлится, так никому и жить нельзя?» и т. д.

Ты ведь помнишь, Сережа, что в конструкторское бюро я попала случайно? Я старалась работать, но удовлетворения не было, — значит, и на чертежницу я после школы стала учиться случайно, взяв первую попавшуюся специальность. Я тогда еще всерьез не думала о жизни, а только воображала, что думаю.

На собрании, пока все наши комсомольцы возмущались поступком Веры и потом исключали ее из комсомола, я вспоминала все, все, над чем мы с тобой думали вместе, а перед глазами у меня словно пылал бой, который ты мне описал. Только я тебя знаю, милый, родной мой! — ты ведь описал все так, чтобы мне как можно меньше крови, огня и вообще всего страшного виделось! А я вижу — все, все, — и тебя, как тебе в этой стальной крепости твоей трудно приходится и как всем трудно... и как же мне легко!.. Я дома, в своей комнате, уютной, теплой, и работать мне легко. Да какое же я имею право так жить? Вера хочет это грозное время прожить по-дешевке, в конце-концов, она взрослый человек и сама увидит потом прорубь под ногами. Нет, я не имею права жить легко! Я выберу самое трудное, что сейчас требует жизнь, и, если смогу все отлично выполнить, буду чувствовать, что раз без тебя мне счастья нет, так хоть живу я честно. Так я решила про себя на собрании и только ждала момента, когда лучше для

дела сказать об этом. Вера — из совершенно дикого упрямства! — говорила нагло и глупо: — она, видите ли, просто хочет «личного счастья». Я не выдержала, прервала ее и говорю: «Да посмотри ты на своего мужа — ведь несчастнее его сейчас здесь никого нет!» Потом я сказала: «Артем, вам недостает людей, так завтра же утром я приду в вашу бригаду, которую вы готовите в помощь мартеновскому цеху». На улице Вера догнала меня и стала упрекать, что я «нарочно решила напортить» ей в любви, потому что мужа сейчас сомной нет, а ее муж с ней, и тому подобные глупости. Я сказала, что она первая, кто свою любовь портит, потому что не понимает, какой человек ее муж. В конце нашего резкого разговора я спросила ее, неужели она воображает, что можно удержать любовь глазами и щечками — что, у других девушек нет глазок красивее и щечек румянее?.. Больно разочаровываться в человеке, — ведь с Верой мы дружили все десять школьных лет. Но сильнее горечи сейчас во мне забота: как оправдать доверие Артема, всех моих товарищей, и твое доверие, Сережа, милый! Спокойной ночи, люблю тебя невозможно!

Уже поздно. Окна доверху в узорах, на улице мороз с ветром. Этот вечер так завывает в трубе, что у меня даже сердце сжимается. Что ты делаешь сейчас, милый, единственный, любовь моя? У нас двенадцатый час, а там, где ты сейчас, только десять. Сегодня опять чудесная сводка, завтра жду такой же. Где-то мчится твой танк, Сережа? Помни, я всегда с тобой, всегда...

—

Пробная плавка в новом мартеновском цехе назначена была на 28 декабря.

Михаил Васильевич пришел в цех раньше, чем все прочее начальство. Ша завалка печи № 1. Длинный короб, наполненный шихтой, со звоном входил в печь.

Нечпорок уже был около новой своей печи, придирчиво оглядывал звенящие навалы шихты. Он покрикивал, сердито встряхивал цыганскими кудрями, но все-таки не мог скрыть своей белозубой улыбки — его смелые выпало провести первую пробную плавку. Неудачи он не боялся: печь монтировалась под его и Ланских наблюдением.

— Да, это тебе не старый мартын, божья печурка! — удало говорил Нечпорок своим подчиненным подручным. — Уж вы, товарищи, сами знаете...

И он выразительно подмигнул своей бригаде. Первый его подручный, бело-брысы сухойпарый парень Василий Лукин многозначительно провел ладонью под носом, что означало: «утрем нос Сергею Ланских».

Нечпорок снисходительно усмехнулся, от шуточек бригады настроение его стало еще увереннее, новый цех показался еще величавее и прекраснее.

Михаил Васильевич, обходя новый цех, тоже любовался им. Сквозь стеклянный купол широкими потоками лилось вниз сияние морозного дня. И стекло, и металлические подпоры, и колонны, и железные плиты пола, и мостики, и лесенки, будто застывшие в плавном полете, — все было первозданно-чисто, просторно и как-то ожидающе робко, несмотря на громадность: все ждало толчка, рождающего жизнь, все ждало огня с его всеисильной, преобразующей мощью.

Михаил Васильевич в свое время так же сначала один на один здоровался с новыми кузнечными и литейными цехами. Сегодняшняя встреча повторяла милый сердцу обычай, но чувства были иные. Те цеха мирного времени всецело были обаяны жизнью ему, он, Михаил Пермяков, выбирал место для цеховой «коробки», он распоряжался появлением всех механизмов, он знал, откуда добыть каждый винтик, каждый метр трубопровода, наконец, само время, люди полностью входили в его жизнь. А сейчас он чувствовал себя, как хозяин большого, необходимого дома, где собрались гости, которых он видел впервые.

Могучая шеренга новых мартенов, как и многие части в их оборудовании, были созданы не только лесогорцами, но и людьми, которые приехали с юга на восток вместе с великим переселением заводов.

На другом конце просторного пролета Михаил Васильевич вдруг увидел знакомую тонкую фигуру Назарьева. Николай Петрович тоже осматривал цех и, конечно, переживал нечто очень родственное, что творилось в душе директора. За последнее время Пермяков старался не встречаться с Назарьевым, общался с ним только по телефону и все-таки каждый раз чувствовал тревожное и противное самому стеснение в сердце, мучившее его, как боль.

Сейчас эти мучительные минуты вдруг показали Михаилу Васильевичу бессмысленными. «Будто заусенец запустил», — усмехнулся он про себя. Голубой купол, солнце, простор нового цеха — словно изливали на него свежую, какдыхание ветра, силу. «Вы видите, что вы сделали! Сейчас здесь начнется новая жизнь!» — казалось, говорили мощные шеренги мартенов. И эта сила созданной общим трудом жизни властно дышала и светила всюду, все остальное в сравнении с ней было преходящим, бледным и невыразительным.

Назарьев вышел на мостик и, как с горы, глянул вниз на обширное дно цеха, где уже кончались приготовления к первой пробной плавке. Многогоныи ковш,

как пустотелая башня, медленно шел к желобу печи № 1, — и Михаилу Васильевичу захотелось, опять же по обычаю, именно сейчас проверить, как действует и этот механизм. Присутствие на мостике Назарьева даже показалось директору очень кстати. «Ум хорошо, а два лучше», — подумал он. Он уже подходил к мостике с другой стороны. Назарьев увидел его, и оба, сняв шапки, поклонились друг другу. «Хорошо идет!» — кивком одобрил Назарьев шестие огромного ковша, и Пермяков довольно и уверенно глянул на приближающуюся громадину. — На места-а-а! — зычно крикнул Нечпоруку. Назарьев сделал головой движение: ну, мол, и голосок. Пермяков сулыбкой кивнул и следом за Назарьевым вышел на широкую платформу перед печью № 1. Пламя уже гудело в ней.

Печь начала жить, сталь должна была скоро закипать — только эго сейчас интересовало Нечпорука. Он подал знак — пора брать лобу. Раскаленный черпак опрокинулся на железные плиты пола. Стальные брызги зазвенели, разлетелись вверх звездным фонтаном. Молочно-белая бляшка на полу быстро побабрела. Нечпорок наклонился, вдохнула сухой жар новой стали и особым сталеварским чутьем определил, что в новом мартене рождается отличная танковая сталь.

— Ты что пришел? — неласково спросил подошедшего вдруг Ланских.

— Зашел вот на новый наш марген посмотреть, — спокойно ответил Ланских, меж тем, как ленивый с поволокой взгляд его, не отрываясь, следил за распахнувшимся зевом печи. Нечпорок ревниво крикнул подручным:

— Закрой-ой!

Ланских произнес удовлетворенно:

— Печь идет, что надо!

И добавил как бы между прочим:

— Можно и не торопить.

Нечпорок опять скрипнул зубами.

— Ты — так, а я — этак. Не сходимся мы с тобой характерами!

— Да я в «осторожных» хожу, — улыбнулся Ланских.

— Ну.. а я — лихой! — вызывающе бросил Нечпорок — и отошел от печи.

— К выпуску гото-вь! — сердито пропел он.

На звящем от грохота мостике он забыл о Ланских, отдаваясь самым любимым минутам своего огненного труда. Сталь всегда казалась ему живой грозно-могучей стихией, тайны покорения которой подвластны только особой породе упорных, страстно влюбленных в металл (как моряки любят море), породе отчаянных «рисковых» людей, какими он считал сталеваров. Выпуск стали, завероживший его с первого разу еще в годы зеленой юности, до сих пор волновал его, как осуществившаяся сказка.

И вот сталь понеслась белой громовой

струей в разверстое чрево огромного ковша. Багрово-золотая заря полыхала над цехом, раскаленная струя металла высекала над желобом тысячи искр, которые взлетали вверх, как стаи алмазно-золотых птиц и таяли в румяном знойном небе огненного цеха. А Нечпорок стоял на мостике, видимый отовсюду, как повелитель этой бурно-пламенной стали и как создатель ее.

Когда последние тяжелые капли упали в котел, Нечпороку вдруг показалось, что стали вылилось меньше, чем он ожидал. Сердце его нехорошо екнуло. Он не подал вида, но что-то в нем будто сломалось, застыло и дурным холодком овевало голову.

— Заваливай! — мрачно приказал он. «Все этот тихоня подвел!» — суеверно озлобился он на Ланских. — «Припелся, что называется, под руку, говорить да поглядывать!»

«Саша с-под-Ростова» был так захвачен своей плавкой на маргене № 1, а потом так расстроен, что совершенно не заметил, кто кроме его бригады (и Ланских) подходил и кто уходил от его площадки.

Пластунов, выйдя из цеха под морозное небо, довольным голосом произнес:

— Ну, товарищ директор и заместитель, каково ваше мнение? По-моему, можно официально объявить пуск цеха.

— Да можно, — сказал Михаил Васильевич, — в зависимости от того, каковы результаты сегодняшней плавки.

Пластунов тут же отстал от них, зайдя в клуб на совещание заводской молодежи. Директор и заместитель пошли рядом по улице.

Снег хрустел под ногами, в небе, как золотая соль, рассыпались мелкие яркие звезды. Над новым мартеновским цехом сияло желтоватое зарево вечерних огней.

Пермяков, проводив Пластунова, вдруг быстро спросил:

— Николай Петрович, извините меня.. но скажите, прошу: говорили ли вы.. ну, случайно, Пластунову о.. о нашем с вами тяжелом разговоре?

Назарьев ответил просто:

— Нет, ничего не говорил.

Михаил Васильевич даже закашлялся.

— О.. это.. Значит.. значит, Пластунов решительно ничего об этом не знает?

— Решительно ничего.

Пермяков сделал еще несколько шагов, даже физически чувствуя, как расправляются его плечи, и признался:

— А я думал.. обидя ведь человека за горло хватает, наружу просится..

Михаил Васильевич стыдливо вздохнул.

Николай Петрович помолчал и добавил с той же иронической строгой улыбкой в голосе.

— Пусть хоть этой ценой вы узнали мои подлинные настроения — опять же для общей пользы. А вообще.. будем считать этот инцидент ликвидированным.

— Да! Больше это не повторится, — твёрдо сказал Михаил Васильевич и впервые крепко пожал руку Назарьева.

Шагая по аллее между старых лесогорских корпусов, Михаил Васильевич с облегчением думал о себе: «Эх ты, мудрец липовый, страдалец аховый».

К концу смены определились результаты первой плавки Нечпорука в новой печи: четырнадцать и семь десятых тонны с квадратного метра пода.

— Вот так перекрыли! — присвистнул Василий Лузин, и его сухонькое лицо с озорно вздернутым носиком выразило неподдельное огорчение.

— Чуяло мое сердце! — Нечпорок в мрачной ярости скрипнул зубами. — Принесла его, тихоню, нелегкая на нашу голову!

И он выбежал на мороз, надев пальто лишь на одно плечо.

Нечпорок нашел Ланских около будки мастера и крикнул ему:

— Ты подвел меня!.. Ты..

Но Ланских не стал слушать и пошел в будку.

— Ты что это? — опешил Нечпорок.

— А то, что разумный с сумасшедшим не беседует. Когда протынешь, приходи ко мне, поговорим по душам.

«Саше с-под-Ростова» сейчас, после неудачи на новом мартене, особенно хотелось «вытянуть» от Ланских какой-то важный «секрет», который неведомо почему не дается Нечпороку.

На другой день он вспомнил свою неудачу, снял четырнадцать и девять десятых тонны.

— А я к тебе по делу! — заявил он хозяину, едва успев занять предложенное ему место в светлой большой комнате Ланских. — У, сколько у тебя книг! — заглаживая свою неловкость, похвалил Нечпорок. — Здорово!. Целый шкаф книг!

Нечпорок, уже накрепко остыв, опять был добродушным и размашистым красивым парнем.

— Це, братику, богато! — даже умилился он, рассматривая сквозь блистающее чистотой стекло разноцветные корешки книг.

— «Ле-нин».. «Ста-лин», — читал он почему-то по складам, — «Нуш-кин», «Горь-кий».. «Дик-кенс».. это кто же такой?

— Английский писатель, — пояснил Ланских.

— Нынешний, что ли?

— Нет, давно умер. Хороший писатель.

— Вот как.

На разноцветных корешках Нечпорок прочел еще несколько ничего не говорящих ему имен и потерял интерес к книжному богатству Ланских.

— Эге, да у тебя и карта есть! — опять изумился Нечпорок. — Сколько флажков понатыкано!

— А как же! Отмечаем наше наступление. Советую и тебе такую карту завести.

— Да, це гарно треба, — признался Нечпорок. — Я, знаешь, до книг как-то не очень охотник, и в школе я больше всякое ручное дело любил, чем книжки.

— Ну, книжки, брат, рукам даже очень помогают, — веско возразил Ланских.

— Это ты верно.. — уронил Нечпорок, тайне смущенный тем непохожим на его собственную жизнь, что он увидел у Ланских. Нечпороку всегда казалось, что все «рабочие живут схоже, як браты», — примерно так, как жили они с Марийкой до войны. Он считал, что у рабочего человека в жизни все ясно и понятно: есть в руках мастерство, ну и работай, старайся. А Ланских, как показывала буквально каждая мелочь в этой «интеллигентной», что отметил про себя Нечпорок, убранной комнате, — собирал в своей жизни много такого, о чем он никогда не задумывался. Жена Ланских тоже не походила на «жену рабочего», как привык себе представлять Нечпорок, глядя на свою красивую, добрую, но взбалмошную Марийку. Жена Ланских быстро, без шума собрала на стол чай и закуску, а потом ушла к себе на работу — она, как пояснил Ланских, руководительница детского сада.

«И жену себе под стать подобрал» — отметил Нечпорок. Ему было досадно, что Ланских сегодня все поясняет и по самым неожиданным для Нечпорока поводам. Раньше ему не случалось бывать у Ланских, никакие различия между собой и своим сменщиком он не видел, даже считал, что «тихоня», живя в своем незаметном Лесогорске, конечно, видел и знал меньше, чем он. И вдруг, все оказалось «наоборот».

Сменщики подошли к самой главной теме беседы. Нечпорок, стараясь не впасть в острых моментов (боялся своего характера), рассказал о всех неудачах, которые у него бывали, — особенно о последней на новом мартене.

— Чую, наши с тобой характеры не сходятся, — с обычной своей откровенностью заявил Нечпорок. — Из-за характеров у нас и спор: ты осторожный да тихий, а я дикой да рискованный.. пещь одна, а характеров — два!.. Мешают они друг другу.. вот что!..

— Ну, и что из того, что характеры разные? — улыбнулся Ланских. — Ты чудак, ей богу. Что бы это за жизнь была, если бы люди на одну колодку были сбиты.

— Я о труде говорю!

— Так и я о том же. Труд, брат, особенно наш фронтовой труд всего требует: и серьезности, и смекалки, и ровности, и быстроты. Эх, Саша.. уж коли

на то пошло, от того, что твой и мой нрав разный, дело даже выигрывает... ей-ей!.. Я тебя раздражаю, а ты меня... а стали все больше на фашистских гадов льется! — и Ланских даже хитро подмигнула сменщику.

— Да уж зальем мы гитлерякам глотку нашей сталью! — воскликнула Нечпорок. — Что же ты думаешь, я только и желаю — фронту все больше стали давать!

Ланских одобрительно кивнул и уж сидел опять, тихий, внимательный, и голубой с поволокой взгляд его опять казался сонным, Нечпороку вдруг стало досадно.

— Я рвался тебя перекрыть — и вдруг — не вышло! Нет такого у меня рекорда, который ты не перекрыла бы! Если бы ты не позвал меня, я бы не стал приступать, а теперь приступаю: какой у тебя есть секрет?

Нечпорок перегнулся через стол и жадно цваторял:

— Какой у тебя секрет? Кажи хоть самый краешок! Все вот здесь у меня останется, честью моей клянусь!

И Нечпорок ударил себя в грудь.

Ланских вдруг засмеялся, его толстые веки поднялись.

— Да не только «самый краешок», а все, как есть, «мои» секреты (он опять засмеялся) целиком могу тебе передать!

Ланских начал рассказывать, почему его зовут «осторожным» сталеваром.

Нечпорок полтора десятка лет варил сталь и, казалось, знал весь ее «нрав» — а теперь, по Ланскому, выходило, что нрав этот таил в себе разные открытия. Ланских накопил немало интересных наблюдений и даже вел дневник плавок.

Рассказывая о своем труде, Ланских словно преобразился. Его толстые веки уже не нависали на глаза, которые то искрились глубокой серьезностью, то посверкивали хитрецей, улыбка его светилась умом и каким-то особым радостным самому себе упрямством и пониманием. Но хотя все это было неожиданно интересно, все-таки Нечпорок не чувствовал, что у него в руках тот большой и важный «секрет», ради которого он пришел к Ланских.

— Ты здорово умеешь о ней рассказывать, — похвалил он, подразумевая под словом «она» — сталь, о которой временами он говорил даже суеверно-иносказательно, как о жадном и любимом божестве... — «Она» любит, когда для нее так стараются. Но все-таки, це ж не главный «секрет», а так — всякие мелочишки!

— Да ну? — рассмеялся Ланских, потом снял со стены небольшое фото под стеклом и показал сменщику.

— Что такое? Железный человек? — удивился Нечпорок.

— Нет, это рыцарские доспехи пятнадцатого века. Я видел их в музее, и так понравилась мне замечательная работа неизвестного мастера, что на память купил это фото. Если бы ты мог видеть эту искусную работу, залюбовался бы! Вообрази все это в натуральную величину. Этот панцырь и все прочее надевалось на живое человеческое тело, смекаешь?

— Чортова прорва метала!.. Да ведь в ней надо было человеку двигать руками и ногами, — сказал Нечпорок.

— Вот это самое я и проверил! — с веселым и хитрым лицом подхватил Ланских. — Тут, брат, своя диалектика, говоря научно доспехи-то тяжеленные, а отделка каждого винтика и каждой бляшечки легкая, тонкая. Благодаря этой отделке, точности и прочности, всю эту стальную громадину и можно было на живое тело надеть. Эх, многодальнее наше сталеварское искусство!.. И как подумаешь, что за много сот лет до нас люди уже умели сталь варить и чудные дела из нее делать, — так как же, брат, мы, сталевары Отечественной войны, должны качественно работать! Вот ты говоришь о «мелочишках» и вроде даже пренебрегаешь этим, а ведь качество создается из большого и малого. Дальше, ты все ждешь от меня какого-то главного «секрета», а его-то и нет!

Ланских широко развел руками и повторил:

— А его-то и нет! И не может быть. Подумай-ка! Я мыслю так: мастерство это тебе не дверь со стандартным замком — повернул ключ и готово. Нет, товарищ, искать надо и ни-чем, ни-чем (Ланских даже затряс головой) не пренебрегать!

— Ах ты чорт! — и Нечпорок вдруг запустил обе пятёрки в свои крутые кудри. — Любишь ты это самое... все мысли да мысли. А я все смелостью беру..

— Смелость — это хорошо, — быстро сказал Ланских, — это мне в тебе очень нравится.. Только сам работай отлично и скоро, да и чтобы вокруг тебя (Ланских сильным и веселым жестом очертил круг в воздухе), чтобы вокруг тебя все крутилось и кипело!.

Он вдруг встал с места, подошел ближе к сменщику и пристально заглянул ему в глаза.

— В том-то и дело, что не в рекордах только сила нашего мартеновского цеха и нас всех..

— А в чем же, бис тебе возьми!

— А в том, чтобы вы, передовые скоростники, стали бы вожаками в цехе и подтянули бы всех до нашего уровня.

— Значит, чтобы все, кто ни попало, — Нечпорок презрительно фыркнул, — займели бы такие же рекорды, как и мы с тобой? Что за чушь? Тогда вообще к чему рекорды?

— Да, да, в самом деле, к чему нам рекорды, если рядом с тобой работает, еле-

ел? топчется какой-нибудь Алексаха Маковский или Серега Журавлев, или Никола Бочков и еще кое-кто. Все они рабочие: ниже среднего и своей плохой выработкой все наши рекорды почти на-нет сведут. Ты знаешь, что наш цех в ноябре план не выполнил?

— Спасибочки вам! — и Нечпорок низко поклонился.

— Что ж это, люди добрые? Выходит, какой-то там паршивый пачкун Алексаха Маковкин или Никола Бочков еле плетутся в хвосте, а я должен с ними за это славой моей делиться?

— Они еще молодые сталевары, Нечпорок, — предостерег его Ланских.

— Нехай сами, пусть сами!

Нечпорок вышел от Ланских, с силой хлопнув дверью.

Смена прошла даже выше, чем обычно. Нечпорок выдал пятнадцать три десятых тонны. На другой день он узнал, что Ланских «снизился» и выдал всего четырнадцать восемь десятых.

«С Алексахами начал цацкаться», — объяснил себе Нечпорок. Хотя он сейчас на целых полтонны опередил Ланских, обычной радости он не ощутил. Когда Нечпорок снял первую плавку, к нему подошли Василий Полев, гигант с густой пыльно-рыжей от седины шапкой волос, и Семен Тушканов, толстяк, лет под сорок.

— Шуруешь? — трубой октавой спросил Василий Полев.

— Ясно! — ответил Нечпорок и побежал к печи, думая, что соседи сейчас уйдут. Но они еще стояли, будто на его площадке печи № 1 творилось что-то иное, чем у людей.

— Лопаты! — сердито крикнул Нечпорок Ваське Лузину, который уже начал озорно поглядывать на соседней.

— Значит, шуруешь себе? — опять прогудел Василий Полев, а толстяк Семен Тушканов произнес своим тонким, всегда словно посмеивающимся тенорком:

— Дай бог дожличка на мою полосыньку!..

Васька Лузин проводил соседей недоуменным взглядом — он ничего не понимал. Зато Нечпороку все было понятно. Украдкой, он посматривал, что делается у соседней, а потом не вытерпел и, найдя предлог, прошлепал по всему пролету. Около печи Алексахи Маковкина Нечпорок увидел Полева и Тушканова. «Пришли над Алексахой контроль наводить! — подумал он. — Было над кем стараться... фу!» Все знали, что Алексаха, несмотря на свои двадцать четыре года, уже закоренелый пьяница и «человек несчастной жизни», как он сам себя называл. Мягкого безвольного парня женила на себе бойкая сорокалетняя вдова с кучей детей, и чтобы удержать его, старательно ставила брагой, варить которую была великая мастерица.

«Небось, меня никакая баба к своей

юбке не пришила бы», — злобился Нечпорок. — «Люди добрые, почему я пьяницу должен плечом своим подпирать?»

Но он не мог не заметить, что Алексаха сегодня трезв — значит, за него крепко взялась эта пресловутая «школа сталеваров-скоростников».

Когда Алексаха, разгибая поджарую фигуру, отошел от глазка печи и уверенно приказал что-то своим подручным, его светловолосая голова вдруг засияла до того нестерпимо, что Нечпорок крепко чертыхнувшись, отошел.

В обеденный перерыв Нечпорок видел, как Василий Полев и Семен Тушканов усеялись за один стол с Алексахой, чему-то смеялись, похлопывали его по спине. Около столика Нечпорока сегодня, как нарочно, никого не было, даже никто не подошел прикурить. Зато вокруг стола Алексахи, как на именинах, былолюдно и весело. Нечпорок, не желая вслушиваться во все эти разговоры, звякал ложкой и громко хлебал борщ, холодный да к тому же пересоленный им же самим.

Васька Лузин, любопытствуя, подсел было к веселой компании, но скорехонько вернулся с видом незнамого гостя, для которого не оказалось места.

«Та-ак, не только меня, но и всю бригаду мою бойкотируют!» — злобно подумал Нечпорок.

После обеда он заметил, что его подручные перешоптываются. Он несколько раз прикрикнул на них, но шопотки продолжались за его спиной. Потом он выследил и чуть не за ухо притащил на место Лузина, который успел-таки пошнырять по цеху, и принес очередную новость: «школа скоростников» взялась и за Николая Бочкова.

— Подтыкают Николу со всех сторон, как черти вилами в аду! — похохатывал продувной парень.

«А меня так без всяких вил до самой печенки подтыкают!» — горько подумал Нечпорок. Печь шла на доводку, но он уже равнодушно думал, на сколько еще минут удалось ему «сжать» время. Он подозрительно оглаживал своих подручных и впервые в жизни не знал, как вести себя со своей бригадой. Продувной парень Васька Лузин, конечно, уже просветил всех его подручных, и они делают свои выводы из происходящего, потому что понимают все: бригада Нечпорока осталась на отшибе и может себе сохнуть, как отрезанный ломоть.

К концу смены он увидел, как в цехе появлялись Пластунов и директор. Они побывали у Алексахи, потом подошли к печи Николая Бочкова. Нечпорок ревнивым взглядом смотрел, как беспутный Алексаха Маковкин, отвечая Пластунову, смущенный и довольный, встряхивал головой и даже что-то рассказывал. Обычно директор (да и Пластунов тоже) за-

глядывали на его площадку, а сегодня прошли стороной. У Нечпорука, словно у мальчишки, горели уши и двигаться стало почему-то неудобно.

Когда после смены он увидел Ланских, в груди Нечпорука все закипело.

— Ты что мимо молчком идешь?

— Вот те на!.. А не ты ли дверью хлопнул?

— Ну, что ж из того?

Но больше ничего не сказалось — правда была сильнее всего. Как во сне вышел он из душевой и вдруг повернул обратно к своему шкапчику, надел спецовку и пошел в цех.

Едва он услышал знакомый звенящий шум заваки и увидел широкий пролет, озаренный розово-оранжевыми отсветами печей, как грудь его сразу перестало теснить, и он понял, что ему надо делать.

— Ты что? — спросил Ланских, но, увидев выражение его взгляда, понимающе гляну ему в ответ.

— Кто сегодня по плану на контроль поставлен? — спросил Нечпорок требовательным хозяйским голосом.

— К Сергею Журавлеву загляни, — спокойно посоветовал Ланских.

Когда Нечпорок уже поздно вечером пришел домой, Марийка сердито встретила его. Между ними вспыхнула одна из привычных перебранок, сначала шопотком («посыдишь людей!»), потом во весь голос («да плевать мне на всех!»), чтобы наконец, завершиться обильными ревнивыми слезами Марийки: «Коли уж разлюбил, так уж голову не морочил бы!»

Но сегодня, вместо всяких увещаний, то гневных, то ласковых, Нечпорок отрубил одним махом:

— От человек богов!.. Все любовь да любовь на уме!.. Узнай сперва, почему человек весь день в цехе?..

— Ну... п... почему?

— Потому!.. Эх!.. Мы главных наших срывчиков: Алексаху Маковкина, Николу Бочкова, Сергею Журавлеву, так, брат, подтянули, что они, как ошпаренные, задвигались!.. хо!.. хо!.. У Алексахи сто один процент, у Никола — девяносто восемь и восемь, у Серegeи — сто два процента выполнения плана. Им же во сне не снилось такое, а мы им это сделали. Теперь цех наш план выполняет, а под новый год мы такое загвоздим, такое загвоздим!

И Нечпорок действительно «загвоздил» под новый 1942 год.

— Работать быстрее, чем дьяволы в аду! — грозно внушил он своей бригаде. Печь он завалил раньше всех и в печи начался «кип» сильный, ровный, как гудение огромной бандуры. Он вслушивался в густой голос металла: сегодня сталь взбурливала как-то особенно, без всплесков и шлепков — она гудела певуче и протяжно, потом засвистела, защелкала, как

целая стая весенних соловьев на родном Дону.

Сегодня все побывали у его мартена.

Ланских в ту смену пришел в ночь.

— Как дела? — задал он обычный вопрос

— Дела? Пятнадцать и четыре десятых тонн.

— Поздравляю. — просто сказал Ланских и пожал руку сменщика.

— Хоть бы позавидовал, чорт упрямый! — добродушно фыркнул Нечпорок. — Ведь плавка-то была моя!

— И твое, и мое — все едино, наше! — ответил Ланских.

— Новый год счастливо тебе встретит! — с полной искренностью пожелал ему Нечпорок.

Глава восьмая ЗОЛОТАЯ КРЫША

Просьпаясь, Михаил Васильевич всегда видел рядом с собой, на плюшевом настенном ковре остроносую лодку, а на ней моряка, бросающего сеть в море. Сегодня Михаил Васильевич проснулся, вздрогнув всем телом, будто его разбудил раскаленный взгляд плюшевого рыбака. Наливаясь дьявольским жаром, эти глаза так и горели, крутились, как шарики, заведенные для какой-то непонятной игры. Мысль Пермякова словно вязла, тонула в море. Оно грозило выплеснуться из своей рамы, вздымалось все выше, и рыбак с его глазами-шариками уже качался где-то на гребне нестерпимо яркой индиговой волны. Она росла, шумела — и вдруг кинулась на Михаила Васильевича. «У меня бред», — успел подумать он, — волна со звоном разбилась у него на макушке, и все пропало.

Потом он увидел около себя Варвару Сергеевну. Она держала в руках стакан чаю.

— Выпей-ка, Мишенька.

Михаил Васильевич вяло глотнул два раза.

— Холодный, — туманно сообразил он.

— Да что ты, чай совсем горячий, — сказала Варвара Сергеевна. — Заболел ты, Мишенька!

Больше он ничего не слышал. Он очнулся уже при огнях. Волна опять кинулась на него.

— Ковер уберите!.. — как сквозь туман попросил он.

— Снимем, снимем! — заторопилась Варвара Сергеевна. — Кто-то, стоя в изголовье, помогал ей. Михаил Васильевич увидел чью-то темноволосую голову и бледные руки, поднимающие ковер. Человек появился с левой стороны, и Михаил Васильевич понял, что мягкая, как отблеск тихого огня, улыбка относится к нему, тяжелому, распростертому на постели, не узнаваемому даже самим собой.

— Ну, как ваше самочувствие, Михаила

Васильевич? — и директор в длинноносом старике с серебряной испаньолкой узнал старого главврача Лесогорской больницы. Главврач о чем-то спрашивал Варвару Сергеевну. На лбу у нее сияло пятнышко света, она кивала головой, и пятнышко бегало по ее лбу. Потом откуда-то из полумгла появился Пластун. Его лицо, желтое, как дынька, наклонилось над директором, и голос далекий, будто во сне, произнес непонятные слова:

— Да-а, похоже, это дело затянется.

«Что, что, затянется?» — как во сне пронеслось в мутной памяти директора, и опять все сгасло.

Когда он очнулся, был день. В глаза ему бросилась яркая белизна стены. От нее теперь исходило спокойствие и прохлада. Михаил Васильевич, будто не узнавая, засмотрелся на свои желтые костистые руки. Он пошевелил пальцами, и слабость их вызвала в нем обиду и тревогу.

— Варя! — позвал он. Вошла Варвара Сергеевна.

— Как спал, Мишенька?

— Не помню, как спал. Сколько же дней я уже того.. болею?

— Одиннадцатый день.

— Одиннад.. что же это у меня? Фу ты, этакое здоровье всегда было.. и какая же напасть со мной случилась?

— Да ничего особенного, Миша, ну, простуда, а теперь уже дело на поправку идет. Ты много не разговаривай, еще нельзя тебе.

В столовой зазвонил телефон. Варвара Сергеевна вышла и с кем-то стала разговаривать.

— Кто звонил? — спросил Пермяков, когда она вернулась.

— Николай Петрович о тебе справлялся. Хотел сегодня зайти, но я разрешила только завтра повидаться с тобой.

— Почему только завтра, почему? — взволновался Михаил Васильевич. Голова была тяжела, но память уже встревоженно работала, и шум завода, как возвращение к жизни, словно врывался в уши. Директор ужаснулся, как долго не был на заводе, что-то делается там без него?

— Да на заводе, слава богу, не без хозяйна жизнь идет — там теперь Николай Петрович всем управляет, — успокоила его Варвара Сергеевна.

«Николай Петрович управляет.. вот как», — с отзвуком старой боли повторил про себя Пермяков. Но мысль о заводе, вспыхнувшая в нем вместе с сознанием, уже рвалась вперед, как всадник, усталый, голодный, но нетерпеливый, как ветер, несущийся ему в лицо. Боль отступила, а нетерпение видеть Назарьева и все узнать о заводе было настолько сильно, что Михаил Васильевич всерьез рассердился

на жену, что она не торопит Назарьева зайти к больному директору.

К вечеру его опять настиг жар и крепкий сон.

— Ох, да что же это он не идет? — томился Михаил Васильевич утром. — Позвони ты ему на завод, Варя!

— Да уж звонила. Сказали, что побыл недолго и уехал на ветку.

— Можно? — раздался, наконец, в передней голос Назарьева.

— Можно, можно!. Милости просим! — возбужденно крикнул директор. Он видел, как Назарьев прошел в столовую, и едва его высокая тонкая фигура появилась на пороге, Михаил Васильевич протянул ему навстречу руки.

Он заставил Назарьева сесть около кровати, хотя тот доказывал, что он «холодный, с морозу».

— Какой там еще мороз? — возбужденно смеялся Михаил Васильевич. — От вас, батюшка, прямо-таки заводским жаром так и пышет!. Ну, рассказывайте, рассказывайте!. Варя, тащи сюда чаек, закусочку.. что у тебя там есть.. человек ведь уже во-как успел поработать!.

— Не светись ты, Миша.. на старости лет торопыгой стал.. Все у меня готово, а ты знай только слушай Николая Петровича.

Назарьев принес много новостей из цехов и со строительной площадки.

— Как? Старый маргеновский цех уже переделали? — изумился Михаил Васильевич.

— Да, приспособили его к новой роли. Взломали стену и соединили его площадку с механическим цехом, который теперь вместил все имеющееся оборудование. Теперь у нас, можно сказать, великолепный богатый механический цех!. А значение его?.. Один из важнейших этапов потока! Вот смотрите!.

Назарьев вынул свою толстую записную книжку, которую еще недавно так не терпел Пермяков, — и нарисовал схему заводского потока в его предполагаемом виде и в тех «узлах, которые уже фактически организованы, как первые шаги».

Таков был главный смысл всего, что рассказал Назарьев. Каждая линия и цифра его чертежей подобно лапленным каплям металла, в которых видна сила и качество сплава, передавали, скупно и концентрированно движение жизни, которое час за часом уверенно шло вперед, приближая срок, назначенный приказом Сталина.

После ухода Назарьева, директор, перебирая в памяти все приятные заводские новости, вдруг подумал, как все-таки быстро и удачно дело продвинулось вперед. Конечно, уж не один месяц шла подготовка к потоку, но все-таки.. — и тут простая и обнаженная мысль вдруг словно ударила в сердце: а не потому ли Назарьеву так много удалось сделать, что

никто не вмешивался в его распоряжения, что ему не приходилось считаться с самолюбием того же, скажем, Михаила Васильевича? Еще никогда не бывало, чтобы «его» завод совершал большие дела без него.

Ночью, когда его бросило в пот, Михаил Васильевича опять кольнула эта мысль и все в нем зануло, как будто он узнал об измене любимого существа.

Через два дня, когда Назарьев опять зашел к нему с Пластуновым, директор не удержался от горькой шутки:

— То-то, я думаю, хорошо вам сейчас работать без такого старого дурака, как я.. а?

Назарьев посмотрел на него долгим взглядом.

— Правильно будет сказать: нам сейчас легко работать, потому что до этого мы уже многое успели сделать вместе с вами, Михаил Васильевич.

— Точно, точно, — подхватил Пластунов. — Мы трое уже соединили вместе все, что было «южного» и «уральского», — он с нарочитым подчеркиванием произнес эти два слова, «мы слили одно с другим, мы, как будто получили землю с другим, иного сплава..

— А на ней, значит, рождается новый Лесогорский завод.. — добавил Михаил Васильевич и почему-то вздохнул. Пластунов посмотрел на него, и знакомая улыбка «ленинградского морячка» мелькнула на его губах.

Тут, словно прочитав его мысли, Пластунов вдруг хитро подмигнул ему:

— Кроме всех очередных сообщений, есть и внеочередное! — и он, вынув из кармана телеграмму из Кремля, торжественно отчеканил каждое ее слово.

— Что ж вы того.. не сказали мне, что был запрос о нас? — спросил Пермяков, не стыдясь ни своего неровного голоса, ни румянца радости и смущения, заливающего его лицо.

Пластунов добродушно расхохотался:

— А какая была бы из этого польза? В то утро вы как-раз свалились.. ну значит все время, так сказать, власти и ответственности за все решения легла на Николая Петровича и меня, грешного.

— Вот как товарищи-то сохраняли тебя, Миша, — вмешалась в беседу Варвара Сергеевна.

— А как же? Командиров, что в бою, что у станка, хранить и беречь надо! — воскликнул Пластунов.

Когда они ушли, Михаил Васильевич долго молчал, вытянувшись под одеялом и чувствуя блаженную усталость, как будто и в самом деле все это время провел в цехах.

— Долго ли мне в постели валяться? Уже легче становится, а вымотало меня страшно.

— Варя! — нетерпеливо позвал он жену. — Что за чертовщина у меня была?

— Что?.. — Варвара Сергеевна помедлила. — Крупное воспаление легких было у тебя.

Когда в двадцатых числах января Михаил Васильевич очутился в широком пролете совершенно преобразованного цеха, директор словно оцепенел от свежести впечатлений. Двухсотлетняя стена времен Демидовых была снесена, как трухлявая преграда. Механический цех, выстроенный в конце девяностых годов прошлого столетия, соединившись со старым демидовским цехом, казался сейчас огромным. А демидовский цех без своих древних «мартынов», побеленный, опрятный, неузнаваемый, как будто только для того и был в свое время сложен, чтобы дать пристанище десяткам станков. Еще месяц назад они мерзли в переполненных заводских складах, а сейчас жужжали, стрекотали, деловито взвизгивали, постукивали, будто испокон века стояли здесь. Все было переиначено, все подчинено главной цели — дать дорогу будущему потоку. Все показывало, что он пойдет именно здесь, и хотя мимо этих станков-гигантов, средних и малых станков, еще не скользя лента конвейера, дорога, как стрела, уже пронзала этот цех из конца в конец. За эти недели лежания в постели Михаил Васильевич своей тоской как будто заработал себе новое, молодое и жадное зрение. Только сейчас заметил он десятки выразительных мелочей в манере людей работать, обращаться со станком, с инструментами. Он понимал, что эта подтянутость появилась не в один день, но в том, как все эти фрезеровщики, строгали, токари, сверловщики, расточники естественно и быстро, словно воздух, впитали в себя все перемены и новизну в работе цеха, — в этом опять чувствовалось начало будущего потока.

— Михаил Васильевич! — раздался позади голос Назарьева. Он щел, застенчиво улыбаясь и протягивая ему руку.

— Ну, как? Ваше впечатление?

— Да чего уж там! — и Михаил Васильевич смущенно усмехнулся.

— Вам же все пришлось на себе выносить!

— Никким образом! — горячо заспорил Николай Петрович.

Когда Пермяков вызвался поехать с ним на строительство ветки, Назарьев и в машине спорил и убеждал директора, что «без трудоемкого опыта сживания» нескольких заводских организмов никакие перемены не удались бы.

Пока они шли по клочковатой лесной тропе к новому участку скальных работ, Михаил Васильевич, слушая Назарьева и невольно сравнивая его с покойным своим замом Кузьминым, усмехнулся: разве Кузьмин мог сделать хотя бы четверть того, что сделал Назарьев? Конечно, нет. У Кузьмина не было ни тех знаний, что у Назарьева, ни смелости. Разве не

было перед войной разговоров о потоке на Лесогорском заводе? Конечно, были. И заседали и «прели», а смелости и гибкости все-таки нехватало.

Теперь только в полной мере он оценил Назарьева, как техника, как человека и товарища. Теперь он не мог себе представить, чтобы у него заместителем был кто-то другой: нет, нет, именно инженер Назарьев Николай Петрович, со всей его «школой» труда, с его многообразным техническим опытом, начитанностью («математика» — да да, очень важная наука!), с его незлобностью, с его мягкой серой шляпой, с его тихим голосом, именно такой вот Назарьев необходим Михаилу Васильевичу.

Дома Михаил Васильевич порадовал Варвару Сергеевну своим аппетитом, хвалил обед, шутил, смеялся. Потом, по обычаю, сел к окошечку и, закурив, притянул к себе жену.

— Посидим-ка мы рядком, да потолкуем ладком, милая ты моя!

Варвара Сергеевна тоже смеялась, счастливая, успокоенная.

— Мишенька, ты с Николаем-то Петровичем и теперь вижу..

Он не дал ей договорить и торжественно кивнул массивной головой:

— Лучшего и не желаю — человека открыл, а это, мать, дороже денег!

Михаил Васильевич, почувствовав, что его трясут за плечо.

— Тебя, Миша! — разбудила мужа Варвара Сергеевна. — Телефон!

В трубке послышался торопливый голос Назарьева.

— Михаил Васильевич, через час-полтора я улетаю в Москву и хотел бы зайти к вам, если позволите.

— То-есть, как это.. в Москву? — опешил Пермяков.

— Ну да, самолетом.. Я вам все сейчас расскажу..

Войдя в столовую, Назарьев поставил у дверей небольшой чемодан, который вдруг стал сразу неприятен Михаилу Васильевичу, как кто-то живой, хитрый и неверный.

— Как это так ...вдруг? — спросил директор, сердито глянув на скромный, потертый чемодан из коричневой свиной кожи.

— Да вот, совершенно неожиданное дело, представьте, — начал Назарьев. — В связи с восстановлением Кленовского завода, правда, пока частично, Наркомат вызывает меня в Москву.

— Гм.. сколько же времени вам придется там пробыть, в Москве-то?

— Ничего не могу сказать. Как только узнаю что-нибудь определенное, я тотчас же свяжусь с вами по телефону. А сейчас я забегал позвать вам руку и проинформировать вас о тех делах, которые оставляю, так сказать, на-ходу..

Как всегда, немногословно и точно, Николай Петрович рассказал директору о своих делах на заводе и на стройке, которые теперь предстояло решать Михаилу Васильевичу одному.

— Ну, теперь как будто все, — закончил Назарьев. — Будем надеяться, до скорого!..

— Вы уж того, Николай Петрович.. не вздумайте Урал бросать, — невольно пошутил Пермяков.

— Что вы? — серьезно улыбнулся Назарьев. — Урал — это мое второе рождение, было бы вам известно.. Урал наш, общий..

Проводив Назарьева, Михаил Васильевич засиделся над оставленными ему материалами. Когда он начал листать странички назарьевского блок-нота за последнее время, слова Николая Петровича «Урал наш, общий» всплыли в сознании так ярко и звучно, будто сказаны были только-что, в этот тихий, ночной час. И, главное, это были не только слова. Все, оставленное Назарьевым, показывало, что все мысли и заботы Николая Петровича действительно были устремлены к одной цели: укрепить поднимающийся на глазах новый Лесогорский завод, который был плоть от плоти этого огромного, «нашего, общего Урала».

— Чудно! — довольно посмеивался он, — у этого математика все словно через обогатительную фабрику проходит!

И он закуривал новую папиросу.

— Ты что это, полунощничать собрался? — спросила жена.

— Сейчас, Варенька, сейчас, — отвечал он, отмахиваясь, и она понимающе отступила. В наклоне головы, раздумчивости взгляда, в тихо шевелящихся губах Варвара Сергеевна с чуткостью верного человека прочла жажду уединения. Она угадывала, что это связано с Назарьевым, перелому отношений с которым Михаилу Васильевичу она радовалась, как избавлению от тяжелой болезни.

А Михаилу Васильевичу виделся Назарьев, подремывающий около льдистого окошечка самолета, мимо которого мелькают ночные облака. Едва ли он подозревает, что директор, как увлеченный юноша, читает сейчас его блок-нот.

Только сейчас Пермяков оценил полностью истинную цену назарьевского лаконизма. Кстати, и все то, что было внесено самим директором, оказалось, значило гораздо больше, чем он даже мог предполагать. А почему? Да потому, что его вклад в дело «нашего, общего Урала» поднял именно он, Назарьев, поднял и по-штурмански определил его путь в стремительном движении военного времени.

Ему вспомнился один из первых его разговоров с «навязанным замом». Тогда в директорской душе все кипело, и каждое слово Назарьева казалось пустым, как шелуха. Но все-таки («а это настоящее зерно было!») кое-что очень

запомнилось. Вот что сказал тогда Назарьев:

«— Иногда, имея великолепную основу для успеха, мы многое теряем, как расточители, потому что нам мешает своеобразная цеховщина в обычаях и понятиях. Мы ограничиваем свое поле зрения, мы видим «наш» цех, «наш» завод, видим его «на-сегодня», самое большое — «на нынешний квартал», мы видим его для себя. Мы вмешиваем в коллективный сплав труда наши мелкие страсти, привычки, все эти посторонние примеси, которые снижают пробу металла. От этих посторонних примесей — ненужные испарения, дым, туман, который мешает видеть, смотреть...»

Помнится, Михаил Васильевич тогда сердито фыркнул:

— Куда же это смотреть прикажете?

— В будущее, — последовал спокойный ответ. — Видеть не только то, что при нас, но и то, что и как оно будет после нас.

Помнится, Пермякова тогда всего передуло: смысл этих слов он понял грубо, примитивно, примерно, так: «после нас» — это когда ты, старый корень, сойдешь со сцены, и Лесогорским заводом буду править я, Назарьев».

Опять вспомнился один из последних разговоров с Николаем Петровичем — о будущем.

— Пока-что, ближайшее будущее, до которого я, что называется, могу дотянуться рукой, видится мне: пламя и дым. Но, как бы ни было трудно, я знаю, горжусь, что я, человек, работаю в великой орбите Сталинской стратегии, живу и работаю для скорейшей ее победы, — сказал Назарьев.

«Ну и что же, вполне можно представить себе и это!» — и Михаилу Васильевичу вдруг захотелось повторить, как бы свои собственные, слова Назарьева: «Я, человек, горжусь, что живу и работаю для скорейшей победы Сталинской стратегии!»

Михаил Васильевич, бережно положив назарьевский блок-нот в карман пиджака, еще некоторое время посидел за столом, на своем обычном месте, спиной к синим изразцам печи, лицом к окну. В верхнем прямоугольнике окна сияла далекая неизвестная Пермякову звезда — он был не мастер читать небо. Но сейчас ему казалось, что не в морозном ветре, а уже в теплой бархатной синеве весны летит эта сияющая звезда из Москвы, от самых шатровых башен Кремля.

Через четыре дня, тоже ночью, Назарьев позвонил Пермякову из Москвы. Утром, встретясь с Пластуновым, директор передал ему содержание трехминутного разговора.

— Говорит наш Николай Петрович, что пока не выяснил, сколько времени придется ему пробыть в Москве.

— Может быть, следует подумать о временном заместителе? — спросил Пластунов.

Михаил Васильевич испуганно отмахнулся.

— Что вы, Димитрий Никитич, да разве я могу работать с кем-нибудь другим..

— Трудно вам будет..

— Нет, нет, я его подожду..

— Ну, вам виднее, дорогой директор.

Время шло, а Николай Петрович все не ехал. Однажды утром он позвонил, что возвращение его в Лесогорск опять откладывается — на неопределенное время. Телефонный звонок Назарьева застал директора в кабинете Пластунова, который тоже перемолвился короткой беседой с Николаем Петровичем. Положив трубку, Пластунов вопросительно посмотрел на директора:

— Что ж, Михаил Васильевич? Придется все-таки, пока что, о заместителе вам подумать, а то ведь дело будет страдать.

— Да-да, придется... — угрюмо согласился Пермяков.

Димитрий Никитич пустил вверх клубочек дыма и, как бы размышляя вслух, сказал:

— А вот инженер Тербенев.. как вам кажется? На мой взгляд, способный, инициативный парень.. да, и, кстати, уралец.

— Это как-раз мне все равно.. — все угрюмился Пермяков. — После Николая Петровича всякий мне будет казаться.. гм.. и то да не то.

Он помолчал, прикурил от пластуновской трубочки и, хмурясь, заговорил медленно и веско:

— Какие уроки в жизни бывают, Димитрий Никитич..

— А что? — будто не догадываясь, бросил парторг.

— Да вот.. поздно человека понимаешь. Иной раз безделка, чепуха какая-нибудь в глаза тебе бросится..

— И ты ее за чистое золото примешь..

— Да.. а вот настоящее, большое в человеке прозеваешь.. Уж, кажется, жизнь видал, а вот не осознаешь сразу..

— Ничего, Михаил Васильевич, ничего.. лучше поздно, чем никогда. А вообще — осознать да понять это уже часть дела.. А потери во времени возмещаются только одним способом: сегодня работай лучше, сделай больше, чем вчера.. другого не знаю и не придумоу.. Так как же.. остановимся на Тербенева?

— Тербенева знаю.. я было даже приглядывался к нему тогда.. осенью вот, значит, как судьба выпала. Ладно, против Тербенева ничего не имею.. ладно.

— А тебе письмо, дочка! — весело встретила Таню мать. — С оказией пришло,

Таня схватила конверт и только хотела запереть за собой дверь своей ком-

каты, чтобы, как всегда, остаться наедине с письмом, — как в глаза ей бросился незнакомый почерк на конверте. Она тихо и вскрикнула, вскрыла конверт и прочла одним залпом, не дыша:

«Дорогая Татьяна Ивановна лично я с вами незнаком, но Сергей много мне рассказывал о Вас. Мужайтесь, держитесь!. Ваш муж, Сергей Алексеевич Панков 20 января 1942 года погиб смертью храбрых. Я видел, как его танк запылал от фашистского снаряда. Сергея в тот вечер мы не дождались. Не увидел я его и в полевом госпитале.. У нас с Сергеем было обоюднo условлено — на случай несчастья подать весть семье товарища. После тяжелого ранения, направленный в долгосрочный отпуск в родную Сибирь, я должен проезжать мимо вашей станции, где и оставляю это письмо. Мужайтесь, дорогая Татьяна Ивановна. Потеря Ваша невозвратима, но знайте: Ваш муж бесстрашно и гордо дрался с лютыми врагами нашей Родины и дорого отдал свою жизнь: в том бою он подожг два танка и истребил немалое число гитлеровских подлецов!. Помните, что Вас он очень крепко любил!

Уважающий Вас
Николай Квашин».

Письмо выпало из рук Тани. Ее вдруг охватила слабость, холодная до озноба, будто бешеный ветер распахнул двери и окна в черную ночь. Эта черная ночь с ледяным ознобом всей души продолжалась и утром, и в полдень, и грозила в будущем стать беспросветной.

— Ты что огонь не гасишь? — спросила печальная мать, заглядывая в комнату Тани.

— Ах, да.. — вспомнила Таня. Казалось.. бессонная ночь все еще тянется, звенит в ушах, как злой неотвязный овод.

Ночь Таня провела за письмами и сейчас еще не могла оторваться от них. Исписанные мелким и четким почерком Сергея эти открытки и клетчатые листочки из блок-нота словно таили в себе ту часть его жизни, которую никакая сила не могла вырвать от Тани, его жены.

Вглядываясь в каждую букву, Таня представляла себе, как его большая теплая рука выводила их, как складывала исписанные листочки в конверте. Он писал ей и видел эту маленькую комнату с пестрым диванчиком, где они так любили сидеть по вечерам. Вот эту большую синюю плюшевую подушку с цветами подсолнуха Таня всегда подкладывала ему под локоть, когда у него зажимало плечо и рука.

Вот здесь около этажерки с книгами оба «торчали часами», как посмеивалась Наталья Андреевна. Здесь они перечитывали вслух любимые книги, спорили, шутливо сердясь и упрекая друг друга в разных

«грехах философии». Сергей, например, терпеть не мог сказок Андерсена, а Таня любила их с детства.

Придя с завода, Таня запиралась в своей комнате, ревниво охраняя неприкосновенность этого заветного мирка. Если кто-нибудь из домашних заходил к ней, она смотрела нетерпеливо и как бы говорила: «уходи, я хочу быть одна!»..

Просыпаясь после смутной ночи, похожей на тяжелую дрему, Таня говорила себе: сегодня или завтра придет письмо от десятого или одиннадцатого. Последнее письмо от Сергея перед страшной вестью она получила от восьмого января, после известия — от девятого. Редкий день он не писал ей, каждый день, а через день — обязательно, хотя бы две строчки.

Таня приходила с завода — и дома ее ждало письмо от Сергея, живого. Она схватывала письмо и, то бледней, тордея и дрожа, читала его, будто жадно пила каждое слово, дыхание, мысль, желание Сергея, которое оно приносило ей, это бесценное письмо.

Идя с завода, она думала: «сегодня будет от четырнадцатого». Замирая, она спрашивала мать: «почта была?» Мать отвечала хмуро: «была».

Таня запиралась в своем мирке и читала, перечитывала письма, приучив себя забывать, что руки, которая писала все эти, полные любви, слова, уже нет на свете.

«Сегодня получу письмо от пятнадцатого или шестнадцатого», думала Таня, пока рука привычным движением проверяла винты и гайки в железных креплениях. На-днях была достроена еще одна заводская коробка — новый термической и пружинный цеха входили в строй.

Таня полезла выше на железную колонну, постукивала, завинчивала — и вдруг вспомнила, что теперь ей некому писать, что происходит в цехе, как она сегодня работала, и некому там на фронте сказать: «вот как моя жена, Таня, план выполняет, горит у нее все в руках!»

Смена кончилась. Они пошли вместе с Артемом. Он начал рассказывать, что жизнь у него полетела «кувырком». После сумасбродного ухода Веры с работы, муж с женой настолько крупно поговорили, что новобрачная ушла к родителям..

— Завернет иногда к нам, — она, видите ли, гуляет для здоровья, так ей «по пути!» Дома меня почти не бывает, так она все записочки оставляет: признай, мол, свою ошибку, «и всё будет попрежнему..» А я за собой никакой ошибки не вижу, каюсь мне абсолютно не в чем. Верно?

— Да, конечно.

Таня вздохнула и подумала вслух:

— Таким людям, как Вера, вообще, жить, легче.

— То-то и оно, что нет! — оживился Артем и даже почему-то перешел на шо-

пот. — Старушка моя, да и я сам видал, что моя женушка только храбрится. Дома ей скучно, да и у ее мамыши характерец, что называется, семь пятниц на неделе: сегодня пожалует, приласкает, а завтра булавки втыкать начнет.

Артем помолчал и добавил просительно: — С вами, Танечка, дружба у ней провалилась, и это ее удручает... если бы вы с ней поговорили... а?

— Не знаю, Артем...— равнодушно сказала Таня. — Я не могу, простите...

«Завтра будет письмо от семнадцатого... и еще я получу два-три письма... и все...» — подумала она.

Действительно, пришло еще четыре письма, последнее от 20 января. Оно было очень короткое, на одной стороне блокнотного листка.

«Таня, любимая, милая! Все твои письма получил, не беспокойся. Через полчаса нам приказ выступать. Идем все дальше на запад. Мы, фронт, день и ночь работаем по очищению нашей земли. Скажи всем нашим десогорцам, чтобы и они, уральцы-оружейники, с такой же яростью, как мы бьем немца, помогали нам! Сейчас пятый час утра. Друг мой, радость моя, какое счастье, что ты есть у меня!

Твой Сергей».

Таня уже выучила письмо наизусть, а все еще читала вполголоса:

«Какое счастье, что ты есть у меня...» — Больше не придет ни одного письма... ни одного!

Сегодня первое февраля. Больше писем не будет ни второго, ни третьего, ни десятого февраля. В блиндаже, где Сергей писал ей при свете самодельной лампочки, теперь другой командир-танкист пишет письма своей жене или матери. Да, писем не будет. Все кончено.

Однажды, возвращаясь после ночной смены, Таня нос к носу столкнулась с Верой, которая словно ждала ее у двери проходной.

— Танечек, милая, как ты изменилась... и до чего же у меня сердце болит за тебя! Теперь ты меня лучше и скорей поймешь, потому что сама страдаешь! Все-таки личное в человеке — это всё!.. Личное это сильнее: на словах-то все готовы его затоптать, как старую ветошку, и всё говорят, что надо поступаться «своим, личным, мелким» (она явно передразнивала кого-то), а ну-ка отними, отними у них личное счастье, они сразу поблещут, похудеют, ходят, как в воду опущенные (она смешно согнулась стройной фигуркой в серой шубке), свет им не мил... и работа из рук валится!

Она даже с торжеством выкрикнула последнюю фразу, словно бледное лицо Тани с потускневшим взглядом внушало Вере смелость. Вскинув завитую голову в серой шляпке-бадейке и запальчиво усмехаясь пухлым милостивым личиком, Ве-

рочка Сбоева шагала с таким видом, будто какая-то досадная преграда рухнула на ее пути.

— А, главное, противно, что все строит из себя героев...

— Кто «строит героев»? — резко спросила Таня. Запах одеколona от румяной верочкиной щеки, круглые буколки, муфта с помпошками—все в этой цветущей молоденькой женщине вдруг показалось Тане неестественным и оскорбительным.

— Пожалуйста, не воображай, что если у меня горе, так я буду потворствовать твоemu... твоему...

Таня не могла больше подыскать слова, дыхание ее перехватило, и она, гневно отмахнувшись, побежала к своему крыльцу.

— Ну... и, пожалуйста... не очень нуждаюсь...—пробормотала Верочка и отбросила носком ботинка снежный комочек. Он откатился. Молодая женщина подбежала к краю панели и с силой отбросила комочек на шоссе, где, взметая голубую пыль, торопливо неслись машины.

Тут Вера заметила неподалеку приземистую и широкоплечую фигуру Игоря Чувилаева. По выражению его лица и движению, каким он засунул руки в карманы черной шинельки, Вера сразу поняла, что он всё видел и слышал.

«А они ведь с Танькой в одной смене работают... «войско Артема!» — сердито и горько вспомнила Вера.

— С чего это на дороге стал?—вспыхнула она.—Да и здороваться надо... с теми, кто старше тебя!..

— Вы не старше меня, — отрезал Игорь,—вы зря живете... завод бросили... Артема Иваныча подвели, он из-за вас страдает, стыдится, какая вы оказались бессовестная!..

— Мальчишка... еще смеет мне нотации...

— А к Тане Панковой подъезжать нечего—у ней мужа убили, она мучается, но она не такая, чтобы вас слушать!—Игорь отошел, оставив за собой последнее слово.

— Не твое дело! — крикнула вслед Вера. Прохожие оглядывались на нее. С ненавистью посмотрела она на черную фуражку Игоря, скрывающуюся за углом, и, глотая слезы, продолжала свое гулянье. Но все ей стало противно: и улица, и прохожие, и сама она в придачу.

Всклипывая, вера остановилась на перекрестке, горько раздумывая, куда ей сейчас итти: к матери, в «старый дом» или в квартиру Сбоевых — в «новый дом». Ей никуда не хотелось итти, ей даже показалось, что у нее вообще никого и дома-то нет.

«Боже ты мой!» — прошептала она, — Ну, неужели всё так скверно складывается только потому, что я ушла из цеха?»

Она решила все-таки итти к Сбоевым, хотя бы для того, чтобы пожаловаться Артему на его «преlestного Игоря, начального мальчишку», которого Артем «просто недопустимо избаловал!»... Артем сейчас должен быть дома, вот она ему об этом возмутительном случае расскажет!

Вечером за ужином Иван Степанович рассказывал, что на совещании стахановцев, с которого он только-что пришел, выступил Юрий Михайлович с призывом закончить строительство корпуса сборки еще на неделю раньше.

— Партийное бюро постановило, ну, а мы, стахановцы, поддержали: для фронта важно скорее наши танки получить, а если фронт требует, мы отвечаем одно: «сделаем!» Завтра, в выходной, созываем огромный воскресник!

Старик помаслил себе кашу, потом поднял глаза на дочь.

— Долго мне глядеть, как ты постничаешь, Таня? Голодовкой горю не поможешь. Изволь есть, как молодости полагается. Завтра, дочка, работа будет жаркая!.. Пойдешь на воскресник-то?

— Конечно, пойду.

— В семь утра сбор.

Когда Таня, Иван Степанович и Костромин вышли из дома, в утренней полумгле на разных концах Лесогорска играли оркестры.

— Морозец! — сказал Костромин.

— Ничего, народ придет, — морозишко самый обыкновенный! — ответил Иван Степанович. — Да смотрите: народу идет — сила!

Сизые облака быстро гнал ветер. Медно-голубое студное небо, облакаясь, светлело, будто набирало рост и ширь. Когда головной оркестр приблизился к площадке строительства, первый луч морозного солнца выплывая из-за облаков, встретился с широким зевом геликона, а за ним и все трубы оркестра запылали чистым огнем утра.

Всюду, куда хватал глаз, двигались люди. Казалось, не мостики и леса соединяли между собой поднимающиеся стены корпусов, а именно эти толпы, группки, цепочки, которые, как неутомимые потоки, растекались по голубым снегам.

Таня попала в бригаду подносчиков, подобранных Артемом и состоящую из знакомых людей: Игоря Чувилева, Толи Сунцова, Сережи Возчий, Зины Невьянцевой и Юры Панкова.

Таня подносила цемент, песок и делала все, что приказывали ее звену камешники, большей частью пожилые требовательные люди. Они без церемонии поторавливали и покрикивали на добровольных помощников. Самолубивый Толя Сунцов несколько раз даже окрысился, а смешливый Сережа Возчий то-и-дело поддразнивал камешников, Зина Невьянцева то опе-

кала худенького Юру Панкова, то кричала Тане: «Деверь-то у тебя не из ловких!»

— А, так вот ты кто — деверь! Де-ве-рь! — захохотали трое токарей, они же слесари, они же электрики, они же сварщики, паяльщики — маенький, но гордый отрядик славного артемовского «войска» универсалов. Юрий среди них считался ещё совсем зеленым.

— Деверь! — покрикивал Игорь. — Руквицы-то, однако, не теряй!

Таня слабо улыбалась — всем им так хотелось рассмешить ее. Она работала, как всегда, внимательно, споро, но безразлично, словно заведенная, по выражению Артема.

Но быстрота работы, шум голосов, уханье песни, эхо, что летело отовсюду, содние, сверкающие сугробы, певучий скрип снега, мельканье знакомых лиц, золотисто-голубой воздух, ядерный, густой, врывающийся в горло остро и сильно, как студное питье, — все вокруг так пестрело, так звучало, так согласно кипело, утверждая свое движение вперед, только вперед, что Таня понемногу словно разгорелась. Румянец все сильнее жег ей щеки, ей уже стало жарко, хотелось распахнуть полушубок, и что-то даже боязливо заиграло в ней.

В обеденный перерыв множество людей собралось в огромном кирпичном сарае, где было довольно тепло от обжиговых печей и плит, подогревались замесы для кладки.

Здесь Зина Невьянцева и Юра Панков, наконец, разрешили Тане распахнуться.

— Вот ты опять такая же хорошенькая, как всегда! — любуясь Таней, сказала Зина.

В эту минуту подошли Костромин и Пластунов, оба в стареньком, запачканные рыжей кирпичной пылью.

— Вы никак тоже в подносчиках ходите? — смеялась бойка Зина.

Костромин, посмотрев на Таню, сказал:

— Видно, хорошо поработали, Татьяна Ивановна! Очень рад за вас!

— Ого!.. Она у нас хоть тихонькая, а боевая! — опять высунулась Зина.

Пластунов, озабоченно прислушиваясь, покачал головой и заметил:

— Ветер усиливается, как бы не завьюжило... это нам совсем ни к селу, ни к городу!

Он увидел директора и отошел с ним в сторону.

Пока все закусывали и грелись, оркестр сыграл несколько маршей и песен. А когда оркестранты сделали передышку, Пластунов озабоченнее, чем в первый раз, сказал директору и Костромину:

— А на дворе уже метет во всю! Погода может сорвать наши планы. Не подогреть ли нам настроение? Собственно говоря, для митинга все готово.

Потом все трое стали сговариваться, кто

будет выступать на митинге. Таня, слыша вой метели, вспомнила голубую алмазную метель, которая встретила ее любовь. Высокая фигура Сергея, его умоляющий, полный муки и ожидания взгляд, весь первый день ее тревожной и короткой любви вдруг пронесся перед Таней. Она торопливо растегнула полушубок, вынула из нагрудного кармана блузки платок и вытерла глаза.

— Уронили что-то, — сказал Пластунов, указав на пол.

— Спасибо, — рассеянно ответила Таня и, нагнувшись, испуганно вскрикнула. Пластунов обернулся.

— Что с вами, Татьяна Ивановна?

— Я... я чуть не потеряла... это последнее письмо моего мужа, — пролепетала побелевшими губами Таня.

— О, такое письмо никак нельзя терять! — поддержал Пластунов. Ужас от того, что могло бы произойти, сменился у Тани блаженным облегчением.

— Подумайте... — вдруг вспыхнула она, прижимая к груди драгоценный конверт, — он... Сергей... в этом письме и о наших лесогорцах написал.

— О лесогорцах? — насторожился Пластунов. — Думаю, что это не секрет?

Таня прочла наизусть те строки, где Сергей написал о лесогорцах.

— Очень стоит обнаружить такие хорошие слова, — серьезно заключил Пластунов. Таня, не понимая, смотрела на него.

— Слова, обращенные вашим мужем-героем к лесогорцам, должны быть ими услышаны... да ведь, простите, он так и писал вам: «скажи»... Ведь, да? — Пластунов закончил с почитательным поклоном: — Вот почему мы просим вас выступить на митинге...

Когда Пермяков, председатель митинга, дал слово «жене героя-фронтовика» Татьяне Ивановне Панковой, Таня с трепетом поднялась на клетку кирпичей и с испуганным смущением оглядела затихшую толпу. «Скажи...» вдруг вспомнилось начало строки, написанной рукой Сергея, и она просто сказала:

— Мой муж, Сергей Панков, гвардеец, капитан танковых войск в своем последнем письме так написал мне...

Она развернула письмо, губы ее задрожали. Десятки глаз смотрели на нее:

— Вот эти его слова. «Скажи всем нашим лесогорцам, чтобы и они, уральцы-оружейники, с такой же яростью, как мы бьем немцев, помогали бы нам...» Товарищи...

Таня на миг задохнулась. В стены сарая злобно била метель. Последние слова Сергея выпустила она, Таня, в эту лютую вьюгу и мороз — и ведь не для того, чтобы пропали они напрасно, эти предсмертные его слова!

— Товарищи! — крикнула Таня звонко и повелительно. — Эти слова к нашим лесогорцам мой муж перед смертью написал, помните! Я... (губы опять задрожали, она прикусила их до крови) вам его завещание передаю... и первая его принимаю! Пусть еще злее будет ветер и мороз, я обещаю выполнить план, стоять крепко, как мой муж стоял... и позор, кто уйдет, кто фронтовигов обманет... будем стоять крепко!.. Мы все сильнее ветра и мороза!.. Как я сказала, так и сделаю!..

Слезы брызнули у нее из глаз, когда она, махнув рукой, сошла в толпу.

Когда после митинга все вышли из сарая, над снегами неслась и выла пурга. Высокий белесый вихрь бешено взметнулся к небу и упал, рассыпавшись колючей льдистой пылью.

— А ну... побежали! — крикнула Таня и, нагнув голову, устремилась наперерез снежной буре, морозу, ветру...

Она уже не могла бы сосчитать, сколько раз ее руки сводило болью, сколько раз перехватывало дыхание, сколько раз ослепляло бешеной снежной пылью, которая жгла кожу, примораживала волосы к щекам.

Ею овладело то спокойное остервенение, о котором ей рассказывал Сергей. Торопясь подносить, помогать, подавать, она успевала топтать, тереть себе нос, щеки, колени, хлопать рукавицами по извозчицы, быстро протирать глаза.

Когда снега начали синеть, пурга утихла, мороз вдруг сломался.

— Возмутительно! — сердито рассмеялась Таня. — Безобразия!.. Когда у нас все сделано, тогда на зиму смирение напало!..

— Будет вам сердиться, Татьяна Ивановна! — произнес веселый голос Костромин. — Можно со спокойной душой идти домой — воскресник провели с честью!

Когда они вышли на шоссе, Костромин вдруг хлопнул себя по лбу.

— Ба! Чуть не забыл: я ведь должен зайти в детский комбинат, поговорить с Марьей Павловной Назарьевой насчет моего Сережи — старушка моя все болует нынче, да и мальчику скучно одному... Зайдемте? Кстати, погреемся, передохнем по дороге. Вот и комбинат!

— Зайдемте, — согласилась Таня.

Двухэтажный, длинный, как вагон, рубленый дом глядел в синеву вечера всеми своими двадцатью большими окнами. Из-за двойных стекол долетали звон и щебет многих детских голосов.

— Ого, тут шумно живут, — засмеялся Костромин.

Таня подошла к крыльцу, и тут кто-то крепко обнял ее за плечи.

— Танечек! Добрый вечер! — смешливо сказал знакомый голос.

Таня быстро обернулась.

— Вера! Откуда? Где ты была?

— Там же, где и ты! — ответила Вера и с прежним полуребячьим смехом, отскочив в сторону, слилась с шумными шеренгами людей, которые шли с воскресника.

Костромин и Таня остановились на пороге большой «игральной» комнаты. Марья Павловна в белом халате сидела у окна за столом, окруженная детьми. Они словно лепились к ней, как к самому верному прибежищу, обнимали, украдкой гладили ее плечи, восторженно смотрели в лицо и следили за движением ее рук. Детские голоса весело и нетерпеливо звенели вокруг нее.

— Тетя Маша, нарисуй мне, как яблоки в саду растут.

— А мне кораблик! Мама Маша, мне кораблик!

— И мне... Да чтобы шел и стрелял в немцев!

— Не надо кораблика, не надо, чтобы стреляли! — закричал вдруг тоненький голосок — черноволосяная девочка лет четырех соскочила со стула и, как-то по-старчески всплескивая руками, побежала так быстро, как могли двигаться ее ножки-палочки.

Марья Павловна спокойно встала из-за стола, приветливо кивнула Костромину и Тане, догнала рыдающую девочку, прижала ее к себе и принялась успокаивать. Потом подвела к шкафу и вынула оттуда большого резинового кота, надутного, легкого, с белыми пятнышками по черной шкурке.

— Смотри-ка, Лизочка, котик тебя зажался!

Лизочка обняла кота и заулыбалась.

— Эта девчурка из Смоленщины, навидалась немецких ужасов, остаалась круглой сиротой. Таких сирот у нас и в ясельном отделении, и у дошкольников десятки. У каждого свое горе, это маленькие, но глубоко потрясенные люди.

Голос молодой женщины звучал тем твердым спокойствием, которое дается знанием горя.

Она согласилась взять Сережу.

— Я уверен, что у вас ему будет хорошо, — довольным голосом сказал Костромин. — А я не знал, что вы окажетесь такая всеобщая тетя Маша и мама Маша.

— Эта мысль пришла в голову моему мужу после того, как у нас прижились наши «дети войны», как он говорит. Мы усыновили их, они тоже Назарьевы.

— А кстати, где ваши детишки? — спросил Костромин.

Марья Павловна с улыбкой сощурилась, разыскивая своих четверых Назарьевых среди этих русских, черноволосяных и золотистых головок.

— Вот они!

В эту минуту где-то в дальнем конце дома звонко и задорно застучал молоток.

-- Дедушка Тимофей! Дедушка Тимо-

фей пришел! — радостно закричали дети и шумной ватагой, смеясь и визжа, затопали по коридору.

— Дедушка Тимофей у вас? — оживилась Таня, и ее так и потянуло увидеть старого доброго волшебника детства и свидетеля ее сказочной голубой метели. — Что он у вас тут делает, Марья Павловна?

— О, мы с ним вместе одно интересное жизненное дело затеяли. Вот увидите.

У окна просторной кухни по-хозяйски устроился Тимофей-сундучник. Его седая кудлатая голова с пыльно-рыжей бородкой покачивалась в такт его равномерным движениям, округлым, словно он собирался начинать какой-то необычайный им придуманный танец. Он прикладывал одну к другой какие-то гладко выструганные дощечки, планочки, деревянные кирпичики, решеточки — и казался очень довольным. Его рабочий сундучок, ярко разрисованный птицами и цветами по ярколаторевому полю был открыт, и десятки детских глаз восхищено, словно в предчувствии чудес засматривали в его недра.

— Дедушка Тимофей, что ты делаешь? — спросила Таня, как бывало в дни детства.

— В самом деле, у вас тут какая-то конструкция, — заинтересовался Юрий Михайлович. — Что это вы задумали, дедушка? Я слышал, что вы великий выдумщик.

— Нам, виньте ли, без выдумки нельзя. — хитро подмигнул Тимофей. — Наше мастерство игривое, для веселия и счастья жизни. Сундучники мы, сызмальства невестам сундуки делаем. Порасспроси-ка, до войны-то ни одна невеста в лесогорской округе без Тимофеева сундука обойтись не могла. Сундуки у меня были не просто добришко положить, а для удовольствия глазу, для веселья слуху, для памяти счастью: бока расписные, цветастые с «глазками» — тут тебе, виньте ли, фольга, жест крашеная, а крышки с певчими замками, с «секретами» разными — чужой рукой не открыть! Стоит такой сундук, красуется, молодой хозяевам в очи засматривает: вот-ста, какой я ладный, вам, молодым, в цвете лет и подавно следует ладно жить — ведь человек-то всего на свете крививше. Вот вы спрашиваете, что, мол, за конструкция такая?.. Это мы с Марьей Павловной для жизни придумали — хитрая штучка!.. К тому же, я хоть и бригадир — ящики снарядные в артели мы ныне производим, — а все-таки душа по исконному своему мастерству тоскует. Сундуками в междучасье заниматься невозможно, дело это хлопотливое, трудоемкое... так вот, в свободное времечко кожу сюда, занимаюсь капитальным строительством... хе... хе... в детском масштабе! Это, виньте ли, строится домик с золотой крышей.

— Домик с золотой крышей?— в один голос переспросили Таня и Костромин. — Точно! — важно подтвердил Тимофей-сундучник. — Будет домик особенный, раскладной.

— Доуик-самобранка, — с улыбкой прибавила Марья Павловна.

— Вот! — и Тимофей даже подбросился на стуле. — Вот этим самым словом и взяла меня Марья Павловна! Домик-самобранка!.. Который, виньте-ли, любой детишка (он умиленно погладил по голове русенского мальчика), чуть в разум начнет входить, уже сложить может. Возьмет вот такой детишка все эти дощечки и палочки и как по плану указано...

— А план должен быть очень простой, — живо вставил Костромин.

— Конечно, самый наипростой... да, так вот, выйдет наш детишка, скажем, весной на полянку и начнет строить свой домик с золотой крышей — сам своею собственной рукой!

— А откуда золотая крыша, дедушка Тимофей? — спросила Таня.

— Э, э, Танюшка, была бы голова на плечах, а золото найдется!.. Порылся я в своих сундучных запасах, понасобирал кусочков развеселой желтой жести... и вообразим мы, как в сказке, что это и есть золотая крыша. Поняла?

— Поняла. Игрушка, вижу, будет интересная.

Тимофей обвел всех победительным взглядом и важно вынул из своего рабочего сундука нарисованный на картоне — будущий домик с золотой крышей.

— Дайте-ка, — сказал с улыбкой Юрий Михайлович. — А где у вас план самого построения дома, дедушка?

— Вот, вот! — и старик подал большой лист с разметками.

— Знаете, — живо и серьезно произнес Костромин, — здесь еще многое можно упростить. Вы не возражаете, если я посмотрю на досуге и помогу вам сделать этот план более легким для наших маленьких строителей?

— Сделайте милость! — воскликнул Тимофей с радушием и щедростью подлинного художника. — Даже очень рад буду.

Глава девятая

МОЛОДОЕ ВИНО ИГРАЕТ И ПЕНИТСЯ

Лесогорская ветка открылась в теплый февральский день. С утра уже стало известно, что первый состав от магистрали пройдет с шихтой, какой еще не получали лесогорские мартены: идут десятки вагонов с трофейным танковым ломом.

До магистрали было двадцать километров. Со всех деревень и поселков люди сбегались к железнодорожному полотну, чтобы встретить первый поезд. Больше всего народу собралось на широких про-

секах под Лесогорском, на местах древних горбатых чащоб.

Какой-то шустрый мальчишка, взобравшись, как белка, на сосежку, возбужденно крикнул:

— Едет, едет.

Из-за косматой кромки леса взлетел черный клубок дыма, и вскоре показался высокий меднозвездный корпус паровоза. Он издал пронзительный свисток, и люди, стоящие по обе стороны насыпи, дружно засмеялись.

— Будто знает, что по новой дороге едет!

— А вагонов-то что тащит!

— Танков-то ломаных, немецких на них — прорва!

— Ловко, ловко наши их крошат.

Тысячепудовый состав, тяжело громахая, катился по новеньким рельсам. В беспощадном свете солнечного дня было ясно видно всё: рваные пробоины в толстой броне, развороченные внутренности немецких чудовищ, сорванные башни, дверцы люков, разбитые гусеницы, — это тяжелый истребительный труд всенародной войны посылал в уральские леса суровый дар своим помощникам.

Михаил Васильевич, провояжая глазами платформу за платформой, как-то особенно четко слышал перестуки колес и звон рельсов этого нового пути, в рождении и победе которого, вместе с тысячами людей, участвовал и он. Эта железная жила, соединившая Лесогорский завод с главной магистралью великого уральско-сибирского пути, расширяла мир вокруг Лесогорска, но и несла с собой новые заботы и обязанности: ее надо было питать грузами, принимать их от нее. Она властно входила в каждодневно меняющую свои черты жизнь завода, как сложное и требовательное хозяйство со своими самостоятельными задачами, трудовыми порядками и людьми. Их на лесогорской линии явно еще не хватало. Директор уже прикидывал и высчитывал, как и здесь ему «выкрутиться». У него был заместитель, свой, заводской, как он и мечтал осенью сорок первого года. Инженера Тербенева он всегда считал очень способным человеком, но теперь «после него», то-есть Николая Петровича, все в новом заместителе казалось Пермякову бледным отражением того, что могло бы быть. Он представлял, как бы сейчас зоркая, гибкая мысль Николая Петровича помогала ему «выкручиваться», сколько бы остроумно-неожиданных и в то же время точных решений он придумал!.. Да ведь сама лесогорская ветка — создание, прежде всего, его энергии, его организаторского таланта, его, Николая Петровича... Да. Пластунов прав: «жизнь не равнина, без подъема на гору никак не обойдется». Михаил Васильевич, старый большевик, многоопытный практик, чув-

стезей, как в нем, прочно сложившемся человеке, жизнь что-то переставила, обессила, расправила, как слишком тугую пружину и заставила страдать, чтобы напомнить ему (и для будущего!) простую истину, что движение и перемена всегда идут вместе. «Ей вот легче и веселей!» — думал директор, поглядывая на жену. Варвара Сергеевна и рядом с ней старая ее подруга Наталья Андреевна, стояли, как две командирши, среди многих десятков «женских резервов», которые обе они подтолкнули пойти на завод. Варвара Сергеевна особенно казалась довольной — она по-хозяйски любила всякую удачу в каждом деле. Темносерая каракулевая шапочка немного сдвинулась набок, и от этого ее размякшееся лицо казалось чуть лукавым и даже молодым. Да, ей легче, потому что она больше всего заботилась о новизне жизненного движения, в которое вступила, и по-своему наивно и смело не боялась перемен.

Пластунов, стоя не遠далеке, поспатривал на Михаила Васильевича, на его сивые усы и, как бывает часто с людьми, занятыми общим делом, переключался мыслями с Пермяковым. Парторг почему-то был уверен, что директор думает сейчас о Николае Петровиче. Пластунов, так и не узнав о тяжелом разговоре Пермякова и Назарьева, представлял себе мысли директора, главным образом, под знаком перемены: «Да, мы уж не те, кто начинали здесь строить эту ветку и новые корпуса». Парторг видел своеобразную «печать эпохи» на всех событиях, в которые он вмешивался и наблюдал: грозное время, неустанным развивающаяся, меняющая свой цвет и облик, вечно молодая, могучая советская жизнь ярче сейчас, чем когда бы то ни было, оказалась сильнее и чище человеческих страстей и страстишек, ошибок и житейской суеты. Димитрий Никитич видел, как на лицах всех людей, встречающих первый поезд по лесогорской ветке, живет братская радость борьбы, преодолевающей все.

Когда поезд с трофейным металлом подкатил к приемной площадке, недалеко от нового мартековского цеха, как раз началась обеденный перерыв. Первым выбежал Василий Лузин, как был, горячий, чумазный, только от печи.

— У-у!.. Вот это дело!.. Немцев будем жечь! — в совершенном восторге заорал он и даже завертелся на пятке, ловкий, озорной, похожий на раздувшегося чорта.

— Эк, забрало тебя, — проходя, бросил Нечпорок. Буйная веселость Васьки Лузина выводила его из себя. Он лишился первого подручного: Васька вчера вечером заявил ему, что начальник цеха доверил ему самостоятельно вести бригаду. Чтобы Васька Лузин, которого Нечпорок обучил всему, что сам знал, — так

«изменил ему, своему бригадиру, об этом «Саша с-под-Ростова» спокойно подумать не мог.

После обеденного перерыва Васька Лузин, уже оформленный по всем статьям, как бригадир, должен был приступить к первой самостоятельной плавке, о чем он торжественно заявил Нечпороку за обедом.

— Бисов ты сын! — рассвирепел Нечпорок.

— Да что такое? — невинно изумлялся Лузин. — Не я первый, не я последний. Ты, чай, было время, тоже от старшего оторвался, чтобы на своих ногах стоять.

И Васька спокойно принялся насыщаться.

Нечпорок с ревнивой зоркостью сразу заметил, что Лузин успел не только хорошо познакомиться с бригадой, но даже уже на что-то подобрал своих подручных. Все эти молодые крепкие парни, спешно покончив с обедом, убегали куда-то с самым таинственным видом.

Когда началась завалка Лузина, Нечпорок не выдержал, заглянул на минутку на его участок и обомлел: завалочный кран подавал в печь трофейный лом.

— Вот!.. Немцев будем жечь! — лихо объявил Васька. — С трофейного металла начнем.

Обломки немецких танков со скрипом и шипом вверзались в жадно открытый зев мартена.

— Ага!.. Скрипишь? Не хочешь, сатана? — И Лузин, худой, верткий, бегал перед печью и командовал еще мальчишески высоким тенорком:

— Забирай круче!

Печь, наконец, наглоталась. Опустилась заслонка и слышно было, как зычно и мстительно взвыло пламя.

— Не хочешь? — повторил Лузин, и его зубы сверкали на чумазом лице. — Еще не то будет!.. Нам будешь служить!.. Эй, поглядывай! Воюй, ребята.

И подручные, заражаясь яростью нового бригадира, не теряли ни секунды даром.

К ночи весь цех узнал, что новый бригадир, Василий Лузин дал на своей печи 16 тонн с квадратного метра пода печи.

— Слышал новость? — спросил после смены Нечпорок, встретясь с Ланских. — Васька Лузин бригадиром заделался, шестнадцать тонн снял! Всею от меня выучился — и ушел... благодарности в людях нету!

— Он и у меня учился, — спокойно сказал Ланских. — Нет-нет, да и зайдет спросит о том, о сем.

— И ты рассказывал?

— Вот чудак!.. Ты же знаешь мои убеждения — мастерство под замком держать нечестно. Парень бойкий и, как видно, не первый день о самостоятельной роли мечтал.

— Обманщик он, вот кто!

— Эх, Александр, упрямы ты не по разуму, ей-ей! — усмехнулся Ланских. — Тебе бы радоваться, что из твоего гнезда птица вылетела.

— Верно, что птица! — досадовал Нечпорок. — Давно ли был просто Васька — парню всего двадцатый! — а теперь на тебе, бригадир!.. Быстро, чорт подери!

После известия о смерти Сергея в семью Панковых прочно вошла беззвучная тоска, которую приносит с собой безнадёжность. Алексей Васильевич, прихварывавший уже несколько лет, теперь совсем ослабел. Жена его, маленькая, энергичная женщина, стойко держала весь дом на своих плечах. Когда младший сын Юра поприхватил к заводской жизни, мать посоветовала ему «натвердо выбрать себе специальность — и чего лучше — отцовскую»: стать слесарем-лекальщиком. Юра согласился и сказал об этом отцу. Большой обрадовался:

— Вот это правильно! По отцовской дороге пойдешь. Препоручаю тебя Степану Даниловичу, он из тебя мастера сделает. Сегодня воскресенье, сходи-ка к нему да попроси его к старому другу зайти, по душам поговорить.

— Хорошо, папа.

Через час Степан Данилович Невьянцев вошел в прохладную спальню.

— Эх, брат, у тебя температура не по сезону — я в этой температуре яблоки свои зимой сохраняю.

— Что делать, все мне воздуху не хватает, сердце слабо.

Алексей Васильевич рассказал о том, как Юрий познакомился с группой эвакуированных ребят, как стал работать на заводе, а теперь мечтал быть принятым в «отряд мстителей», избрал себе специальностью лекальное дело.

— «Отряд мстителей»... — слышал, слышал, — снисходительно пробасил Степан Данилович. — Уж ребята себе дело придумают!

Он не заметил, как хуленое лицо Юры светлело насмешливо-сожалеющей улыбкой: «эх, мол, да что вы об этом деле знаете?» Его неприятно удивило, что Степан Данилович, кого в семье Панковых всегда считали умным и чутким человеком, не понимал, что «отряд мстителей» является вполне серьезным жизненным делом. А сколько разговоров было об отряде с Сергеем, который все очень одобрил, советовал и даже выступил на организационном собрании. Чем больше Юрий смотрел на крупное, в складках, лицо Степана Даниловича, тем сильнее чувствовал обиду за старшего брата и за всех «мстителей». Ведь Степан Данилович был в гостях у Панковых как-раз в тот вечер, когда Сергей, вернувшись домой, рассказывал о собрании «мстителей» и говорил о них, как о серьезных людях.

Когда началась война, многие старики вернулись к своим станкам, а Степан Данилович, несмотря на свои шестьдесят лет, ни на один день не отрывался от своих лекальных тесочков.

— Степан, старые мы с тобой друзья, росли вместе...

— Верно, другого такого друга у меня нету, — растроганно подхватил Степан Данилович.

— Спасибо... я, видно, уж не жилец на белом свете, а ты вон еще какой у нас бравый... одно слово — король!.. Помнишь, как в старину нас, лекальщики, королями звали?

— Как не помнить? — гордо усмехнулся Степан Данилович и поправил на крупном носу очки в золотой оправе. — Таких мастеров, как с тобой, тогда на заводах немного было. В те годы наша профессия была редкая, что «камень-самоцвет».

— А вот теперь поручаю Юрия твоему мастерству. Возьмешь его под свое начало?

— Будь спокоен, Алеша, все в него вложу, что сам знаю, — торжественно пообещал Невьянцев. — Да только ты, брат, не раскисай, мы с тобой ещё не раз на охоту пойдём.

— Нет, где уж там... — безнадежно вздохнул Алексей Васильевич. — Ты мне сына обещаешь...

Он тяжело закашлялся, глаза его наполнились слезами.

— Будь спокоен, слово сдержу, — ласково и твердо сказал Степан Данилович.

Юрий вышел проводить его. Степан Данилович задержался у калитки, ему стало жалко бледного расстроенного юношу.

— А ты в отца пошел, не из бойких, — с ласковой усмешкой одобрил он Юрия. — Отец твой тоже был тихий, а на выдумку в работе дошлый, будешь так же поступать, много хорошего добьешься. Ну, будь здоров.

Степан Данилович поправил на носу очки и пошел, солидно постукивая кизилевой палочкой. Голос Юрия вдруг опять окликнул его.

— Ты что? — удивился Невьянцев.

— Вы не сказали, когда мне быть у вас, а я хочу сегодня же начать.

— Хм... какой ты, брат, прыткий.

— Да ведь время-то военное...

— Что — время... все-таки я постарше тебя, ты бы сначала должен меня спросить... Ну, да ладно, приходи сегодня к вечеру.

— Спасибо, Степан Данилович, приду. Невьянцев продолжал свой путь, уже чем-то недовольный. Ему вспомнилось, как он учился мастерству. Первого своего учителя, слесаря Павлуху Каменских, пятнадцатилетний Степан искал для начала целую неделю — у Павлухи случился очередной запой. От этого сумасброда приходилось все «вытягивать по ниточке». Он

вела, когда на него «находил стих», но и за этого надо было благодарить. Потом Степан перешел к пожилому слесарю Шамову. То был медлительный человек с гулами, как из бочки голосом и дремучей бородицей, любил говорить притчами, лишних вопросов не терпел и требовал, чтобы ко всему, им преподанному, ученик относился «с трепетом». Каждый мастер был на свой образец и нрав, и сколько же надо было иметь терпения и настойчивости, чтобы, завися от характера и повадки многих учителей, копить опыт и набираться мастерства. А этот желает, видите ли, «сегодня же начать», сам и время назначает, будто учеба такое простое и легкое дело.

Это смутное раздражение Степан Данилович сохранил на весь день. За обедом он рассказал дочери о своем последнем разговоре с Юрой Панковым.

— Меня, помню, покойный Шамов учил: «с трепетом к мастерству подходи, ты ещё кулик на болоте, тебе ещё грош цена, коли мастером себя назвать не можешь... ты на меня, учителя твоего, снизу вверх смотри, всё равно как на икону... в моих руках твоя судьба—хочу дураком оставить, хочю умным сделаю!».

— Ну, ладно,— усмехнулась Зина,— то совсем другая эпоха была!

— Эпоха, эпоха!— проворчал Степан Данилович, — уж очень вы прытки все!.. Эпоха другая, согласен, уважаю ее, но мне, старому мастеру, ты, молодяшка, на-особицу окажи уважение, сделай уж такое снисхождение!..

— У-у, какой хитрый!— звонко расхохоталась Зина.— На это, папа, у нас времени сейчас нехватает... Ах, вот и Юра пришел!

— Ну вот, — проворчал Степан Данилович,— даже пообедать от души не можешь. Ну да ладно... Ничего, садись за стол, Юрий Алексеевич.

— Спасибо, Степан Данилыч, я уже обещал.

— Ну чаю выпей. Налей ему, Зина, стаканчик. Пей, Юра.

— Это можно, спасибо.

После чая Степан Данилович начал свой первый урок. За сорок лет заводской работы он мог насчитать не одну сотню учеников, но ученье он со всеми начинал одинаково: первым делом знакомил будущего лекальщика с инструментами по его специальности. Невьянцев привык гордиться своей профессией: кузнецом, сталеваром, фрезеровщиком, по его мнению, может стать всякий, а вот его лекальное дело, что музыка,— не всякий может овладеть этим тонким мастерством точности. Гордился Степан Данилович и набором лекальных инструментов, которые носил в клееном полированном ящике, похожем на футляр для скрипки. Но главной гордостью Степана Даниловича были иогансоновские плитки. В свое время он месяца-

ми копил деньги чтобы приобрести набор маленьких прямоугольных плиток, которые точно и неподкупно проверяли работу его рук.

— Вот! — торжествуя сказал Степан Данилович, бережно ставя на стол большой плоский баул из темнокрасной кожи.— Вот тебе, братец мой, и контрольные плитки или концевые калибры—наши неподкупные контролеры. Наша, брат, специальность — престогаля, как сама правда.

Степан Данилович уже забыл о своем утреннем раздражении. Его бритые тяжелые щеки вспыхнули румянцем. Нежным словно обнимающим движением он поднял крышку баула. На искрящемся бархате травяного цвета, как рассыпанные лепестки сказочного цветка засверкали в своих гнездах плитки из драгоценной закаленной стали.

— Вот они, наши контролеры неподкупные, но и водители тоже! Хочешь ты готовое изделие проверить? Или рабочий калибр создать, или инструмент на станке установить, или какое приспособление разметить, — всюду они, стальные голубчики, твоему разуму помогут. Только ты глаз свой да руку упражняй, настройай-ше следы за каждым движением своим! Ведь ты, лекальщик, к чему призван? Ты создаешь рабочему инструмент, да не какой-нибудь, а измерительный инструмент. А ты знаешь, братец ты мой, что это такое измерительный инструмент?

— Точный инструмент, которому рабочий совершенно может доверять,— не задумываясь, ответил Юра.

— Смекаешь, — именно верить, да. Ты лекальщик, чтобы какой-нибудь калибр довести до его безукоризненной точности, вот этими несравненными плиточками пользуешься или вот этим микрометром, или вот этим штанген-циркулем, или вот этими притирами... а рабочий, которому твой измерительный инструмент дадут, ни о чем таком может и не знать. Он, может стать, еще совсем черноносый, на заводе недавно, и без инструмента он, — словно без души. Он говорит: «Мой инструмент», как люди говорят «моя мать», «мой отец». Ведь человек верит безусловно, что мать и отец ему только добра желают — так же он и инструменту верит. Ежели вообразить так: вот человек вдруг перестал верить инструменту, который держит в руках, — что ж это такое будет? Будет полный развал, чертовщина, сумасшедший дом!

— Так на инструменте же марка должна быть, — осторожно вставил Юрий.

— Марка, да! — гордо вскричал Степан Данилович.— У нас на заводе главная марка — моя. А моя марка — окончательная. Инструмент, моей фамилией помеченный уж никто проверять не будет — это, братец ты мой, дело такое же верное, как то что солнце каждый день восходит.

Всегда, разговорившись о мастерстве, Степан Данилович чувствовал себя сильнее, моложе и даже красивее. Невольно расправив плечи, он застегнул на все пуговицы свой старомодный чесучевый пиджак и горделиво прошелся по комнате.

— Нами, мастерами, жизнь держится!.. А сейчас и особенно: мы, уральцы, на весь честной мир Советский Союз прославляем. Но и во всякое время, братец ты мой, помни: ты, лекальщик, рабочих инструментам снабжаешь и значит, тебе провираться нельзя — ни-ни!.. Понял?

— Безусловно.

— Хм... безусловно! Это тебе, сосунок, легко сказать, а знаешь ли ты, почему именно лекальщик должен работать без одной ошибки?

Первый урок по правилам Степана Даниловича подходил к концу. Обычно после этого вопроса он делал многозначительную паузу и строго испытующе и вместе с тем лукаво смотрел на ученика. В эту минуту «старому королю» доставляло каждый раз, по своему неповторимое удовольствие наблюдать, как на молодом лице отражается волнение или даже некоторая растерянность перед множеством новых и серьезных мыслей о собственном труде. Степан Данилович любил, чтобы в эту минуту ученик впиался в него взглядом, ожидая ответа на вопрос: почему же лекальщик, в самом деле, никогда и ни в чем не имеет права ошибаться?

Но Юрий Панков сидел тихо и смотрел совсем в другую сторону и даже, казалось, думал о чем-то своем.

— Очень понятно, — сказал Юрий, словно не Степан Данилович, а он должен был отвечать, — можно представить себе: если я, лекальщик, на полмиллиметра ошибусь, то и другие, если не заметят, еще дальше заврутса, а потом и танк нельзя будет собрать.

— Это тебя отец недоумил? — сухо спросил Степан Данилович.

— Да это так... был у нас в отряде разговор... я и запомнил.

— Гм... пряткий какой. Ну ладно, довольно для первого раза.

Утром, придя к себе на участок, Степан Данилович застал там Юрия Панкова. Что-то незнакомое заметил он на худеньком длинноватом лице и, всмотревшись, понял: Юрий постригся. Еще вчера на его маговых щеках чернели тонкие косицы черных волос, которые Зина насмешливо называла хвостиками... Теперь хвостики исчезли, лицо словно сразу повзрослело. На Юрии была отцовская темносиняя спецовка, плечи ее немного висели, но держался он подробно и важно. Степан Данилович любил аккуратность в одежде и точность во времени и про себя по-

хвалял Юрия. Но, вспомнив вчерашний, против его воли закончившийся «без аппетита» урок. Степан Данилович, ощутил какое-то неудобство, незримый урок, в котором был повинен Юрий.

До смены оставалось еще четверть часа.

Степан Данилович разложил на своем столе инструменты, потом опять убрал их в шкаф и приказал Юрию:

— Расставь всё, как было.

Юрий, словно обрадовавшись, быстро и уверенно положил все вещи на свои места.

Степан Данилович показал Юрию одно из первоначальных заданий по обращению с микроскопом, а сам занялся своим делом. Скоро Юрий заявил, что у него все готово.

— Как? Уже? — удивился Степан Данилович. Он придирливо осмотрел работу, все было сделано правильно...

— Что ж, ладно, — сдержанно похвалил он и дал новое задание. Юрий выполнил его за пять минут до конца смены.

— Я бы ещё что-нибудь успел, — попросил он, смотря на учителя почти умоляющими глазами.

— Больно ты, братец мой, торопыга, — проворчал Невьянцев и больше уж ничего не задал.

Степан Данилович только-что закончил доводку нового измерительного инструмента. Несколько небольших вещей из нержавеющей стали, казалось, источали чистейшее сияние. В длинноватых цилиндрической формы головках Юрий увидел голубое сверкание февральского солнечного полдня и восторженно вздохнул:

— До чего же прекрасно сделано!

Степан Данилович гордо усмехнулся: — Для мастера это обычное каждодневное дело.

— Это и есть калибры для новых танков?

— Точно. Для новых танков А-С.

— Эх, мне бы такой калибр сделать! — и Юрий с загоревшимся взглядом сдвинул один из калибров и нежно повертел его в руках, любясь на него, как на цветок.

— Много захотел! — кратко сказал Степан Данилович и с оскорбленным видом почти вырвал калибр из юношеских рук — ещё никто и никогда не осмеливался так просто и дерзко возмечтать о работе наравне с ним, «старым королем».

На другой день после обеда, шагая по пролету цеха, Степан Данилович увидел впереди, под высоким сводом арки, свой участок. У его стола, облитый светом, стоял Юрий Панков и что-то делал у тисочков. Он казался маленьким, будто нарисованным, но контур его наклоненной головы и профиль худенького лица были резко очерчены.

Степан Данилович остановился, против воли засмотревшись на него: само буду-

— Не стесняйся у его стола, неотвратимое и ясное, как уральское небо.

Юрий работал, забыв обо всем, и в равнозначности его движений чувствовалась знакомая Невьянцеву с юности страстная собранность всего существа, когда человек знает, что делает все правильно и удачно. Вот, значит, почему Юрий так усердно толкался в столовой, что кто-то из молодежи даже посмеялся: «Что, на свидание торопишься?»

Юрий, стоя спиной, не замечал никого. Перед ним в безупречном порядке разложены были инструменты Степана Даниловича. Легким движением пальцев Юрий сменил притир и пустил в работу другой. Степан Данилович ревниво взглянул на смуглые пальцы Юрия — о, как знакомо ему это, глазом, сердцем, всем доступным человеку чутьем рассчитанное касание металла к металлу, более нежное, чем касание смычком скрипичной струны. Пальцы Юрия, умные, нервные пальцы, уже не только точным, но и вдохновенным движением начали обрабатывать притиром выступ калибра. Степан Данилович узнал его: это был один из крупнокалиберных измерительных инструментов для новых танков.

Юрий развинтил тиски, вынул оттуда новенький сияющий калибр, — и лицо подростка вспыхнуло горячим румянцем. Будто не веря себе, он смотрел на сверкающие металл, который только утром получил жизнь в его руках.

— Откуда калибр достал? — сурово спросил Степан Данилович.

Юрий вздрогнул. Румянец его смыло матовой бледностью.

— Я... у шлифовальщика выпросил... мне мастер разрешил... я... хотел себя испытать, думал, до вас успею.

— Ты... «думал»... — зло и горько перерезал Невьянцев, — а вот что я о тебе подумал, об этом у тебя заботы не было. Ты уж до того дошел, что уж тайком начал калибры таскать...

— Степан Данилыч... — прервал Юрий, — вам же известно, кто я... вы не можете обо мне думать плохо...

— Раньше всего я о себе плохого не знаю, братец ты мой! — надменно сразил его Степан Данилыч... — Я тебя только хорошему учу, а тому, что ты сегодня сделал, я не причинен...

— Вы обо всем скоро узнаете, почему я так тороплюсь и желаю...

— О хорошем во всякое время можно заявить, — опять сразил его Невьянцев, всем своим видом показывая, что не верит ни одному слову своего ученика. — Поди к своему месту и делай, что тебе указано.

Юрий отошел, подавленный, но не сраженный: его брови хмурились и будто даже распушились от упрямства.

«Ишь ты, разъярился, что я ему помешал!» — насмешливо думал Степан Данилович. Украдкой, став к Юрию спи-

ной, он принялся рассматривать калибр, оставленный на столе. Калибр был еще не совсем доведен до требуемой чистоты, но и в таком виде учитель мог принять работу и ему, «старому королю», не зазорно было закончить ее. Несколько раз потом Невьянцев бросал взгляд на эту работу, сделанную юношеской, но уверенной и строгой рукой; и — сердце его все сильнее ныло. Что же это такое? Он собирал, копил мастерство по крупинкам, как золото, тратил на это годы, — а тут мальчишка, к тому же знающий только по наслышке о страданиях, какие терпело старшее поколение, подходит к мастерству, как завоеватель... В старину тайна мастерства приобреталась, словно редкий дар, и открывалась скупко, как створки раковины, которую одолевают исподволь, терпеливо действуя острием ножа. А вот такое зеленцо, как Юрий, пренебрегая временем, хочет всё захватить сразу, — и в какие сроки: яблоко летом в саду Степана Даниловича еще не успеет зарумяниться!

«Должна же быть справедливость в этом вопросе! — упрямо повторял себе Степан Данилович. — Мне кровью-потом досталось, я каждый камень под ногой чувствовал, а этот на-ко: ухвачу, мол, птицу за хвост, только мне и заботы. Нет, должна быть справедливость!»

Недели не прошло, как Степан Данилович мог убедиться: о том, что считать «справедливостью в данном вопросе», Юрий и не помышлял. После работы ученик попросил разрешения проводить Невьянцева до дому — есть неотложное дело.

— Шагай, улица для всех, — сухо ответил «старый король». — Ну, что опять у тебя?

— Степан Данилыч, вы, конечно, помните, что в первые же дни я стал давать сто процентов нормы, и вы ещё говорили, что мне лекальное дело легко дается...

— Ну, помню... дальше что?

— Скоро я дал сто сорок.

— Дальше!

— Потом два дня подряд по сто восьмидесяти процентов плана. Потом регулярно стал давать по двести.

— Так... дальше!

— Теперь я выполняю уже почти двести пятьдесят процентов, брака не имею, замечаний у меня тоже не было, и все-таки...

— Что же следует из твоей бухгалтерии?

— А вы это лучше всех знаете, Степан Данилыч.

— Гм... Видно, недогадлив стал на старости лет — не знаю и не пойму, чего тебе надо.

— Вы... вы мне разряд задерживаете!

— Я тебе задерж... ты с ума сошел, парень!

— Да, да, Я хочу все быстрее расти на работе, а вы меня задерживаете, подумайте об этом! — отчаянно, прерывающимся

голосом крикнул Юрий — и, сорвавшись с места, побежал, будто какая-то мрачная сила гналась за ним.

— Стой! — опешив, крикнул Невьянцев. Но Юрия и след простыла.

— Фу ты... батюшки... — бормотал Степан Данилович. От неожиданности его даже в пот бросило.

Когда, по обычаю, чуть не за час до начала смены Степан Данилович пришел к себе на свой участок, его встретили оживленно и даже поздравительно:

— Ученичек-то твой как шагает: вчера двести пятьдесят процентов загнул!

— Молодчина парень!

— Что говорить: нынешнее поколение растет быстрее старого!

— Да, значит, и учитель хорош!

— Что ж, глядишь, на шестой разряд такой парнишка вытянет.

Степан Данилович, молча слушая, неторопливо выпростал из-под спецовки лацканы чесучового пиджака, разгладил их и сказал:

— Шестой разряд... эко, шутники выискались, право. Разряд дело священное, над ним попотеть надо!

— А если нет времени для того, чтобы потеть? — раздался вдруг голос Юрия.

Он смотрел на всех открыто, смело, и только пятнышко румянца, смешно рдеющее почти у самого уха, выдавало его волнение.

— Я вот все хочу спросить, чья дорога к мастерству была круче — ваша или наша?

Кто-то ввернул:

— Время для вас, детки, дорожку укало.

— Вот именно! — благодарно подхватила Юрий. — Время! Позор нам, молодым, если мы по укатанной-то дороге еле-еле да еще в поту будем плестись.

Это был вызов.

Перед окончанием смены Степан Данилович, не глядя на Юрия, приказал:

— После работы поведу тебя к отцу.

Юрий только молча наклонил голову.

Выйдя из проходной, Степан Данилович колодно приказал Юрию не отставать от него. Но Юрий шагал рядом с такой спокойной готовностью, что, казалось, именно такой развязки он и хотел.

— Погоди, — вдруг спохватился Степан Данилович. — Куда мы идем? Мы же к нашему дому повернули.

— Так и нужно, — подтвердил Юрий. — Нас сейчас Зина ждет. Мне абсолютно необходимо сначала зайти к вам — сейчас у вас на квартире соберется совет «отряда мстителей».

— Это к чему же? Кто разрешил?

— Зина разрешила: хозяйка, говорит, я, — и, значит, идите к нам, заседайте, заодно и с папой моим поговорите.

— Чорт знает, что такое! — совсем рассердился Степан Данилович, входя в переднюю. — Зинаида, где ты?

— Я дома, папа.

— Ты что ж это распоряжаешься не в меру — назвала полный дом ребят, отец и отдохнуть не смей.

— Другого выхода нет, папа. Ты сначала кушай, а потом тебя пригласят.

— Что за черт!.. Кто же это меня «пригласит» в мой же собственной квартире?

— Юра ведь сказал тебе — совет «отряда мстителей». Но ты сначала...

— «Покушай»... нет, благодарю покорно! Веди меня к этому вашему «начальству». Они пока твою комнату захватили?

Совет отряда заседал в крошечной комнате Зины. Кровать, маленький столик, два-три стула и единственный подоконник были заняты заседающими. Степан Данилович, втиснувшись большим мешковатым телом в эту скорлупку, сразу наступил кому-то на ноги, извинился и сердито продолжал:

— Уж шли бы в столовую, что ли.

Про себя он не без удовлетворения отметил, что «эти чертенята» ведут себя негупо.

Семеро членов совета, бережно расставив стулья, расселись за длинным столом.

— Ну-с, уважаемые товарищи, — хмуро начал Степан Данилович, кладя на стол большие породистые руки мастера. — Что вы от меня желаете?

Члены совета переглянулись. Потом председатель совета Игорь Чувилев встал, обдернул на себе гимнастерку и с подчеркнутой почтительностью произнес:

— У нас к вам один вопрос: как работает товарищ Юрий Панков?

Опять, как бы подчеркивая совершенно официальную и деловую важность сказанного, Игорь добавил:

— Товарищ Панков, видите ли, подал заявление в наш «отряд мстителей», а мы принимаем людей очень строго.

Все члены совета согласно кивнули.

— Та-ак, — крикнул Степан Данилович, — значит, у вас, выходит, много званных, да мало избранных?

— Иначе нам нельзя. Так вот, по лекальному делу у нас установлено такое правило: пятый разряд и не менее как двести пятьдесят процентов выполнения государственного плана. Товарищ Юрий Панков двести пятьдесят процентов уже имеет, а разряда у него почему-то нет. Он нас уверяет, что по-честному старается, но... (Игорь обвел вопрошающим взглядом, лица всех сидящих за столом соратников), но мы на слово верить не можем: мало ли что он говорит, мы должны проверить. У кого? Конечно, в первую голову, у вас. Так вот, скажите, пожалуйста, как работает у вас товарищ Панков, заслуживает ли он право получить пятый разряд?

Все члены совета дружно кивнули, без лишних слов одобряя эту речь. Степан Данилович понял, что у этих безусых уже заранее все взвешено, и что действуют они наверняка. Февральское солнце ярко освещало светлые и темноволосые макушки, гладкие и с хохолками. Из устремленных на Степана Даниловича юношеских глаз само будущее ясно и неотвратимо глядело на «старого короля» и требовало ответа.

Ему вдруг стало совестно, как если бы он прозевал, что на улице светит солнце.

— Да что же... — медленно промолвил он, чувствуя, как бьется его старое сердце. — Юрия Панкова я ни разу лентяем не навзвал...

Что-то будто растаяло в груди его.

— А что касается разряда... так я ему не только пятый, но и до шестого его дотяну.

Он нашел глазами залившееся румянцем лицо Юрия Панкова и, чувствуя себя преисполненным властью разрешать, дарить и поднимать, продолжал с еще большим подъемом и даже удалью:

— Только ты, Юрка, меня не подводи: мне надо, чтобы ты, понимаешь, с блеском разряд получил, чтоб всем чертям тошно было!.. А принять его в ваш «отряд мстителей» вы вполне можете — достоин, по всей правде говорю, достоин!

И Степан Данилович, всё больше увлекаясь, начал рассказывать, что надо сделать Юрию, чтобы испытание прошло «с блеском».

«Старому королю» становилось всё легче и приятнее на душе. Теперь на него были устремлены внимательные взоры Юрия, Зины, Игоря и всего совета этих безусых, но непримиримых мстителей. А богатству его знаний и опыта, которые не боятся ни бурь, ни тления, ни злой руки, казалось, не будет конца.

Через несколько дней перед началом общезаводского митинга по поводу открытия нового сборочного цеха Степан Данилович встретился с Иваном Степановичем:

— Ну как? — спросил приятеля Иван Степанович, задорно подмигнув. — Времечко-то как идет?

Он вынул из кармана газету и прочел из сводки Совинформбюро:

— «Наши войска, преодолевая сопротивление немцев, продвинулись вперед и заняли несколько населенных пунктов». Что? И будем преодолевать пункт за пунктом! Всякое еще может быть, на то и война... Н-но мы все одолеем, на то и русские, на то мы и советский народ! Смотри, опять какой цех сгрохали!.. Хорош?

— Красота! — убежденно изрек Невьянцев. Оба, задрвав головы, засмотрелись на цех.

— Ну... вышотища, прямо-таки шапка валится! А. Степан?

— Что говорить, цех знаменитый.

— Конвейер-то какой могучий — в несколько рядов! — благоговейно зашептал Лосев. — Знай только все готовь да готовь для такой махины!

— Одно слово — поток! — важно пробасил Невьянцев. — Прежде мы о нем только читали, а теперь жить с ним будем.

Ослепительные лампы, как вереница победенных планет, прорезали огромный цех сияющими тропами, обозначающими путь конвейера, горячее дыхание которого уже летало над празднично шумливой толпой.

Мощные краны в вышине, словно замерли в ожидании, когда снизу раздастся призывный свисток, и черный крановый клюв, подхватив литую башню, опустит ее на корпус танка. Но пока конвейер еще стоял у дверей, а под сводами цеха гомонила шумная толпа лесогорцев. Цех сборки завершал собой целую эпоху в жизни Лесогорского завода, который теперь входил в «стальную семью» танковых заводов. Эту перемену чувствовал все. Не было человека, который, осматривая этот могучий цех, не задумывался бы каждый по-своему, как он должен работать теперь, когда его станок или агрегат является частью единой воли потока. Сталевары, литейщики, стерженщики, кузнецы, токари, фрезеровщики, термитчики — а в первую очередь — рабочие танковой сборки, делясь впечатлениями, представляли себе, как все сделанное их руками придет, в конце-концов, сюда, под высокие своды этого нового цеха, откуда будет выходить новые танки.

Посреди цеха возвышалась трибуна, украшенная молодыми елочками и хвойными ветками. Когда Лосев и Невьянцев, по приглашению распорядителей митинга, приблизились к трибуне, Иван Степанович легонько толкнул приятеля в бок:

— Смотри-ка, Степан, наши новые знаменитости туда же направляются!

— Поди, Татьяна ваша тоже стояла бы среди знаменитостей, — улыбнулся Невьянцев.

— Смена у ней сейчас, а то, конечно, тоже красовалась бы.

Они увидели, как к трибуне шел бригадир Михаил Автономов, который недавно завоевал переходящее Красное Знамя Гвардейской дивизии. Рядом с ним шагала Игорь Чувилев и Юрий Панков, лучшие стахановцы среди самых молодых рабочих завода и еще кое-кто.

Нечпорок посторонился, когда на трибуну поднялись Игорь и Юрий. «Зелень, зелень, а им дорогу дай!» — подумал он, и представил себе, как сейчас орудует у своей печи Василий Лузин, которому уже пророчат в недалеком будущем переходящее знамя Гвардейской дивизии.

Нечпорок понимал, что иначе быть не может, что время пришло быстрое, «как самолет», но привычка к славе жила в

нем, как и ревность к Марийке. Он всегда упрекал ее, что она «следит за ним, как сыщик какой», а сам ревновал жену, временами даже мучительно, к каждому, кто, как ему казалось, слишком любезно заговаривал с ней. Теперь Марийка работала сверлопщицей на заводе, и Нечпорок одобрял, что его жена «не хуже людей», но не одобрял, что около ее станка кто-нибудь всегда вертится и зубоскалит — сама же об этом рассказывала. Один из таких зубоскалов даже имел наглость похвалить «южные очи» его Марийки, а другой пожалел, что она «занята», а то за такую бы «королеву» он бы-де «чорту душу продал». Наверно и сейчас, пока Нечпорок стоит на этой трибуне, у станка его Марийки околачивается — «поболтать по пути» — какой-нибудь любитель «южных очей». А Марийка теперь утверждает, что заводская жизнь ей нравится, что ей, «бездетной женщине», «самое дело» работать в цехе. Мысли о Марийке прихотливо смешивались у Нечпорока с цеховыми заботами — ох, теперь, когда по всем цехам зашагает поток, им, сталеварам, надо будет крепко подумать, чтобы шагать вместе с потоком.

Михаил Автономов впервые в жизни стоял на трибуне и был виден всем. Его высокая стройная фигура, рыже-золотые пышные волосы, узкощечное белое лицо с нежным румянцем особенно выгодно выделялось рядом с тяжеловесным Невьянцевым. Автономов чувствовал, что на него смотрит немало девичьих глаз, но в данную минуту ему было все равно. Он помнил только об одной, которая конечно, стояла где-то в этой густой и шумной толпе. Она была залетная птица, москвичка, работала в заводском клубе, как режиссер самодеятельного драматического кружка. Автономов влюбился в нее во время уроков дикции, которой, по мнению москвички, ему порядком не доставало. Залетная птица все собиралась улетать обратно, но почему-то не улетела. Собственно говоря он-то знал — почему, хотя так называемого объяснения между ними не произошло — помешало осложнение с матерью Михаила. Богомольная старуха заявила сыну, что «актрискам» не верит и уйдет из дома, куда глаза глядят, если сын «на этакую» женится. Увещания не помогали. Мать Михаил любил и ценил — вдовой она подняла на ноги их, своих пятерых детей, и ему казалось невозможным огорчить ее. Как выйти из этого сложного положения, он не знал. Он гордился, что его теперь знает весь Лесогорский завод и в то же время готов был бить себя по золотоволосой голове за то, что ничего путного не может придумать.

Так и каждый, кто стоял на трибуне или находился в толпе, принес с собой на торжество пестрые житейские заботы, со-

мнения, свои неудачи, изъяны, недостатки. Но сколько бы их ни было, они значили неизмеримо меньше того, что люди создали своим трудом. Оно, это создание — высокий огромный цех сборки грозных боевых машин, как бы говорило людям, построившим его: «Вот — я! Смотрите же, что вы можете!»

Об этом сказал Димитрий Никитич, когда после директора получил слово. Он напомнил всем, как невиданно быстро построены были новые цеха: мартеновский, термический, артиллерийский, сборочный, как переоборудованы старые, как в невиданно короткие в мировой технологии сроки была подготовлена и прошла из конца в конец нового Лесогорского — ныне танкового завода — дорога единой воли — поток! Все, что знал Пластунов о лесогорцах — как прекрасное сильное, так и смешное, мелкое, житейское — подтожилось работой этих месяцев. Парторг обвел взглядом ярко видимые лица передних рядов и еще многие, теряющиеся в широких тропях света, и сказал негромко, но слышно повсюду:

— Все это сделали мы, рядовые советские люди, все, что есть в нас лучшего, высокочеловеческого, все, что есть сталинского, мы вложили в этот наш общий труд, и вы увидите потом, что мы можем сделать и еще больше! Дорогие мои товарищи, люди славного Лесогорского завода! Вспомним самые черные дни нашей истории, которые мы пережили не так давно, — и устояли! Пока идет война, тяжелые дни могут возвращаться, еще много страданий и крови, и жертв ожидают нас, но мы — устоим! Мы, люди-мастера, оружейники нашего великого фронта, и мы увидим нашу победу, многие из нас, оглянувшись назад, на пройденный нами путь войны, спросят себя: после всего этого, есть ли на свете что-нибудь такое, чего мы могли бы еще страшиться? Нет, решительно ничего!

Когда аплодисменты после речи Пластунова стали затихать, в плотно стоящей толпе возникло движение — кого-то пропустили вперед к трибуне, уже слышались слова:

— Раненого, раненого пропустите!

К трибуне пробирался высокий человек в военном полушубке, левый рукав которого был засунут в карман. На худом лице темнели бурные пятна обмороженной кожи. Когда однорукий поднялся на трибуну и снял шапку, все увидели седые волосы, белые, как снежная осыпь. Только на лице золотились густые брови.

Юра Панков вдруг вскрикнул тонким детским голосом:

— Сережа!.. Сереженька!

Зина Невьянцева, вся в поту, еле дыша, прибежала в цех и бросилась Тане на шею:

— Просись сейчас же на митинг!.. Твой Сергей приехал... С трибуны выступает, рассказывает, как его танк немцы сожгли, как он потом спасся... Таня... фу ты... упадет сейчас... баюшки, что я надела! Девушки, воды, воды!.. Выпей, Танечка, миленькая! Выпей. Ну, все в порядке — от радости не умирают, идем!

.....
— Фашистский термитный снаряд сжег мой танк, а у нас в Лесогорске взамен этого танка сделают тысячу превосходных танков...

— Сделаем! — прогремело в цехе. — Сделаем!

— Мы уничтожаем фрицев, они огрызаются пулями и минами, уродуют наши тела (Сергей тронул свой пустой рукав), но им не изуродовать души русского, советского человека! Она неизменна, она стальная показала себя, душа советского бойца!.. Вот и я вернулся в мой родной Лесогорск, к грозным трудовым огням, но не для того, чтобы отдохнуть, а чтобы работать вместе с вами: я не могу драться в танке, но из битвы не выйду, пока мое сердце бьется. Командование меня назначило приемщиком танков и начальником танковых эшелонов, которые мы будем отправлять на фронт...

Таня шла, не видя никого, кроме этой седой головы, кроме этого худого, почти незнаваемого лица.

Она не помнила, кто расступился перед ней, кто помог ей подняться.

Она поднялась — и погрузилась в голубое сияние его взгляда. Она встретила его руку, горячую, могучую, как объятия самой жизни.

Десятого марта 1942 года, за пять дней до назначенного Наркоматом Обороны срока, первый состав лесогорских танков отправился на фронт.

Время было подвечер. Весь день таяло, светило солнце, и предвесенний свет и тепло будто еще бродили в воздухе и ликовали в зарумянившемся, подернутом хрустальной пленкой, высоком небе.

Уже прошел митинг, все напутственные слова были сказаны, машинист в боевой готовности смотрел из окна.

— Ну! — сказал Михаил Васильевич. — Все готово. Езжайте!

Поезд тронулся.

— Счастливого пути!

Полетели в воздух шапки, замелькали платки. Оркестр грянул Ворошиловский марш.

Таня с Сергеем стояли на площадке головного вагона, а за ними тянулись десятки открытых платформ, где под брезентом, как скалистые холмы лесогорской округи, стояли новешенькие танки.

Они стояли, будто напрягшись своими стальными телами, мощные средние тан-

ки А-С. Дула их пушек, как руки, занесенные для беспощадного удара мечти, были направлены на запад, где кровавым пожаром заходило солнце.

Когда поезд обогнул окраину Лесогорска, в вечерющем воздухе звучно раздался звук топора. Тут же, где звучал топор, около длинного двухэтажного здания детского комбината что-то весело и жарко засверкало, загорелось золотым полымем.

— Что это там? — всматриваясь, спросил Сергей.

— А! — засмеялась Таня. — Это дедушка Тимофей-сундучник мастерит для ребят домик с золотой крышей, тот самый, о котором я тебе рассказывала.

Несколько пластин веселой сундучной жести, покрытые фольгой, разложенные на крыше сарайчика, сушились на ветерке. А внизу постукивал топором дедушка Тимофей, и янтарно-желтые доски словно приплясывали в его быстрых искусных руках. Ребятня толпа, пестрея красными, зелеными, желтыми шапочками, смотрела на его работу с восторженным интересом, жадно ожидая минуты, когда можно будет своими руками начать строить домик с золотой крышей.

Дедушка Тимофей, постукивая, пел знакомую Тане и Сергею песенку старого доброго колдуна. Услышав шум, Тимофей снял с себя красный расшитый пояс и замахал им навстречу. Ребятишки подняли свои шапочки, захолопали в ладоши, закричали звонкими голосами, как скворцы.

Дом и дети уже скрылись из вида, а песенка дедушки Тимофея еще несколько секунд разливалась в воздухе, как пение бесполой и нетерпеливой птицы, топящей весну.

Промелькнули последние домики слободки, и Лесогорский завод остался позади. Теперь поезд шел лесом. В глубине мохнатых хвой уже сгущалась тьма. Густело, темнело небо. Грязносызая туча, наливаясь холодной тяжестью, ползла с запада. Резкий, мгlistый воздух мчался навстречу. Над потускневшими снегами завилась лохматая поэмка, мешаясь с ключьями рваного паровозного дыма. Небо спускалось все ниже, а леса так почернели, как будто свет никогда не проникал в их черную плотную глушь.

И вдруг, пронзив мглу, впереди вспыхнул огонь, и по всей линии лесогорской ветки загорелись высокие огни фонарей. Убегая вперед, они разыскали среди туч несколько ранних звезд, которые взошли над расступившейся мглой. На снегу заиграли синие тени, и среди черных стен леса прояснились могучие колонны вековых сосен. Небо поднималось понемногу, и как бойцы следом за смельчаками, все шире и ярче рассыпались звезды. А огни, стремясь вперед, как гонцы света и перемены, вели фронтальной поезд все дальше на запад, где лесогорская ветка сливалась с великой магистралью.

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ

Башкирская народная сказка

ИВАН НОВИКОВ



Любовь сильнее смерти

Было время, встарину шайтаны
По замле ходили, забавлялись:
Вот стоит избушка к лесу задом,
А проснутся люди — глядь, избушка
Передом-крылечком в лес уткнулась.
Что за пропасть! А в кустах хохочут...

Так-то раз увидели шайтаны:
Мальчик у ручья спит на полянке,
Тихо спит, как в небе полумесяц,
Звездною обрызганный росой.
Воды шепчут: «Ах, красивый мальчик!»
Соловей пост: «Красивей нету!»

В бок один шайтан другого: — «Ну-ка,
Ничего, браток, не вспоминаешь?
Уж царевну-красу не забыл ли?»
А другой, мигнув зеленым глазом,
Отвечает: — «Ты бери за ноги,
Я возьму подмышки, и — айдайте!»

У царя за морем цветик-дочка,
Будто зорька, что горит над раем:
Зайчик мимо пробежит — заглянет;
Птичка пролетит — уронит песню;
Солнца луч от щеки не отходит;
Ветерок помедлит, пролетая.

Хороша царевна, только пары
Не было доселе ей на свете.
Что ж, шайтаны — сваты не плохие!
Спит царевна; рядом положили
Молодого паренька, и смотрят,
Любо им, светлее стало вдвое!

Толк один другого: — «Видишь, парень
Будто в щелку глянула сквозь ресницы!»
Толк другой: — «Гляди-ка, а царевна,
Будто занавеску, на минутку
Приподняла их и опустила...»
Улыбаются шайтаны: любо!

Эка нечисть! Тоже понимают
В красоте... поди, не льком шиты.
И, однако же — играй обратно!

И один мигнул зеленым глазом,
А другой: — «Бери-ка ты за ноги,
Я возьму подмышки, и — айдайте!»

И проснулся паренек, где раньше
Почивал на травке на муравке,
И открыл ресницы, и... один он!
И царевна сладко потянулась,
И с улыбкою открыла очи,
И задумалась — о сне минувшем...

С той поры желтеет и желтеет,
Сохнет парень, места не находит.
И отец печалится: бездетным,
Взял в приемыши ребенка-сына,
В хоме возрастил его по-царски,
Полюбил всем сердцем по-отцовски,

Чем беде помочь — никто не знает.
— «Что, сынок, кручинишься,

желтеешь?»
— «Ах, мой батюшка, ах, царь,
влюбился —

Глупый сын твой в девушку влюбился:
Видел раз ее, а как — не помню,
Наяву или во сне — не знаю».

— «Если видел, говоришь, — отправлюсь.
Обойду один моря и земли,
По глазам узнаю, сердце скажет».
Только много глаз — как звезды в небе,
Искрятся и светят, и ласкают,
Но молчит, не колыхнется сердце.

И в аул зайдет — пытаются люди:
— «Что, старик, один по свету
бродишь?»

— Доктор я, брожу себе по свету.
— «Коли доктор, тут вот, недалечко,
Тут... рукой подать... за синим морем —
В болести царевна изнывает».

— «Что же с ней?» — спросил и слышит
сердце,
Как иглою тонкою, кольнуло.

— «А никто из нас того не знает,
Только сохнет, как цветок в безводье,
Да желтеет от тоски-кручины,
А по ком — не ведает про это».

— «А... желтеет? И по ком — не знает?»
И старик улыбкой озарился,
Будто дуб под внешнею грозой,
Радугой окинутый цветистой...
И ударил посохом, и — дальше:
«Зажелтела? — Скоро разжелтеешь!»

И предстал он пред царицы очи:
— «У меня есть сын, и он желтеет,
Их болезнь одна, одно лекарство —
Поженить, пока еще не поздно!»
Упирается царь и сомневался,
Старики его уговорили.

И пошел наш «доктор», и царевну
За руку ведет, не отпускает.
И коротко ль шли степями, долго ль,
Только видят: вырыта могила,
Гроб несут, толпа идет за гробом,
И недоброе пахнуло в сердце...

— «Вы кого хороните, родные?»
— «А царица сына», — отвечают: —
Пожелтел болезный от недуга,
Все отца, знать, поджидал; скончался».
И взглянула девушка, узнала.
И легла на землю бездыханной.

И простерлась тишина над степью,
И могила молча поджидала.
Ах тесна-темна могила-терем
Для четы той, неразлучной в смерти,
Для четы друг другу обреченных,
От тоски-любви пожелтевших!

И махнул рукою царь: — «Оставьте,
Вы оставьте нас троих до утра.
Не родной отец я, но у сына
Ночку я до утра скоротаю;
Смерть обоих, видим, обвенчала:
И близ дочки ночку скоротаю».

И ту ночку коротал он скорбно,
И молился в сердце он Аллаху,
А под утро — как туман поднялся,
И полой махнул, махнул чаалмою,
Старцем встал перед царем согбенным,
Над отцовскою мольбой-тоскою.

— «Вижу, слезы проточили ямки,
Я явился, молви мне, что просишь».
— «Ах, моя молитва вот какая:
Ожили бы дети, посидели
Хоть немного... так... рука с рукою...
В очи бы друг другу поглядели...»

— «Быть по-твоему!» — И оба встали —
Юноша и девушка, и сели,
И сидят вот так, рука с рукою,
Друг от друга глаз не отрывают:
— «Что ж они не молвят ни словечка?»
— «Время кончилось, и смерть зовет их»

— «Нет, немного... ну совсем немного...
Пусть поговорят между собою!»
И старик кивнул чаалмой, и тихо
Шелестит беседа перед смертью:
Ветерок так шепчется с листвою,
Воды так журчат по побережью.

Но умолкли ветерок и воды,
И опять они склонились — травки,
Пожелтевшие в степи от зноя.
И опять горючими слезами
Залился отец их неутешный;
И опять старик с чаалмою молвил:

— «Знаю, знаю: ты совсем хотел бы
Оживить своих детей любимых,
Но у них нет веку, не могу я
Дать им веку...» — «Так возьми, коль
можешь,
Ты мои, ненужные мне годы,
Их дарю я детям без остатка!»

И повеял теплый ветер по степи,
И цветы в степи заколыхались;
И заря на небе запылала,
И поднялся жаворонок в небо;
И клубяся туманом, отлетая,
Так промолвил на прощанье старец:

— «Вот отец! О, золотое сердце!
Не хочу я век твой весь исхитить,
Мы твой век оставшийся разделим
На три равных века небольшие,
А как кончатся три равных века,
Вместе всех вас призовут к Аллаху!»

И ожили юноша и дева.
Точно птички вмиг защибетали;
И в таком же счастье и веселье
Стали жить, на час не разлучаясь.
Жили так все трое неразлучно,
Неразлучно и скончались — вместе.

ТУЛОН

Французская хроника в 3-х действиях
(1942—1943)

ЖАН РИШАР БЛОК

Авторизованный перевод с французского П. Антокольского и Б. Песиса.

★

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

(в порядке их появления на сцене)

| | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Зигмунд | } немецкие солдаты, вестовые Зигфрид } при штабе фон-Засса. | Первый спекулянт | |
| Вице-адмирал фон-Засс | | — начальник морского отдела Главного Штаба немецких оккупационных войск во Франции | Второй спекулянт |
| Контр-адмирал Польверелли | — итальянский морской атташе при морском отделе Штаба | Лейтенант Никнель | — немецкий офицер в штабе фон-Засса |
| Контр-адмирал Лефевр | — морской атташе Виши при фон-Зассе | Полковник фон-Грунер | — офицер связи при ставке Гитлера |
| Жежен | — рабочий тулонского арсенала | Камиль Тулемонд | — муж г-жи Тулемонд |
| Кокбэр | — хозяин бара в Тулоне | Роже Гастино | — ученик лицея в Тулоне |
| Ив | — матрос | Французский солдат | |
| Патрис | — рабочий арсенала | Французские моряки, лицеисты, немецкие солдаты | |
| Жюло | — матрос | Алиса Гиддинс | |
| Инспектор полиции Лаваль | | Луиза Бастиа | — работница тулонского арсенала |
| Вице-адмирал де-Фромануар | — командующий тулонской эскадрой | Леокади | — жена Кокбэра |
| Марсиаль де-Фромануар | — его сын, мичман французского флота | Мари-Жанна Фромануар | — дочь вице-адмирала де-Фромануара |
| Контр-адмирал Базир | — представитель Виши в Тулоне | Мадам Тулемонд | — разбогатевшая лавочница |
| Вице-адмирал Руа | — морской префект Тулона | Девушка Жо-жо | |
| | | Грета | } сотрудницы Алисы Гиддинс |
| | | Труда | |
| | | Мина | |

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

В штабе оккупационной армии в Париже. Кабинет немецкого адмирала, начальника морского отдела Штаба. На стене карты. Глобус.

Сцена первая

На сцене вестовые — Зигмунд и Зигфрид. Зигмунд — маленький, тучный, похож на молочного поросенка. Зигфрид — длинный, худой; огромные ноги, адамово яблоко сильно выпирает, в очках. В момент открытия занавеса шумная возня: оба носятся, как угорелые, по сцене,

неуклюже подпрыгивая, шлепая изо всех сил друг друга по спине. У каждого в левой руке пачка денег, которую он размахивает в воздухе.

Зигмунд. Зигфрид, понимаешь ты, каких мы нынче девочек себе организуем!

Зигфрид. И на их собственные паршивые французские деньги!

Зигмунд Жрать будем, Зигфрид!
 Зигфрид. Вот это так война, Зигмунд! Чудесная штука! Деньги? — Бери!
 Зигмунд. Женщины? — Бери!
 Зигфрид. Гадить можешь... беспрепятственно! Сказано — не стесняйся!
 Зигмунд. Ах, Париж! Париж! Хайль, Гитлер! Побольше бы нам таких городов.

Зигфрид. Хорошо воевать в Париже! Вот, пожалуйста: 50.000 франков. Получено у мадам французской вдовы за организацию побега ее уважаемого сына. Хайль Гитлер!

(Оба хохочут.)

Зигмунд. А вот десять тысяч франков — за переход демаркационной линии. (Корчатся от смеха.)

Голоса за кулисами. Ахтунг!
 (Стук каблучков, тишина.)

Зигфрид (вполголоса). Ахтунг! Начальник.

(Оба вытягиваются в струнку. Входит адмирал фон-Засс и итальянский аташе. Польверелли.)

Сцена вторая

Те же, адмирал фон-Засс, адмирал Польверелли.

Немецкий адмирал — длинный, сухопарый. Держится высокомерно. Итальянец — жирный. Адмирал фон-Засс машет рукой, вестовые делают повороты и исчезают.

Польверелли. Да, крайне неприятно, крайне неприятно, мой друг.

Засс. Особенно для вас, итальянцев, дорогой мой, (Садится за стол; во время разговора с пренебрежительным видом занимается своими ногтями.)

Польверелли (услышав замечание Засса, вскакивает с кресла, но тут же успокаивается.) Я полагаю, что высадка англо-американцев в Алжире и в Марокко не менее неприятна Германии, чем нам — итальянцам.

Засс (невозмутимо). Наше пространство, видите ли, наше немецкое пространство не втиснуто все без остатка в известную вам жалкую лужу, именуемую Средиземным морем.

Польверелли (устраиваясь поудобней в кресле). Не потому ли прославленный немецкий шпионаж, которому завидует весь мир, не потому ли он провалился самым непростительным образом, а мы с вами попались, как мальчишки?

Засс (как будто не слыша). Средиземноморье — это ваш театр. Ничего не поделаешь! (Напевает). Мандарины, мандарины...

Польверелли (позеленел от злобы). Фельдмаршал Роммель в Эль-Аламейне, кажется, достаточно ясно показал, что Средиземное море не принадлежит к приятным: для немцев уголкам земли... Разве, что для ускоренных маршей в обратном направлении! В этих операциях

фельдмаршал показал себя истинным чемпионом.

Засс (все также небрежно). Гм, гм. Роммель, в сущности, только повторил, впрочем, в меньших масштабах, бессмертный маневр... забываемое движение вспять вашего генерала Грациани в прошлом году.

(Польверелли хочет возразить; Засс любезно прерывает его, протягивая открытый ящик с сигарами.)

Но, дорогой мой, отвлечемся на минуту от операций на суше. Разрешите задать вам один вопрос?

Польверелли (закуривая сигару, сладким голосом). Прошу вас.

Засс. Ваше правительство в Риме своевременно было осведомлено о концентрации в Гибралтаре огромных англо-американских сил в сопровождении мощного конвоя. Чем объяснить, что ваш великолепный флот не покинул своих стоянок? Разве не представлялся тут прекрасный случай, неожиданный случай для ваших эскадр — вновь войти во вкус боевой жизни на широких морских просторах?

Польверелли (снова зеленея от злости). Наш великолепный флот, как вы выразились, дорого заплатил за ошибки вашего Верховного командования.

Засс (насмешливо и холодно, стараясь скрыть злобу). Продолжайте, продолжайте, это интересно.

Польверелли. В 1940 году Италия, основываясь на германских заверениях, встала, приняв сторону Германии, в короткую войну.

(Фон-Засс склоняется к столу с чуть заметной усмешкой, в которой ясно чувствуется коварство. Польверелли слегка повышает голос.)

Вы спросите, — почему в короткую? Потому, что Италия — несчастная страна, у которой береговая линия вытянута бог знает как (показывая на карту)... под ударом с любой стороны. Отчужденного сырья никакого. Пролетарская нация, как говорит наш дуче. Следовательно, — страна, не могущая вести длительную войну. И вот, оказалось, что в силу некоторых обстоятельств... обстоятельство неожиданных (он наслаждается этим беспощадным словом), которые назывались сначала Лондоном, потом Москвой (подходя вдруг к карте, указывает названное), знаменитая молния, твердо нам обещанная, превратилась в сальный огарок. И вот плоды этих двух долгих лет: флот Италии тяжело ранен, господин адмирал. Флот Италии залечивает раны в своих гаванях. А вы удивляетесь... (в бешенстве) вы ждете от нас энергичных усилий? — Прекрасно. Существует одно только средство. Вы сами знаете, какое. Оно называется — Тулон. (Многозначительно поднимает палец). Оно называется французский флот. 72 корабля!

«Страсбург», «Дюнкерк»! Лучший из европейских флотов! Стоит Италии получить французский флот, и вся обстановка в Средиземном море резко меняется в нашу пользу. (Он возвращается к столу и садится.) Другого ключа нет. Тулон, Тулон и только Тулон.

Засс (который внимательно следил за ним своими бесцветными, как у ночных хищников, глазами, встает и тоже направляется к карте Франции). Завтра, 11 ноября, на рассвете, германские бронечасты переходят демаркационную линию, занимают неоккупированную зону Франции и, подавляя, если это окажется нужным, любую попытку сопротивления, движутся ускоренным темпом в направлении средиземноморского побережья. В тот же час итальянские части перейдут Альпы и займут Ниццу, Савойю.

Польверелли (в волнении встает). Мадонна! Пресвятая мать божья! Какое известие! Какая радость! Дорогой друг! Завтра — выезжаем вместе, в четверг — мы в Тулоне.

Засс (ледяным голосом). Тулон не будет оккупирован.

Польверелли (в изумлении). Как? Что вы говорите? Тулон...

Засс. Тулон — единственный город, не подлежащий оккупации.

Польверелли (задыхаясь). Не подлежащий оккупации? А флот?

Засс. Также не подлежит.

Польверелли (хватается обеими руками за голову). Мне кажется, я схожу с ума... Или, может быть... Мадонна, пречистая мать божья. Если бы не вы сами... я бы просто не поверил. Тулон не подлежит... Но в таком случае, зачем все это?

Засс. Послушайте, господин Польверелли, попробуйте успокоиться и понять. Какова наша общая цель? — Французский флот. Не так ли? А если успешность приведет к тому, что суда улизнут?

Польверелли. Но достаточно заминировать проходы...

Засс (пожимая плечами). Нам нужен флот целый и невредимый. Избежать сопротивления. Избежать политических осложнений. Однако, как вы знаете, настроение на судах отвратительное. Французы остаются французами, как бы они там себя ни называли: республиканцы... демократы... антифашисты. Рабочие тулонского арсенала, да будет вам известно, послали в парламент коммуниста. Старинный город, полный узких улочек, очень удобный для партизан. Конечно, офицеры — другое дело: не могут же они быть заодно с этой бандой! Есть среди них люди благородные. Но их меньшинство. Что касается остальных... это дурачье все еще продолжает верить в будущее Франции.

Вот почему Лаваль попросил нас дать ему небольшой срок, чтобы воздействовать на колеблющихся, сломить непокорных, перетряхнуть состав судов, разложить рабочих арсенала. Мы посылаем туда в помощь господину Лавалю лучших людей Гестапо. Мы пускаем в ход все рычаги. (Не переставая говорить, нажимает кнопку звонка.)

(Входит Зигмунд, вытягивается в струнку.)

Попросите сюда даму! (Зигмунд поворачивается на каблучках и уходит.)

Польверелли (обезоруженный). Блестяще! Блестяще!

Засс (презрительно). Теперь вы согласны, господин Польверелли?

(В маленькой боковой двери появляется Алиса.)

Сцена третья

(Алиса — очень красивая, молодая, стройная; готова улыбка на губах. Элегантна. Безукоризненный вкус. Польверелли, пораженный ее внешностью, стремительно встает.)

Засс (представляет ее Польверелли). Мадам Алиса Гиддинс. Вполне английское имя, вполне французская внешность, что не мешает госпоже Гиддинс быть жительницей Шарлоттенбурга и одной из ценнейших наших сотрудниц. Госпожа Гиддинс не просто очаровательная особа, как вы, очевидно, сумели заметить, господин адмирал. Госпожа Гиддинс — начальник, под ее началом состоит отряд красивых и исполнительных девушек. Разных девушек: от девочек из кабаков до танцовщиц, с которыми никто не откажется поужинать в ночном ресторане. На любой вкус: для матросов, для адмиралов. (Приподнятым тоном). Нет, завтра в Тулон едете не вы, господин адмирал, и даже не я. Завтра едет мадам Алиса со своим персоналом. И, поверьте мне, господин адмирал, так будет лучше. Там прольется немало коньяку и шампанского, но зато сохранится не мало немецкой крови. И даже итальянской. За это отвечает мадам Алиса.

(Он отпускает ее жестом. Мадам Алиса улыбается, кланяется и уходит... Польверелли остолбенел, глаза у него вылезают на лоб. Телефон. Засс берет трубку.)

Сцена четвертая

Те же, без Алисы.

Засс (в трубку). Адмирал фон-Засс у телефона. Да, сейчас же! (Кладет трубку). Здесь французский морской аташе — адмирал Лефевр. По моему вызову. Надо ведь и поразвлечься.

(Провожает Польверелли к двери.)

Как видите, лидер умеет молниеносно восстанавливать положение. Позавчера союзники высадились в Алжире, завтра мы их опередим в Тунисе и Бизерте.

Послезавтра наши войска овладеют средиземноморским побережьем Франции. Отныне время работает на нас. На русском фронте положение блестящее. Через неделю генерал-фон-Клейст — хозяин Грозного и грозненской нефти. На Рождестве мы в Баку. Мой старый друг фон-Паулюс спокойно заканчивает Сталинградскую операцию — последние форты переходят в его руки. Вот это — настоящий асс, фон-Паулюс, гений, гордость и надежда германской армии. А его штаб! Плеяда первоклассных генералов, светила немецкого военного искусства. Шлеммер, Зейдлиц, Пфедфер, фон-Даниэль, фон-Дреббер... все из стаи непобедимых. Волга в наших руках. Большевики перестали существовать. Победа наша. (Все это сказано ледяным и напыщенным тоном.)

Польверелли (с энтузиазмом). Хайль Гитлер, господин адмирал!

Засс (снижительно). Хайль Гитлер, мой друг.

(Польверелли уходит.)

Сцена пятая

Засс, Лефевр.

(Засс звонит. Зигмунд через третью дверь вводит Лефевра и исчезает. Лефевр — красивый мужчина, довольно полный, сдержанный. Военная выправка. Одет в гражданский костюм темного, почти черного цвета.)

Засс (официально вежлив, указывает Лефевру на кресло, на котором только что сидел Польверелли, сам садится за стол). Господин адмирал... Как вы чувствуете себя? Надеюсь, хорошо.

(Лефевр молча наклоняет голову.)

Я позволил себе побеспокоить вас, чтобы сделать вам одно сообщение, могущее вас заинтересовать. Разумеется, при условии сохранения полной тайны. Завтра, 11 ноября, на рассвете, германские войска перейдут демаркационную линию, направляясь к средиземноморскому побережью.

(Лефевр, потрясенный, медленно поднимается.)

Захват врагом французской Северной Африки и недостаточность ответных мер Виши в связи с этим посягательством на французскую империю заставляют отдать всю Францию под покровительство германских вооруженных сил. Вы, кажется, удивлены?

Лефевр (с трудом переводит дыхание). Мое удивление вас удивляет, господин адмирал?.. А что побудило вас оказать мне эту честь... сообщить столь прискорбное известие?

Засс. Что побудило? Французский флот. (Почти любезным тоном). Господин адмирал, Франция будет оккупирована вся, но не Тулон.

(Лефевр вздрагивает, кровь бросается ему в лицо.)

Все военное имущество вашей сухо-

путной армии будет передано Германии, но не флот и не арсенал Тулона. (Как кошка с мышью.) Кажется, и эта новость вас взволновала.

Лефевр (глухим голосом). Я моряк. И, кроме того... Я ищу и не нахожу объяснения.

Засс. Не ищите ни слишком долго, ни слишком далеко. В этом решении фюрера нет ничего романтического. Германия и Италия не могут больше мириться с нынешним положением, когда столь важная боевая сила, как французский флот, остается вне жестокой борьбы, которую мы ведем... Нельзя быть нейтральным перед лицом преступления. Маршал Петэн и Лаваль во всеуслышание признали миссию Германии, как защитницы цивилизации от большевизма и его союзников. Ныне противник вторгся в пределы вашей империи. Отсюда он угрожает европейской крепости: он должен быть изгнан из французских владений. В этой кампании мы берем на себя все сухопутные и воздушные операции. Но наш флот занят на другом театре, что же касается флота наших доблестных итальянских союзников (с кислой улыбкой), то мы с вами хорошо знаем, чего он стоит. Франция должна... я хочу сказать, само провидение, посылает Франции случай перейти от слов к делу, как-раз там, где это осталось в ее силах: на море. Тулон не будет оккупирован, если мы убедимся в разумном патриотизме руководителей вашего флота. (Меняя тон). Вице-адмирал Фромануар, кажется, в настоящее время в Тулоне? (Лефевр делает утвердительный знак.) Каково его настроение... в политическом смысле?

Лефевр. Адмирал Фромануар верил и верит в судьбу Франции.

Засс (иронический кивок). Его авторитет во флоте?

Лефевр. Он пользуется уважением, как моряк, как начальник, как христианин.

Засс. Какая бездна добродетелей! (Вдруг сухо и властно.) Так вот. Если адмирал Фромануар сумеет убедить своих офицеров в необходимости сражаться на нашей стороне, под нашим командованием, бок-о-бок с нашими офицерами, которые должны быть допущены на борт всех судов Тулонской эскадры, если адмирал поступит так, — Франция может сохранить свой флот. Если нет... (он прерывает свою речь.)

Лефевр. Если нет?

Засс (ледяным тоном). Подобная ситуация означала бы отказ от сотрудничества, иначе говоря, измену. Из этого мы сделаем все выводы.

Лефевр. Какие?

Засс (вне себя). Значит, вы уже заранее допускаете возможность отказа?

Лефевр (холодно). Моя миссия здесь,

в Париже, чисто информационного порядка.

Засс. Нет, сударь. Ваша миссия — не информация, а сотрудничество.

Лефевр (сдерживаясь). Я остаюсь в пределах своей чисто технической роли. Напомню, что перемирие 1940 года исключило вопрос о флоте из соответствующих параграфов.

Засс (резко). О флоте и о судьбе вашей империи. Вы отдали вашу империю во власть врагу. Это полностью меняет положение с точки зрения геополитики. (Он подчеркивает эти слова с педантической напыщенностью.)

Лефевр. Я здесь не для того, чтобы заниматься геополитикой.

Засс. Вы здесь для того, г-н адмирал, чтобы повиноваться вашему правительству и мне; от имени Виши и от своего собственного имени приказываю: не теряя ни минуты, принять все меры к тому, чтобы военно-морские силы Франции как можно скорее начали борьбу на стороне Германии.

Лефевр (растерянно). Могу лишь повторить, что подобные действия выходили бы за рамки данных мне инструкций. Мои начальники не поруча...

Засс (вскипев). Но кто же они, ваши настоящие начальники, г-н адмирал? Если уж вы так строго придерживаетесь дисциплины, то почему не сообразуете своих действий с поведением своих начальников? Они-то поняли, что означает закон поражения!

Лефевр (возмущенный). Г-н адмирал, Франция еще не...

Засс (обрывая его). Франция (желая уязвить его), если уж говорить о Франции, Франция должна остерегаться и не отступать от линии, которую начертил для себя господин Лаваль.

Лефевр (твердо). Я верно служу маршалу Петэну и проводимой им политике.

Засс (в бешенстве). Я говорю вам — французское правительство, вы мне отвечаете — Франция. Я говорю вам — Лаваль, вы мне отвечаете — Петэн. Не пора ли кончить эту болтовню? Уловки, достойные детей, которые хитрят, чтобы избежать наказания. Неужели вы думаете, что от нас ускользает смысл вашей игры? Лавировать, чтобы выиграть время. Так ведь? Ваш флот — ваш последний козырь. И вы, в простоте сердца, воображаете, что сохраните его до самого открытия мирной конференции, а там вы блеснете своими заслугами перед победителем — кто бы он ни был. «Мы, — скажете вы, — помогли добить побежденного». Впрочем, на этот раз обойдется без мирной конференции. (Иронически). Конференция... Между кем и кем, позвольте вас спросить, произойдет встреча? К концу этой войны останутся только мертвецы и те, кому удастся выжить... Выживет Германия и никто другой. Франция

должна выбирать: или безоговорочно присоединиться к новой Европе, или исчезнуть. У вас еще есть время выбрать.. между этими двумя флагами (стоя в глубине комнаты, он отдергивает занавеску, скрывающую часть стены. Глазам зрителей предстает широкая рама, и в ней макеты двух военно-морских флагов: один — военно-морской флаг гитлеровской Германии, другой — тот же германский флаг, но в правом верхнем углу его, в квадрате, изображены национальные цвета Франции). Если вы хотите сохранить вот это (он указывает на маленький квадрат с французским флагом), — вы должны принять вот это (он указывает на основное поле второго флага)... Пока еще не поздно. Если же нет — останется вот что (указывает на первый германский флаг). И ничего больше.

Лефевр (он овладел собой и рассматривает в лорнет оба макета). Чудесно! Настоящее произведение искусства. Откровенность за откровенность, г-н адмирал. Если Германия торгуется, значит, она нуждается в нас. Франция...

Засс (взрывается; истерический вой). Хватит! Говорю вам — хватит! Если вы так любите величественные позы, — следовало подумать об этом раньше. Когда у вас было в руках оружие. Теперь слишком поздно. Теперь надо ползти. И вы до сих пор еще не поняли, что такое война на истребление? Где Австрия? Исчезла! Чехословакия? Исчезла! Польша? Исчезла! (Он стоит у географической карты и одну за другой прихлопывает эти страны ладонью, как мух.)

(Лефевр холодно, почти вызывающе следит за жестикающей Засса, как человек, который наблюдает забавное зрелище.)

Дания исчезла! Норвегия исчезла! Бельгия исчезла! Россия на пути к исчезновению! (С ненавистью.) И Франция тоже исчезнет. Последние обломки этой шутовской страны превращаются в пыль под сапогами наших солдат. Вы исчезнете с лица земли. Как Лидице. Требуется земля, только земля — без людей... «Новая Европа!» — шикарная вывеска! Пусть любуются! Европа! — простая замена другого, истинно великого слова: «Германия». Замена для дураков... Колесо повернулось. (Занавес падает, но в рупоре продолжает раздаваться завывание фон-Засса все время, пока меняют декорацию.)

Завтра, 11 ноября, — недурной юбилей! Завтра исполняется 24 года с того дня, как Франция, обескровленная, полумертвая, все-таки собралась с силами и посмела подвергнуть Германию величайшему унижению... 11 ноября 1918 года. Все это в прошлом. Завтра наши бронированные части наступят гусеницами своих танков на виноградники Романьи и розовые кусты Лазоревого берега. Наш

позор 11 ноября 1918 года будет смыт вашим позором 11 ноября 1942 года. На этот раз, после этого удара, вы останетесь распростертыми на земле, ваше потомство не увидит ни детей, ни внуков. Мы двинули против вас самых верных своих союзников: голод, холод, бациллу Коха. Французские плотники разучились делать колыбели и сколачивают только гробы. Мы отдаем мужа от жены, жениха от невесты. Мы разрушили ваши семейные очаги. 1 250 000 молодых

французов медленно гибнут в лагерях для военнопленных. Еще полмиллиона скоро подохнут на наших заводах под бомбами, а полмиллиона уже гниют в могилах. Все, что станет поперек дороги немцу, должно быть безжалостно раздавлено. Все, что не Германия, должно исчезнуть. Лозунг новой Германии: уничтожение!

(Голос утихает по мере того, как поднимается занавес.)

Конец первой картины

КАРТИНА ВТОРАЯ

Матросский бар в Тулоне. На стене, среди реклам аперитивов и ликеров, портрет маршала в рамке, казенный портрет, повешенный здесь по предписанию свыше; рядом — карта Средиземноморья и большой календарь, на котором дата сегодняшнего дня: 11 ноября 1942 года. В окна, сквозь чисто вымытые стекла, наполовину скрытые белыми занавесками, видна Кронштадтская набережная в Тулоне — оживленное движение, порт, большие, застывшие в неподвижности, молчаливые корпуса военных кораблей тесно прижались друг к другу... Все в баре сверкает чистотой. В радио слышна тихая музыка. Утро.

Сцена первая

Кокбэр, Леокади, Жежен, Патрис, Ив.

(За стойкой хозяин бара Кокбэр перемывает стаканы. Полный, представительный, засученные рукава рубашки открывают сильные, толстые, волосатые руки, такая же обильная растительность на груди. Перед ним Жежен, стоя, допивает, как обычно, свой утренний кофе. У стойки — Леокади, хозяйка, такая же представительная, как ее супруг, вяжет чулок. Очки в железной оправе. В глубине комнаты за столиком: Ив — матрос, Патрис — рабочий арсенала, Луиза — работница. Патрис и Ив углубились в чтение газеты. Читает и Луиза — через плечо Патриса. Горячий спор. Марсельский акцент, особенно ярко выраженный у Кокбэра, Леокади и Жежена, немного мягче звучит в речи Луизы и Патриса и совсем не слышен у Ива. Он — бретонец.)

Жежен (коренастый, крепкий, стучит кулаком по цинковой обивке стойки). Нет! Франция не исчезнет! Не так это просто — уничтожить великий народ, полный сил, мужества. Так он вам и дался!

Кокбэр (добродушно). Кого это ты?

Жежен. Ты что, ослеп? Протри очки, видней будет. Будто ты не знаешь, кто распоряжается нашей несчастной Францией. Не знаешь всех этих душегубов, все это воронье! Одно слово — пададь. И имена у них подходящие: Лаваль — шваль, Петэн — хрен, а Гитлер — известно, г...

Кокбэр (испуганно). Может, хватит? Леокади. Слушай, Жежен, можешь ты быть благоразумным раз в жизни? Ведь если они возьмут под подозрение наш дом, вам тут всем не поздоровится.

Жежен. Есть, хозяйка. Не бойтесь. Жежен вас не подведет. Тут ведь все свои. Посторонних ушей не имеется. Вы лучше скажите — знаете, что по радио передавали? — Касабланка, Рабат, Оран сдались союзникам. Бизерта захвачена американскими парашютистами.

Ив (из глубины комнаты, радостно). Бизерта занята союзниками? Кто это тебе сказал — насчет Бизерты?

Жежен. Радио.

Ив. Ты сам слышал?

Жежен. Нет, Жюло слышал, помощник корабельного радиста с «Дельфина». Он мне и сказал.

(Все взгляды обращаются к карте, к которой направляется Патрис. Он всматривается в карту, показывая пальцем Бизерту.)

Патрис. Если это правда, было бы здорово!

Жежен. Ребята, это значит, — скоро они высадятся в нашем солнечном Провансе: Джон Буль и янки, вместе, подручку. Слышал, что говорит нью-йоркское радио? — у них, у каждого солдата — две винтовки: одна для себя, другая для нас.

(Входит Жюло, матрос.)

Сцена вторая

Те же и Жюло

Жюло. Привет компании!

Кокбэр. А вот он сам, собственной персоной, твой Жюло.

Ив. Правда, Жюло, что ты слышал по радио насчет союзных парашютистов в Бизерте?

Жюло (взволнованно). Вот новость.. Здорово.. Нет я ничего не знал... Кто вам сказал? (Хозяину.) Стаканчик, пожалуйста. (Здоровается с Леокади, прикладывая руку к берету и подмигивая ей.)

И в. Жежен сказал, Ну, и шутник!
(Патрис возвращается к своему столику.)

Жежен (ничуть не смуглившись). Ну, и что ж! Если не Жюло говорил, значит, я наугад. Но это не меняет дела, потому что американцы они тоже промашки не делают. Они не потерпят, чтоб боши с макаронщиками блаженствовали в Тунисе под самым носом у союзников.

Кокбэр (наливает в стакан белого вина для Жюло; к Жежену). Говорят тебе, потише.

Луиза (встает и направляется к Жежену). Послушай, Жежен, ты хороший парень и настоящий товарищ. Но только зачем ты распространяешь слухи, просто так, для собственного удовольствия? Если тебя не знает, можно бог знает что подумать.

Жежен. Не расстраивайся, Лулу. Ты хорошая девушка, и красавица, лучше не надо, но только напрасно ты всегда права. Если женщина всегда правильно рассуждает, это ей ни к чему. Рассуждение сушит красоту. Не женственно!

Луиза (с негодованием отодвинувшись от него). Стыдно слушать! Это говорит рабочий. Удивляюсь еще, как это ты не у них, не у Лавала с бошами. Ты повторешь их слова.

Леокэди (сохраняя спокойствие). Тише, детки, не так громко.

Жежен (весело). Эх, Лулу, подожди. Пожалеешь ты о своих словах.

И в (из глубины комнаты). Что это? Угроза?

Жежен. Я сказал, что она пожалеет. Потому что у нее есть сердце, и потому что в тот день, когда она поймет, что я вовсе не такой, мадемуазель Лулу захочет взять свое слово обратно. Но будет уже поздно. (Замогильным голосом.) Я буду мертв.

Луиза (смеясь против воли). Ты думаешь, я так сразу и заплачу. От слов не умирают.

Жежен. Слушай, Луиза: ты правильно меня упрекнула. Но если язык у меня слишком разошелся, то это потому, что руки томятся от бездействия. Да, будь я моряк, не стал бы я тут посиживать за стаканчиком в берлоге вот этого отравителя рабочего народа. (Он кивает на Кокбэра. К Леокэди.)... Не обижайтесь, хозяйка... Слушайте, моряки! Чего вы ждете, когда соберетесь вы зашевелиться? Каждое утро встаешь с надеждой: вот выйду и увижу — нет кораблей, ушли... Подумать только — уже три дня, как союзники высадились в Алжире, а наш флот, наша сила и гордость, все еще спит на Тулонском рейде. (Стучит кулаком по стойке). Скажите мне: наш это флот или он чужой?

Жюло (у стойки). Насчет своего языка это ты верно сказал, Жежен, Он у тебя работает на-славу, не то, что мозги... иначе не стал бы ты пороть такой вздор.

И в (Жежену). Будто ты не знаешь, сколько в этих штабах всякой гниди, шкурников... попробуй, ухватись. Эти господа либо за Гитлера, либо уж наверняка за Петэна.

Жюло. Одним словом, — кто не подлец, тот болван.

Жежен. А я считаю: все это отговорки, от лени. Болвану нужно вправить мозги, а подлецу дать по рукам. И раз на свете болванов все-таки больше, чем подлецов, ваше дело взять в работу почетных старцев из капитанских кают.

Патрис (из глубины комнаты). В этом Жежен, пожалуй, прав. Вот что я скажу, ребята. (Он встает и подходит к группе.) Сегодня ночью приехал я из деревни — у нас там дед скончался. Хорошился его. Пришлось беседовать с разными людьми, и у себя там, на родине, и в поезде, всюду. Народ не понимает, почему моряки дремлют. Всюду идет об этом разговор. Конечно, они не знают всех трудностей. Но в одном они правы: флот — это последнее, что осталось у Франции.

Леокэди. Подведете вы меня своими разговорами.

Жежен. Не расстраивайся, хозяйка, мы тебе в тюрьму бутылочку принесем.

Жюло. Видишь ли, Патрис. Выступить нам раньше времени — это значит, — драться с офицерами. А подражаться с офицерами — это снова расколоть страну, распылить силы.

И в. Вот мы и зашли в тупик.

Жежен. Я лично, когда попадаю в тупик, то прежде всего думаю: Жежен, ты, значит, пошел не той дорогой.

Жюло. Легко говорить. А что бы ты стал делать на нашем месте, товарищ главный докладчик?

Патрис. Не будем толковать о том, что можно было бы сделать. Посмотрим, что можно сделать сейчас. Можете вы сколотить организацию?

И в. Удалось установить кое-какие связи с офицерами, но из молодых.

Патрис. Нет ли среди них Фромауара, сына адмирала?

И в. Есть.

Патрис. Вот видите. К одному замку у нас ключ подобран.

И в. Это не так-то скоро делается. Знаешь ты наших стариков — они тяжелы на подъем.

Жежен (Кокбэру). Слушай, хозяин! Не мог бы ты на минутку свернуть шею своей птичке, вот этой? (Он указывает на радио.)

Кокбэр (бросает взгляд на часы).

Разве не будем слушать последние известия?

Жежен. Да скоро?

Кокбэр. Да сейчас.

Луиза (в сильном волнении). Я согласна с Жеженом и Патрисом. Красная Армия под Сталинградом самоотверженно борется ради спасения всех нас, а мы тут прохлаждаемся, а потом жалуемся... Если бы русские и англичане так рассуждали, давно все пошло бы прахом.

Жюло (с иронией). Сильно сказано, красавица. А что вы предлагаете?

Леокади. Молодец Луиза! Золотые слова!

Патрис. По-моему, нет у нас настоящей связи между моряками и населением.

Луиза. Это верно. Мы сами во многом виноваты. Слабо мы вам помогаем.

Жежен. Молодчина, Лулу!

Патрис. Толково. Если бы мы создали в городе надежную организацию, скажем, комитеты национального единства, чтобы они проникали всюду, и в верхи тоже, тогда было бы кому поговорить с вашими старичками, — из их же лагеря нашлись бы люди.

Ив. Это уже дельно.

Кокбэр. Последние известия! (Он поворачивает рычажок на радиоприемнике.)

Радио. Шесть часов, ровно. Слушайте третей выпуск нашей дневной информации. Виши, 11 ноября. Сегодня утром моторизованные части германской армии перешли в ряде пунктов демаркационную линию. Войска движутся в направлении Средиземноморского побережья...

Жежен. Та-а-ак. Слушайте, слушайте. (Все потрясены, теснятся у радиоприемника. Кто-то от неожиданности тихо свистнул. Слышно взволнованное дыхание...)

Радио. ... Сегодня утром фельдмаршал фон-Рундштедт в сопровождении своих офицеров посетил резиденцию маршала Петэна в Виши, где он вручил маршалу личное послание фюрера...

(Движение, взрыв негодования, крики.)

Голоса. Сволочи... Лаваль... Это дело его рук... И эта пададь Петэна... Старая гадина... Снюхались, все снюхались. Недолго они прикидывались...

Луиза (со слезами в голосе). Подлецы! Продали Францию. Растащили, теперь уж всю, до последнего куска. (Кричит.) А Тулон? Что будет с Тулоном? А флот?

Ив. Флот — разрази их громом!

Жюло. За дело, ребята! Довольно спать!

(Они бегут к вешалке, хватают кепки и бушлаты.)

Радио (громче). «В последнюю минуту!»

(Все застывают в неподвижности, снова повернувшись к радиоприемнику. Дверь бара беззвучно открывается. Входит инспектор полиции в штатском плаще, незамеченный никем, кроме Леокади, которая поднимается и идет ему навстречу.

Молчание.)

Сцена третья

Те же и инспектор полиции.

Радио. Слушайте последние телеграммы: сегодня утром военные силы стран оси, переброшенные на самолетах и снабженные легкими танками, заняли аэродромы Туниса и Бизерты. Уничтожено незначительное скопление слабо вооруженных французских частей, пытавшихся оказать сопротивление...

Жежен. Разрази их гром! Сукины дети! Какой кабак!

(Смятение, шум, как в предыдущей сцене.)

(Кокбэр делает чуть заметное движение бровями, потом тихо, предостерегающе свистнул. Все поворачиваются, замечают присутствие инспектора, — он успел молча пройти к столу и уселся на переднем плане, почти спиной к зрителям. Газета в его руках скрывает его лицо от всех присутствующих. Он как будто погружился в чтение. Всё сразу замолкает. В этом, уже ничем не нарушаемом молчании, гости исчезают один за другим. Каждый перед уходом расслаивается с хозяином. Все это — почти бесшумно, кажется, что монеты, которые они суют в руку Кокбэру, сделаны из картона или войлока.)

ЗАНАВЕС

Пока опускается занавес, слышны тревожные гудки с моря, они передаются от корабля к кораблю. Слышен топот десятков ног, это торопятся, бегут куда-то люди; матросы толпами устремляются к своим кораблям; мостки звенят у них под ногами. Пронзительный голос радио время от времени повторяет известие о том, что бронечасты гитлеровцев перешли демаркационную линию. Шелест опускаемых штор, со стуком затворяются ставни окон. Слышен старческий, плачущий голос. Вдалеке голос женщины зовет ребенка, пронзительный и полный отчаяния. Снова гудки. И снова радио. И совсем издаалека, как шумное, неровное дыхание, доносятся обрывки лебен — «Марсельезы», «На Самбре и Маасе». Другой, более четкий ритм: это шагает через сцену морская пехота, проходят полицейские патрули. И новые звуки: матросы садятся в шалопки, через минуту они выйдут на рейд, чтобы присоединиться к стоящим там кораблям.

Конец второй картины

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Сцена первая

Рабочий кабинет в каюте адмирала де-Фромануара на борту французского броненосца, стоящего на Тулонском рейде. Яркое солнце вливается в открытый иллюминатор. На стене: портрет Маршала, карта Франции, три фотографии — покойной жены адмирала, его дочери Мари-Жанны, его сына Марсиаля. И Распятие.

Адмирал один. Радио твердит ему уже известную зрителю ужасную новость. Фромануар — рослый, статный, строгие черты лица. Он стоит неподвижно у рабочего стола, напряженно вслушивается в то, что говорит голос радио. Лицо выражает отчаяние. Он открывает ящик стола, вынимает оттуда два запечатанных конверта и кладет их на этажерку, на видном месте. Снимает со стенки портрет жены, прикасается к нему губами, всматривается на место; затем идет к столу, открывает другой ящик. Достает оттуда револьвер, смотрит на портрет Маршала, на карту Франции; закрывает лицо руками.

Сцена вторая

За спиной адмирала бесшумно открывается дверь. Мари-Жанна останавливается на пороге и замирает, устремив глаза на отца. Мари-Жанна — красивая, двадцатилетняя девушка, в форме сестры милосердия. Высокая, тонкая, правильные черты лица; очень хороши глаза. Фромануар не замечает ее.

Мари-Жанна (почти беззвучно). Папа!

(Фромануар резким движением поворачивается, пытаясь прикрыть рукой револьвер.)

Мари-Жанна (продолжая стоять неподвижно, со всей страстью любви, горя). Папа, папа! И вы говорили, что вы верующий!

Фромануар (он растерян, в отчаянии, душевная боль слышится в голосе, который звучит почти, как стон). Мари-Жанна, Мари-Жанна!

Мари-Жанна (пробует улыбнуться). Бедная Мари-Жанна. Вот уж чего она не ожидала...

Фромануар (не слышит ее слов). Я верю, бог простит меня. И ты, ты тоже прости... Слышала? (Жест в сторону радиоприемника). Страшное известие! (Останавливается перед картой (Франции)). Моя родина! Великая, прекрасная страна, такая любимая. Значит, мне суждено увидеть самое страшное: последний день Франции, последний день Родины!

Мари-Жанна (крик негодования). Что вы говорите? Отец!

Фромануар (легкой, быстрой походкой ведет ее к карте). Посмотри, как она хороша, наша Франция. Какое благородство рисунка! Какая чистота линий! Сколько изящества в ее силе! (Срывающимся от слез голосом). Все погибло. Нет, нет, Этого нельзя пережить. Ему (указывает на портрет Маршала) удалось спасти кусок родной земли. Из этого драгоценного зерна могла вновь подняться Франция. А ныне прусский вихрь развеял священные семена Франции.

Все, что еще сохранилось от родины, зачеркнуто на карте. Двадцать веков величия и чести выдраны из летописи Франции. И враг, враг, пришедший на нашу землю, уже здесь в эту минуту. Я все перенес, все, но это — нет.

Мари-Жанна (делает быстрое движение, револьвер уже в ее руках). Так. Прежде всего, не будем оставлять таких игрушек в руках неуравновешенных пациентов. (Револьвер летит в открытый иллюминатор).

Фромануар (пытается удержать ее руку, потом громко, сердито). Мари-Жанна! Что ты делаешь?

Мари-Жанна (спокойно). Выполняю свой долг. Ты забыл, что я — сестра милосердия. А теперь поговорим. Итак, отец. Вы решили дезертировать?

Фромануар (после тяжелого молчания). Как могла ты подумать, Мари-Жанна? (С горечью.) Я ничего не покидаю, ибо ничего не осталось...

Мари-Жанна (с нежностью). Как могла я подумать? А вы, отец, как вы, могли... Вы любуетесь прекрасной Францией. Франция — произведение искусства... Совершенное, вечное... Столь хрупкое, что нельзя прикоснуться. Так что ли? (С горечью.) Прекрасная картина, но только неполная... Вы забыли...

Фромануар (растерянный, он почти не слушает ее). Что я забыл?

Мари-Жанна. Нас, французов. Только всего.

Фромануар. Не я о них забыл. Они забыли Францию. Забыли сами себя.

Мари-Жанна. Пусть так. Но разве не ваш долг помочь нам подняться. А вы нас топчете.

Фромануар. Им этого не нужно. Им ничего не нужно. Они согласны жить так. На коленях.

Мари-Жанна (сдерживая гнев). Что вы знаете о них? Кто вам дал право? И это вы, французский адмирал, мой отец. Вы... (тише) говорите, как враг.

Фромануар (безнадежно). Я вижу то, что вижу.

Мари-Жанна (стремительно). Что же вы видите? Скажите мне! Я принадлежу к тем миллионам, которых вы презираете и обрекли на гибель.

Фромануар. Они сами презирают себя, сами идут к гибели.

Мари-Жанна. Я принадлежу к людям, которые не хотят быть музейной редкостью, игрушкой, восковыми фигурками, которыми вы любуетесь. Какая нелепость!

Фромануар. Ну, что ж, пусть они докажут, что я неправ.

Мари-Жанна. Вы сами становитесь им на пути.

Фромануар. Я?

Мари-Жанна. Да, вы отнимаете у них оружие и прежде всего флот. Но не только оружие. Вы лишаете их вашей любви, вашего доверия.

Фромануар. Слова, слова...

Мари-Жанна. Моя родина — не только на карте, над которой можно проливать слезы. Моя родина во мне самой..

Фромануар. Будущее? Хотел бы я знать, где она, твоя будущая Франция.

(Стучат в дверь.)

Кто там? Войдите!

(Входит Марсиаль, прежде чем поздороваться, отдает честь адмиралу.)

Сцена третья

Те же и Марсиаль.

(Марсиаль, 23-летний сын адмирала, в форме мичмана французского флота.)

Мари-Жанна. Ах, Марсиаль, Марсиаль! Представь себе! Наш адмирал, наше бедное неразумное дитя, собирался совершить самую чудовищную глупость в своей жизни, в нашей жизни... И если бы не я... (Она бросается в объятия к отцу и дает вслух слезам.)

Марсиаль (в тревоге). Что случилось? Что с вами, отец?

Фромануар (нежно гладит Мари-Жанну по голове). Жанна! Красавица! Не надо плакать.

Мари-Жанна (ее жалоба переходит в крик). Он хотел убить себя. Понимаешь?

Марсиаль. Отец!

Мари-Жанна (вырывается из рук отца, быстро, как в лихорадке). Спроси его, Марсиаль, пусть скажет, что он говорил мне сейчас... (Отцу). Нет, вы не посмеете повторить, что Франция погибла! Он думает, что Франции больше нет. Скажи ему, Марсиаль, скажи ему, что будущее Франции это его кровь и наша кровь. Скажи ему, что прекрасная эскадра Тулона (отцу), которой вы командуете, это тоже наша кровь. Кровь всех французов. Тулон — это Франция.

Марсиаль. Правильно, отец.

Фромануар (пожимая плечами). Ребятство, детские бредни! Сегодня вече-

ром враг войдет в Тулон.

Марсиаль. На море прилив.

Фромануар (иронически). Ну, и что же? Куда прикажешь плыть?

Марсиаль. В Гибралтар.

Фромануар. Гибралтар — не Франция.

Марсиаль. В Алжир.

Фромануар. И там не Франция. Франция там, где ее вождь.

Марсиаль (вызывающе). Какой вождь? Гитлер?

Фромануар (нервно). Запрещаю тебе... (Твердо.) Есть только один вождь — Петэн.

Марсиаль. Кто сидит в Виши? Немцы. Я шадил вас, отец. Я видел, что вы живете самообманом. Но я шадил вас. Но немцы давно уже прикрываются именем Маршала: кем бы ни был Петэн — жертвой обмана или соучастником..

Фромануар (строго). Марсиаль!

Марсиаль.. Сегодня это уже не важно. Сегодня немцы снова напали на Францию. Во второй раз. Война возобновляется. Мы могли спасти Францию два года тому назад. Сейчас мы больше не в праве упустить эту возможность. На том берегу наши союзники, наши силы..

Фромануар (резко). Какие союзники? Уж не англичане ли? Или американцы?.. Союзники! Может быть, большевики? Нет, я никогда не пойду на союз с большевиками!

Марсиаль. Отец, отец, послушайте.. Страна, которая создала такую армию, такую промышленность, преодолела такие трудности; люди, которые сражаются так, как сражаются русские у Сталинграда!

Фромануар (следуя своим мыслям). К тому же они на краю гибели. Немцы на Волге, завтра они будут на Каспийском море. Это конец. Советской России больше не существует.

Мари-Жанна (тихо). Подождите предсказывать!

Марсиаль. Благодаря России Гитлер проиграл этот год. И во всяком случае проиграл войну.

Мари-Жанна. Поражение Гитлера под Москвой, это его Марна, начало конца германской армии.

Фромануар (почти не слушая ее). Что бы ни произошло, союзники не вернут нам нашей Франции. Нет больше Франции.

Мари-Жанна. Слышишь, Марсиаль?

Фромануар (упрямо). Нет больше Франции, нет у нашего народа любви к родине, нет у наших рабочих любви к труду. Что сделал твой Народный фронт?.. Кто занимал фабрики? Кто мешал работе, требовал оплаченных отпусков, отдыха, вместо того, чтобы трудиться? — Вот плоды: война без танков, без самолетов, без пушек.

Марсиаль. Нет, отец! Полководцы без воли к победе, правители, которые поклонялись Гитлеру, как своему кумиру, они предрешали исход войны!

Мари-Жанна. И для них Гитлер — спаситель.

Марсиаль. Отец, если бы ты знали, что происходит на кораблях. Люди горят желанием отомстить. Немцев ненавидят. Всюду.

Фромануар. Откуда ты это знаешь? Марсиаль (улыбнувшись). Кто хочет знать, тот знает. Доверие за доверие. Когда стоишь на вахте и беседуешь с матросами... Отец, верь мне. Если сила народа в его единстве, — то Франция сильна, как никогда. Сказать тебе правду?.. Никогда не было мне так хорошо жить во Франции, как сейчас... одной волей, одной мыслью со всеми. В едином стане великого заговора против врага. Любовь роднит нас всех. И ненависть. И братство. Столетняя война, нашествие врагов, предательство, опустошение, тысячи бедствий нужны были, чтобы явилась Жанна д'Арк. Наш народ не изменил себе и сейчас. Да, велики наши бедствия. Но и сила наша велика. Она преодолевает все. Она наш главный союзник. Она поможет нам. И потому мы вправе принять помощь союзников: мы встретим их не с пустыми руками, но как равные в борьбе. Народ не расстанется с оружием. И флот принадлежит ему по неоспоримому праву! Мы призовем к ответу всех, кто не исполнил долга.

Фромануар (он невольно прислушался). Так можно далеко зайти... Мари-Жанна. Марсиаль говорил вам насчет матросов, а я знаю рабочих Арсенала, знаю ремесленников. Я могу сказать вам, что они думают.

Фромануар (презрительно). Они коммунисты.

Мари-Жанна. Они французы. Брат правильно сказал, вы слишком далеки от них, вам не видно.

Марсиаль. Сейчас, сегодня есть только французы, а по другую сторону баррикады кучка жалких дураков и предателей.

Мари-Жанна. Я ведь сама работаю в Арсенале. Я знаю рабочих, солдат крепостной артиллерии, механиков, матросов; я слышу, о чем говорят врачи, служащие, люди в очередях. Отец, одно ваше слово, приказание — отплыть, уйти кораблям в Алжир, и вы стали бы любимцем французского народа!

(Телефон.)

Фромануар (берет трубку). У телефона адмирал Фромануар. Слушаю. А, это вы, Тассиньи? (К детям.) Генерал Тассиньи. (В трубку.) Откуда вы говорите, дорогой друг? Из Монпелье? Что такое? Да? Да? Да... (В голосе, во всем облике адмирала заметно сильнейшее волнение.) Право, не знаю, что вам ска-

зать... Прервали... Алло! Алло! Прервали. (Кладет трубку). Это кузен де-Латр де-Тассиньи... Ведь он теперь командует военным округом Монпелье... Он говорит... он говорит, что немцы нарушили условия перемирия, что тем самым Франции возвращена свобода действий. Тассиньи попытается своими силами остановить немецкие моточасти.

Мари-Жанна. Вот это хорошо. Вот это люди! Храбрецы!

Марсиаль. Видите, отец, вряд ли вы заподозрите командующего армией генерала де-Латр де-Тассиньи в симпатиях к коммунизму? То, что Тассиньи собирается предпринять с горсткой солдат в округе Монпелье, вы можете осуществить в масштабах, достойных величия Франции. Такой случай вам больше не представится... Присоединиться к силам союзников — значит разгромить буквально в несколько часов жалкие остатки итальянского флота, принудить Роммеля к капитуляции, а тогда — союзники высадятся на нашей земле. Франция поднимется вся.

Фромануар (потрясенный, в нерешительности). Знаете, что говорил мне Тассиньи как-раз в ту минуту, когда нас прервали?

Мари-Жанна. Что?

Фромануар (смущенно). Должно быть, потому-то нас и прервали... Так вот... Гм... Он советует мне — нет! Он говорит, что ему ясно... что он пришел к выводу...

Мари-Жанна. К какому выводу?

Фромануар. ... Одно я отказываюсь понимать, — что руководит Маршалом... Может ли быть?.. Как все это ужасно... Но у Маршала есть, конечно, свой план... Да... Так вот: Маршал якобы лично предложил ему, Тассиньи, капитулировать... Понимаете вы что-нибудь?

Мари-Жанна (стараясь скрыть улыбку). Вас это удивляет?

Фромануар. Слушайте, дети, Тассиньи разделяет ваше мнение. Он крикнул мне в трубку — до сих пор не могу притти в себя! — «Нас предали! Уходите! Спасайте флот!»

Марсиаль. Ну, и что же, отец?

Фромануар (нерешительно). Марсиаль, мальчик мой, приведи ко мне тех людей, с которыми ты разговаривал, я хочу сам увидеться с ними. Выслушать их. Иди. Если мы действительно уходим, все должно быть сделано быстро и без шума.

Марсиаль (бросается ему на шею). Ах, адмирал, дайте я вас обниму. Вы спасли честь нашей семьи, честь Фромануаров. А тебе, сестра, Франция будет навсегда благодарна. (Он вытягивается, отдает честь, адмирал торжественно отвечает ему. Марсиаль уходит.)

Сцена четвертая

Те же, без Марсиала.

Фромануар. Для меня это исторический день, Мари-Жанна. Вы победили. Мари-Жанна. Франция победила... Дайте и я вас обниму. (Целует его). Ужасный человек! Вы могли думать о смерти как-раз тогда, когда ваша роль только начинается... Посмотрите, да вы помолодели на двадцать лет!

Фромануар. За тобою револьвер, Мари-Жанна!. Все-таки я никак не могу снять действий Маршала. (Телефон.) Слушаю. Да. Адмирал де-Фромануар. Здравствуете, господин министр. Он будет здесь? По вашему поручению? Конечно. Я жду... Мое почтение, господин министр. (Он вешает трубку и задумывается). Звонят из Виши... Министр от имени Лавала. Сообщает мне, что адмирал Базир вылетел сегодня утром из Виши с поручением ко мне. Он должен скоро быть.

Мари-Жанна. Как это мне не нравится!

(Телефон.)

Фромануар. Слушаю. Адмирал Фромануар. Он прибыл? Он уже на борту? Проводите ко мне немедленно! (Кладет трубку.) Он уже здесь, и морской префект также.

Мари-Жанна. Как это мне не нравится!

Фромануар. До свиданья, Мари-Жанна, до свиданья, моя храбрая французенка.

Сцена пятая

(Фромануар, Базир, Руа, У Базира физиономия лжесвидетеля.)

Фромануар. Войдите, Базир, прошу вас. Счастлив видеть вас. Руа, привет! (Базир и Руа здороваются с адмиралом.)

Базир. Адмирал, мое почтение!

Руа. Привет, дорогой друг.

Фромануар. Как вы долетели? Не очень качало? Садитесь. (К Руа). Садитесь, Руа. Стаканчик чего-нибудь?

(Базир и Руа садятся.)

Базир. Если разрешите, адмирал.

Фромануар. Позвольте, я сам все приготовлю. Так нам, по крайней мере, никто не помешает. (Обращается к Руа). Не для того он летел в Тулон, чтобы болтать с нами... (Подходит к шкафчику с ликерами, открывает его). Сухого? Сладкого? Шартрез? Джин? Арманьяк?

Базир. Доверяюсь вам, адмирал.

Фромануар (лукаво). В таком случае «Трипль-сек».

Базир. Браво, адмирал, «Трипль-сек». Настоящий французский напиток!

Фромануар. Или вы предпочитаете виски? У меня есть как-раз скотч, перво-классный.

Базир. А, скотч? Да, скотч достоин всякого внимания.

Фромануар. Но предупреждаю вас, что я сам не поклонник скотча. Против-

нейшая штука. Без солнца, без души. Фу! Я остаюсь верен нашей старой эльзасской мирабел.

Базир. А! Браво адмирал, браво. Рад это слышать. Мне тоже, пожалуй, мирабель. Ничего не может быть лучше мирабели.

Фромануар. Очень рад, что наши вкусы сходятся. Ваш вкус, Руа, я знаю. (Наполняет стаканы, Базир и Руа встают.)

За Францию!

Базир (с ударением). За Маршала! (Отпивают, садятся, во время беседы продолжают медленно тянуть ликер.)

Базир (тоном духовника). Адмирал! Господин министр и господин председатель Лаваль поручили мне... сообщить вам совершенно конфиденциально... от их имени... и от имени Маршала, что Тулон не будет оккупирован войсками оси.

(Фромануар вздрагивает.)

И что французскому флоту ничто не угрожает со стороны оккупационных войск.

Фромануар (с чувством). Важная новость, Базир! Значительное, очень значительное известие!

Базир. Да, вы правы, адмирал. Важное и счастливое известие.

Фромануар (в волнении). Но не объясните ли вы мне...

Базир (ханжески). Председатель Лаваль просил меня особо подчеркнуть при встрече с вами значение уступки, которую нам делает фюрер. Это со стороны фюрера истинно рыцарский жест.

Фромануар. Гм... Не в обычае этих господ давать, ничего не получая взамен. Чего они ждут от нас?

Базир (бросив многозначительный взгляд на Руа, страшно конфиденциально). Я имел честь быть вызванным к Маршалу сегодня утром, перед отъездом из Виши. Все, что я вам скажу, должно остаться в кругу людей, на честь которых мы можем положиться. (Таинственно). Маршалу самому ненавистна политика, которую он проводит... для виду. Маршал остается у власти только ради того, чтобы избавить Францию от испытаний еще более тяжелых и вырвать из когтей немцев все, что может быть спасено... Довериться Маршалу! Не смущаться его официальными декларациями и показательными действиями... Маршал не свободен... Враг держит его под угрозой самых страшных репрессий... Маршал жертвует собой для Франции. (В это время радио, которое так и не выключали, — оно с начала картины сопровождало действие то нежными, то бравурными мелодиями, — радио вдруг разражается вульгарной песенкой. Это — пошлый, очень назойливый и вместе с тем иронический мотив, вроде, например: «Волнуй меня, волнуя, как ты аппетитна». Базир вслушиваясь, говорит раздра-

женно.) Разрешите, я выключу? (Выключил, продолжает так же напыщенно.) Противодействовать немцам, — значит, мешать конспиративной работе Маршала. Маршал поручил мне сказать следующее: «Будем же нести свой крест, подобно Ему. Если испытания, выпавшие на нашу долю, покажутся слишком тяжкими, вспомним о Нем, о его муках и без страха последуем по пути, ведущему к освобождению Франции и ее вождя».

Фромануар (взволнованно). Какой же путь Маршал предназначил мне?

Базир (снова взгляд в сторону Руа, по лицу которого пробегает едва заметная улыбочка). Флот будет оставлен Франции при условии, что он не подает своими действиями повода для беспокорства германскому командованию. В частности, под этим подразумевается возможная попытка отплытия в Северную Африку. Приказ Маршала: сделать все, что бы отныне немцы были спокойны за наш флот.

Фромануар (глухим голосом). То есть... Объясните, пожалуйста, Базир.

Базир (вдруг берет твердый, повелительный тон). Разоружить корабли, поставить на ремонт важнейшие суда, выкачать горячее.

Фромануар (задыхаясь). Как? Как?

Базир (невозмутимо)... Отправить в отпуск часть экипажей.

Руа. Взять под стражу смутьянов.

Базир. Да, зачинщиков — за решетку. Наконец, вы берете на себя формальное обязательство оказать сопротивление всякой попытке высадки англо-американских войск.

Фромануар (вскакивая). Но это значит дать связать себя по рукам и ногам...

Базир. Нет, поскольку немцы обязались не трогать флот. Фюрер дал честное слово солдата нашему Маршалу.

Фромануар (он сбит с толку). И вы говорите, что таков приказ Маршала?

Базир. Таковы его прямые, совершенно ясные, лично им данные секретные указания, адмирал.

Фромануар (в величайшей тревоге). Но цель? К чему это должно привести нас?

Базир (еще более таинственно и доверительно). А вот к чему: Франция сохраняет свою мощь на море, моральное единство, политическое равновесие. Франция предоставляет драться другим, и, каковы бы ни были испытания и бедствия, приходит к концу войны в лучшем состоянии, чем те, кому приходится воевать...

Фромануар. Ваше мнение, Руа?

Руа. Сложная игра.

Базир. Да, сложная игра.

Руа. Маршалу и Лавалю удалось совершить почти чудо: они превратили Францию из побежденной страны в страну невоюющую.

Базир. Еще несколько усилий, и мы зайдем достойное место в новой Европе, единой и мирной. Зато один ложный шаг, и мы летим в пропасть! (С пафосом.) Слушайте, адмирал: все честные люди, все честные французы должны стать участниками большого заговора Маршала во имя спасения Франции и порядка, во имя защиты наших великих общественных традиций, против большевизма.

Фромануар. Цель не вызывает сомнения.

Базир. Ни цель, ни средства, адмирал.

Фромануар. Что касается средств, — риск чудовищно велик.

Базир. В чем, по-вашему, риск?

Фромануар. А если немцы не сдержат данного Маршалу слова?

Базир. Зачем немцам наш флот? Им достаточно их авиация, чтобы господствовать в Средиземном море, и достаточно подводного флота — для господства в Атлантике.

Руа. Гитлер не заинтересован в чрезмерном ослаблении Франции — это означало бы усиление Италии, а фюрер невидит дуче.

Фромануар. Все это верно, — при условии, что Гитлер победит.

Базир. Он победит! Он уже победил! Председателю Лавалю угодно было поделиться со мной последней информацией, которая поступила к нам из абсолютно надежного источника: русская армия разгромлена; англо-американские войска в Северной Африке отрезаны от своих баз. Не пройдет и трех месяцев, как они будут сброшены в море. Новый Дюнкерк, куда более страшный!

Фромануар (вполголоса). Этого я ожидал!

Базир. Наша африканская армия первая поможет нам! Итак, адмирал, каков ваш ответ Маршалу?

Фромануар. Скажите ему, Базир... скажите Маршалу. (Почтительный взгляд в сторону портрета Петэна.) Как это тяжело! Какая ответственность!.. Но если то, что вы мне сообщили, Базир, действительно представляет... (Телефон.) (В трубку). Слушаю. Адмирал де-Фромануар. Марсиаль? Они с тобой на борту эти...? (осекается). Гм... Те, кого ты...

Базир (сдерживая улыбку). Не стесняйтесь, адмирал. Я должен переговорить по телефону с Лавалем. Он с нетерпением ждет отчета о моей миссии к вам.

Фромануар (в трубку). Марсиаль,

послужи минуту. Не отходи от телефона. (Кладет трубку на стол). Пройдите ко мне, Базир. И вы, Руа. (Открывает одну из дверей.) Прямой провод с Виши в вашем распоряжении. Будьте, как дома.

Базир. Благодарю вас, адмирал.

Руа. И помните, мой друг, зачинщиков под стражу.

(Фромануар возвращается к телефону.)

Он возбужден, в смятении.)

Базир (на мгновение задерживается на пороге, подмигивает Руа, интимно, с непередаваемым цинизмом). Ну, как вы находите?

Руа (улыбаясь). Великолепно разыграно!

Базир. Мы, кажется, поспели вовремя. Старые-то рога не сразу обломались. Крепкие!

Руа. Вы сегодня победитель! (Уходит.)

Сцена шестая

(Фромануар так и остался сидеть с телефонной трубкой в руках; он растерян, глубоко несчастен. Вдруг он решается.)

Фромануар (в трубку—голосом, каким отдают приказания). Марсиаль, пошли ко мне этих людей! А сам возвращайся к себе на корабль. Да, да. Сию же минуту. (Кладет трубку, направляется к портрету Маршала, мгновение рассматривает его. Берет в руки портрет дочери, также всматривается в него, потом пожимает плечами, — странный жест: покорность судьбе и жалость; откладывает фотографию в сторону.)

(Стук в дверь.)

Войдите!

(Матрос вестовой вводит Ива и Жюло и исчезает.)

Сцена седьмая

Фромануар, Ив, Жюло.

(Ив и Жюло, стоя навтыжку, здороваются с адмиралом.)

Фромануар (сухо). А, это вы? Вас только двое?

Ив. Господин адмирал, мичман де-Фромануар намеревался сказать вам, что он не успел оповестить других товарищей.

Фромануар. Ага! Других? Значит, вы в компании с другими? Много вас?

Жюло (предостерегающе толкает локтем Ива). В какой компании, осмелюсь спросить, г-н адмирал?

Фромануар. В компании смутьянов... которые агитируют, занимаются политикой...

Жюло. Мы, господин адмирал, занимаем политикой?

Фромануар. Не прикидывайтесь дурачками! Значит, вы оба и есть зачинщики.

Ив. Зачинщики? Какие зачинщики?

Жюло. Мичман де-Фромануар сказал нам...

Фромануар. Оставьте в покое мичмана де-Фромануара. Я сам займусь мичманом. Известно ли вам, что беспорядки и разговоры на борту кораблей государственного флота суть преступные действия и, как таковые, подлежат каре по законам военного времени?

Жюло. Мы не понимаем, какой разговор вы имеете в виду, господин адмирал?

Ив. Ни о каком заговоре...

Фромануар. А, нет? А подрыв воинского духа на кораблях, а попытка передачи флота в руки врага, — это не заговор, не измена?

Жюло (в негодовании). Да разве кто-нибудь это замышлял?

Ив. Это вот и есть настоящая измена — обвинять нас в такой подлости!

Жюло. Мы знаем только одного врага — бошей.

Ив. И их союзников...

Фромануар. А! Так вы так? (Подходит к столу и звонит.)

Ив. Плохо дело.

Жюло. Мы, кажется, сели на мель.

Фромануар (в трубку). Дежурного офицера и полицейскую охрану немедленно в каюту адмирала! (Кладет трубку, к матросам). А-а! Так мы, значит, строим из себя деголлевцев? Может быть, коммунистов? Я не хочу иметь у себя на кораблях ни деголлевцев, ни коммунистов. Я их знать не знаю. Знаю только дисциплинированных матросов, верных начальников и его — он начальник над всеми нами! (Указывает на портрет Петэна.)

Жюло (с бесконечным презрением). Вот этот? Капитулянтская душа!

Фромануар. Что? Что это значит? (Входит дежурный офицер и останавливается на пороге. За его спиной в полутьме кулис сверкнули штыки полицейской охраны.)

Сцена восьмая

Те же, дежурный офицер.

Фромануар. Немедленно взять под стражу.

Жюло (иронически). Всего насмотрелись, но такого еще не видели: чтобы адмирал свою адмиральскую каюту сдавал под мышеловку.

Фромануар. Молчать... Увести их.

Ив (спокойно). А все-таки вы нам не заткнете глотку. (Кричит). Да здравствует Франция.

(Караул уводит матросов. Фромануар стоит мертвенно бледный, почти в беспомощности, медленно стирает пот со лба.)

ЗАНАВЕС

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Та же декорация, что и в первой картине первого действия. На стенном календаре 25 ноября 1942 года.

Сцена первая

Зигмунд, Зигфрид и два француза — спекулянты с черной биржи. Оба немца сидят по разным сторонам сцены, каждый за своим столом. Перед каждым — клиент с черной биржи. Против толстяка Зигмунда — высокий, молодой и костлявый субъект. С тощим Зигфридом спорит маленький пузан. Обе эти беседы проходят весьма оживленно, в сопровождении множества жестов, поскольку купцы не говорят по-немецки. Во всей сцене торговли есть нечто дикарское.

Зигмунд. Своего угля дешевле двух тысяч франков за тонну не уступаю! Угля! две тысячи!.. тонна!..

Первый спекулянт (неистовый жест: «Слишком дорого»).

Зигфрид. Немецкий авиационный бензин высшего качества за двести франков, бидон в пять литров.

Второй спекулянт (воздевая руки к небесам: «Слишком дорого!»).

Зигмунд. Хорошо!.. Уголь! Немецкой армии!.. Две тысячи!

Первый спекулянт. Тысячу! (Показывает пальцами.)

Зигфрид. Лучшего бензина не найдете! Двести франков!

Второй спекулянт. Сто! (Показывает пальцами.)

Зигмунд. Нет! Две тысячи!

Зигфрид. Двести! Двести!

(Оба спекулянта одновременно поднимаются с видом оскорбленной добродетели.)

Оба спекулянта. Нет. Невозможно! Слишком дорого.

Первый спекулянт. Вы меня душите! (Объясняет жестом.)

Второй спекулянт. Вы меня.. удавили! (Дополняет жестом.)

Зигмунд. Ладно же! Ступай к черту, французская сволочь!

Зигфрид. На виселицу, грязный француз!

Зигмунд. Стоп!.. За попытку дать взятку мне.. честному немецкому солдату!.. арестую вас!

Зигфрид. Берегитесь! Вы хотели подкупить.. мою честную верную немецкую совесть.. Я вас.. отправляю в тюрьму!

(Оба покупателя в отчаянии.)

Первый спекулянт. Полторы тысячи франков за тонну!

Второй спекулянт. Полтораста франков за бидон!

Зигмунд. За полторы тысячи идет.. Тащите деньги! Лучший уголь немецкого интендантства!

Зигфрид. Хорошо! Полтораста! Деньги на стол! Синтетический бензин высшего качества в немецкой армии.

Первый спекулянт (совершенно счастлив). Беру десять тонн.

Второй спекулянт (затрепетав). Беру пятьдесят бидонов!..

Зигмунд. Ждите с грузовиками.. завтра в полночь.. У вокзала Вожирар. Дадите.. десять процентов на водку.. часовому.. верному немецкому солдату.

Первый спекулянт. Дорого! Зигфрид. Ждите.. с двумя пятитонками.. в среду в полночь на вокзале Батиньоль.. не забудьте пятнадцать процентов на водку.. честному.. немецкому часовому..

Второй спекулянт. Вы.. злоупотребляете!

Первый спекулянт. Вот! Пятнадцать тысяч франков!

Второй спекулянт. Вот! Семьдесят пять тысяч франков.. Вы.. не забудете?

Первый спекулянт. Вы не забудете?

Зигмунд (беря деньги). Не беспокойтесь.. Это убило бы коммерцию. А затем немедленно смывайтесь!..

Зигфрид. Честность.. двигатель торговли! И чтоб вашего духа здесь не было!

(Грубо выставляют за дверь обоих спекулянтов.)

Сцена вторая

(Зигфрид и Зигмунд, — оба пустились в пляс, размахивая пачками денег и шляпая друг друга по спине — как в первом акте.)

Зигмунд. Ого! Пятнадцать тысяч франков, Зигфрид!

Зигфрид. Ого! Семьдесят пять тысяч франков, Зигмунд! У меня больше.

Зигмунд. Да, но я предпочитаю обдирать дела с углем! Жидкое горючее жжется!

Зигфрид. Уголь пачкает, бензин очищает.

Зигмунд. Плевать, плевать! Держись, Зигфрид, грязная рожа! Ну, и ночку проведем мы у девчонок!

Зигфрид. На деньги французских мшеничников!

(Входит лейтенант Никнель и в течение некоторого времени неподвижно, с моноклем в глазу, сжав губы, наблюдает веселье своих вестовых.)

Сцена третья

Те же и лейтенант Никнель.

Никнель. Самочувствие, видно, неплохое!

(Оба солдата, мгновенно окаменевают, вытягиваются и щелкают каблуками. Так превращаются в соляной столб... Никнель подходит к Зигмунду.) Сколько ты наскреб у французского торгаша? (Вырывает деньги из рук солдата и считает их с ловкостью крупье из казино.) Пятнадцать тысяч? Вот... это ты можешь оставить себе, если будешь повиняться беспрекословно.

(Зигмунд бледен, как мел. Никнель спокойно подходит к Зигфриду.)

Семьдесят пять тысяч! Красота! Не в кулак сморкаешься, голубчик! (Кладет деньги в карман.) Но самое главное: точно доставить товар. Основное правило: не убивать курицу, если она несет золотые яйца! До свиданья! Никогда не видал таких идиотов! (Уходит.)

Сцена четвертая

Зигмунд, Зигфрид (соляные столбы — возвращаются к жизни.)

Зигфрид (ошеломлен). Что, старина?

Зигмунд (подавлен). Обработали, обообрали!

Зигфрид (возмущен). Он, видно, давно следил за нами!..

Зигмунд (грозя кулаком за кулисы). Видал ты когда-нибудь худшую свинью, чем этот мерзавец?

Голос из-за кулис. Achtung!

(Шаги, щелканье каблуками, тишина.)

Зигмунд (вполголоса). Achtung!

(Оба вытягиваются по обеим сторонам двери. Входят адмирал фон-Засс и полковник фон-Грунер, раненый, хромает. По знаку, оба вестовых исчезают.)

Сцена пятая

Фон-Засс, фон-Грунер.

Засс (он притих ровно настолько, насколько чванился две недели тому назад). Итак, полковник, вы откуда?

Грунер. Прямо оттуда, адмирал. Я оставил главную квартиру фюрера вчера вечером. Летел всю ночь. Три тысячи километров.

Засс. Видели вы Рундштедта?

Грунер. Фельдмаршал фон-Рундштедт поручил мне незамедлительно вас информировать.

Засс. Поговорим дружески, с полной открытостью. Что нового?

Грунер (холодно). Ничего хорошего, адмирал.

Засс (удручен). Так я и предполагал. Грунер. Вы уже знаете о том, что произошло на Кавказе? Пятнадцатая армия разбита под Орджоникидзе и в беспорядке отступает. На Волге и на Дону русские перешли в наступление с прошлой среды. С севера и с юга по направлению к Сталинграду они значительными силами, под самым носом наших войск, перешли обе реки. Венгры и румыны бегут. Танковые части неприятеля ворвались в эту брешь. Шестая армия отрезана, окружена... Огромные потери...

Засс. Хуже всех моих предположений!

Грунер. Между тем в излучине Дона наступают другие армии большевиков. Ни одной из наших частей не удается перехватить инициативу.

Засс. Грунер, что же будет с Паулюсом?

Грунер. Чудеса устали работать на нас.

Засс. А тут еще этот Роммель, шут гороховый, последняя звезда берхтесгаденского производства, бежит во все лопатки от англичан, сдает Тобрук, сеет по дороге свою армию. Вчера пала Киренаика, завтра падет Триполитания. А в тыл ему угрожают американцы.

(Телефонный звонок.)

Засс. У телефона адмирал фон-Засс... Да. (Удрученно). Да... Да... (Вешает трубку). Вот, для полноты: утреннее коммюнике... русские силами всего центрального фронта перешли в наступление на Великие Луки и Ржев.

Грунер (холодно). Этого можно было опасаться.

Засс. Можете вы объяснить, фон-Грунер, откуда русские извлекают такие силы?

Грунер. Должно быть, стоит русским топнуть ногой, и из-под земли вырастают армии.

Засс. А снаряжение? А вооружение? Грунер. Первоклассное.

Засс. Американское? Английское?

Грунер. Главным образом, советское.

Засс (горько). Нам изображали, что это народ подмастерьев.

Грунер (значительно). Мы сильно просчитались. Это не единственная наша ошибка.

Засс. Кто же им создает оперативные планы?

Грунер. Сами создают. Как ни тяжело в этом признаться.

Засс (доверительно). Вы офицер связи при высшем командовании. Вы видите все и знаете все. А мы с вами оба — старые солдаты. Какое ваше общее впечатление?

(Короткое молчание.)

Грунер (четко, как бы вычерчивая геометрическую фигуру). Война проиграна. Больше, чем война: режим. Больше, чем режим: империя. Минувшие эти три руины, остается спасать Германию.

Засс (с едкой иронией). Они нам обещали войну на истребление, но истребление повернулось в другую сторону!

Грунер. Адмирал, вы знаете: я рядовой офицер. И только из-за раны меня причислили к верхам. Я участвовал в кампании в Польше, в Норвегии, на Западе, на Балканах, в России. Я командовал боевыми соединениями в каждой из этих стран, в самой гуще. Из-за нас текли потоки крови и слез. Мы вызвали против себя ненависть. Вы не представ-

летеете себе, что значит быть окруженным ненавистью целого народа. Что натворили в этих странах эсэсовцы и разнужданное зверство наших солдат, что надела наша авиация в Англии и в других местах!.. Было ли это необходимо? Это граничит с садистским сумасшествием. Подобное поведение нуждалось по меньшей мере в победе. Колокола и барабаны заглушили бы крики... Представляете вы теперь, по каким счетам придется платить? По счетам крови, слез, пожаров, грабежей. (Сильно.) Но тем не менее мы постараемся не платить!

З а с с (подавленно, хриплым голосом). А средство?

Г р у н е р. Проиграна война, а не мир. У нас в руках Европа и кусок Африки. С такими кушами в кармане можно и поговорить. Наши методы, конечно, низкопробы, но об этом жалеть уже поздно. Враги усмотрели бы в этом только проявление слабости. При всех условиях — еще больше крови, еще больше ненависти. Мы привязаны к террору, как Иксион к своему колесу... В надежде, что другим это надоест раньше, чем нам.

З а с с (цепляясь за эту надежду). Им это надоест раньше.

Г р у н е р (скептически). Да услышит вас небо! Что же касается военных действий, — напрячь все силы, а там — пускай противники задохнутся; довести их до компромисса. И ударить тем силь-

нее, чем слабее мы сами себя считаем.

З а с с. Правильно!

Г р у н е р. Но сверх всего стараться, чтобы ни одна вражья нога не ступила на германскую землю! (Не скрывая угрожающего оттенка мысли.) А потом мы сведем счеты с господами партийными бонзами.

З а с с (мрачно). Да, этот день должен наступить.

Г р у н е р (конспиративно). Высказанное мною есть не только мое личное суждение, — вы догадываетесь!

З а с с. Так я и предполагал. Очень вам обязан.

Г р у н е р (снова официально). Так вот, адмирал, мне даны следующие инструкции: ситуация на восточном фронте такова, что мы не можем дожидаться в Тулоне, к чему приведут сложные и кризисные маневры мошенника Лаваля. Время не ждет. Французский флот должен быть немедленно в наших руках. Тулон будет оккупирован в течение срока восьми часов, какой бы это ни стоило борьбы, — и на французских кораблях взвоятся немецкие флаги. В соответствии с этим верховное командование предлагает вам без проволочки исполнить следующее: здесь у нас достаточно сил, чтобы...

(Занавес быстро прерывает его последние слова.)

Конец первой картины

КАРТИНА ВТОРАЯ

Общественный сад в Тулоне. В глубине — морская бронзовая зыбь. Виден рейд — на нем корабли. Южная растительность.

Темное, пасмурное небо.

(Эта картина может быть сыграна на просцениуме.)

Сцена первая

Марсиаль, Алиса.

Марсиаль — в гражданском платье, Алиса — в костюме бедной учительницы, однако и тут виден весьма изящный вкус, от чего ее красота еще ослепительней. Легкий признак румян. Алиса и Марсиаль сидят на скамейке.

Марсиаль. Не смею верить в такую удачу. Встретить вас было счастьем для меня. Мне казалось, что вся моя жизнь меняется... наполняется светом... Среди страшных и в то же время подлых событий этой осени у меня создалось впечатление, что снова весна и что мне восемнадцать лет. Благодаря какой счастливой случайности вы пересекли мою дорогу?

Алиса (растроганно). Или, наоборот, вы — мою?

Марсиаль. Дорогая! Если бы я только мог уничтожить страдальческую складку у вас между бровями!

Алиса. Уничтожьте оккупацию, ужас, верните мне мать, родную деревню, школу, где я преподавала... моего... (Останавливается.)

Марсиаль (с печальной нежностью). Договоривайте! Вашего... мужа?

(Алиса утвердительно кивает головой и внезапно разражается слезами. Марсиаль кладет ее голову себе на плечо, она не сопротивляется.)

Марсиаль (сдавленно). Не льщу себя надеждой, что смогу стереть прошлое. Образ вашего мужа не кажется мне соперником. Но если бы я мог смягчить ваше горе...

Алиса (еле слышно, положив ему руки на плечи). Ужасно сказать, но вы... можете. (Поднимает лицо, улыбается сквозь слезы, — солнце сквозь дождь.)

Сцена вторая

Те же, полицейский инспектор.

(Полицейский инспектор медленно пересекает сцену с зонтиком подмышкой, на голове котелок, он читает газету. Алиса взволнованно прижимается к Марсиалу. Молчание. Инспектор останавливается перед тем, как удалиться, и, стоя, продолжает читать, — наполовину повернувшись спиной.)

Алиса (дихорадочно). Что надо от ме-

к этому человеку? Ведь это полицейский. Я встречаю его на каждом шагу. Пошуйте, у меня ледяные руки.

Марсиаль. Да, видна птица по полету. Стало быть, за вами наблюдение.

Алиса. Скорее за вами. Что я сделала дурного?

Марсиаль. Вы любите Францию. Сейчас во Франции это самое тяжкое преступление.

(С той же стороны, откуда вошел инспектор, входят Луиза, Жожо и Роже и при виде полицейского останавливаются.)

Сцена третья

Те же, Луиза, Жожо, Роже.

(Жожо — портовая девица, молодая, привлекательная, сильно накрашенная. Явственный южный говор. Роже — шестнадцатилетний, неуклюжий малый, сын зажиточных буржуа.)

Луиза (сквозь зубы, пристально глядя на полицейского). Опять он тут как тут!

Роже (удивленно). Кто это? Что произошло?

Жожо (вполголоса). Ах, ты, простак-простаком! Разве ты не видишь, дурачок, кто это перед нами?

(Инспектор методично складывает газету, поднимает голову, с совершенно безразличным видом оглядывается вокруг и медленно, выгнув спину, удаляется — ни дать, ни взять — беспечная прогулка.)

Жожо (к Роже). Слышишь, ни шагу! Пускай его смывается.

Сцена четвертая

Те же без инспектора.

(Луиза и оба ее спутника подходят к Марсиалу и Алисе.)

Луиза (взволнованно). Видали?

Алиса (взволнованно). Он идет за мной по пятам.

Марсиаль. Я не удивлюсь, если у моих знакомых будут неприятности. Я даже беспокоюсь за вас, Алиса! Ну, друзья мои, в течение некоторого времени нам не придется встречаться. Мы будем связаны только через Алису. Так, Алиса?

(Она улыбается, соглашаясь.)

Луиза. Когда должны выйти из тюрьмы Ив и Жюло?

Марсиаль. Отец обещал мне освободить их сегодня же утром.

Луиза. Конечно, они явятся в бар Кокбэр! И вы их увидите. Итак, вот что: Алиса и я, мы пойдем в бар перед вами. Если начнется тарарам, Алиса будет ждать вас у входа в Ратушу. Если ее там нет, смело входите в бар.

Марсиаль. Вы становитесь отличным командиром.

Луиза (весело). Все может случиться.

Эти двое, это Жожо и Роже. Чудная чертовка, по несчастью, взялась за предосудительное ремесло, но греха на ней нет, и я бы пожелала многим честным людям иметь такую же чистую совесть, как у нее.

Марсиаль. Здравствуйте.

Луиза. Она тоже сделается у нас знаменитым связистом. А этот (дружелюбно подталкивает в плечо Роже) — это школьник, ученик лицея. У его папы большой ювелирный магазин на улице Жореса. Папа за Лавая, малец за де-Голля... Между нами говоря, это Жожо приобрела его доверие и привела мальчугана к нам. Ведь этой образине всего шестнадцать лет, но сердце у него имеется.

Марсиаль (улыбаясь). Здравствуйте! Роже (восторженно). Здравствуйте! Как я счастлив познакомиться с вами! Мне столько про вас говорили...

Марсиаль. Кто же это? Не надо было столько рассказывать.

Роже. Товарищи по лицею. Все наши парни знают вас. Вы у нас знаменитость. Мы сформировали небольшую группу. С нами несколько преподавателей. Работают неплохо. Но хотят сделать больше.

Марсиаль. Очень хорошо!

Луиза. Мы вас покидаем. Вы идете, Алиса?

Алиса. До скорого. (Это Марсиалу. Остальным — улыбка. Алиса и Луиза уходят.)

Сцена пятая

Марсиаль, Жожо, Роже.

Жожо (нахмурил брови, следит глазами за Алисой). Кто она такая, эта Алиса?

Марсиаль. Беженка.

Жожо. Беженка! Такая же беженка, как моя ляжка, вот что!

Марсиаль (удивленно). Что вы хотите сказать?

Жожо. Э, вы же знаете, у меня только и есть, что нос, то-есть чутье... Ну, так вот. Нос у меня зачесался. Дурной знак!

Марсиаль (явно рассержен). Если бы я руководствовался всеми носами, которые встречаю!..

Жожо. Разные бывают носы. Но это, доложу я вам, особая штучка. Что-то нечисто в этой дамочке. Не собираюсь давать вам советы. Вы взрослый мужчина, офицер. Но столько я перевидала мужчин на своем веку, — меня втулик не поставишь. Вот я вам и говорю: берегитесь! Эта девка непростая!

Марсиаль (взбешен). Когда же ты кончишь!

(Опять медленное появление инспектора.)

Сцена шестая

Те же и инспектор

Роже. Ого! Полицейский инспектор!

Марсиаль. За мной. (Уходя, говорит очень сухо.) А ты, миленькая, если хочешь жить в мире с нами, больше не касайся своим язычком госпожи Леру! Понятно?

Жо-жо (пожимая плечами). Как угодно! Как угодно!

(Уходят. Полицейский инспектор, оставшись один на сцене, беспокожно садится на скамейку, оглядывается во все стороны; заворачивает штанину брюк и впрыскивает ампулу морфия себе в икру. Затем быстро поднимается и почти бежит в том же направлении, что Марсиаль и остальные двое.)

Конец второй картины

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Бар Кокбэра в Тулоне

Сцена первая

Кокбэр, Леокади, Луиза, Алиса Гиддинс, супруги Тулемонд.

На календаре 26-е ноября. По радио передается тихая музыка. За стойкой, как и в первом акте, хозяин Кокбэр и Леокади, вечно вяжущая свою черную шерсть. Перед стойкой стоят госпожа Тулемонд и ее маленький муж. Госпожа Тулемонд — разбогатевшая лавочница. Корсаж также объемист, как и то, что ниже талии. Затылок в крупных локонах, кожа испещрена упрямы от злоупотребления косметикой, непомерно накрашена. Голова откинута назад, рот, затемненный усиками, гордо оттопырен. Платье из черного шелка, мех наброшен на плечи, чулки и сверкающие туфли, много драгоценностей. Слова возвышенны, но голос при этом масляный, от постоянных соприкосновений со священниками и причастием. Около жены, — сухонький, робкий, серенький, испуганный, миниатюрный господин Тулемонд, со скудной растительностью и незначительным черепом. Не взирая на свое величие, супруги Тулемонд пьют, как и все, белое вино и чокаются с хозяином. В глубине сцены сидят рядом Луиза и Алиса.

Госпожа Тулемонд (разглагольствует с ужасающим южным акцентом). Да, я никогда не перестану повторять, — где бы мы были, если бы не Маршал! (Каждый раз при произнесении слова «Маршал», кажется, она глотает святое причастие.) Маршал — это наш спаситель! Маршал спас нас от коммунизма! Разве это не правда то, что я говорю?

Леокади (коммерческая вежливость). Совершенно справедливо, госпожа Тулемонд!

Госпожа Тулемонд. Стало быть, все классы общества должны теснее сплотиться около Маршала. Мы, то-есть, господин Тулемонд и я, — не горбимся, Камиль! — мы представляем мелкую торговлю... Равно, как и вы, господин и госпожа Кокбэр! Маршал это же наш человек... если только мне будет позволено употребить по отношению к нему (умиленный взгляд на портрет Петэна) такое фамильярное выражение. Нет, я предпочитаю называть его нашим богом! Неправда ли, госпожа Кокбэр?

Леокади. Правду вы сказали, госпожа Тулемонд!

Госпожа Тулемонд. Нашим богом! Ведь мелкая торговля, в конце-концов, это и есть Франция! Я не краснею, мы оба абсолютно не краснеем, господин Тулемонд и я, от того, что приобрели наше состояние... наше небольшое состояние в торговле. Я никогда не забуду, что нашим соседом в течение пятнадцати лет был кабачок господина Кокбэр. Всегда ведь с удовольствием смотришь на те места, где вырос!

Кокбэр (вежливо). Удовольствие и для нас, госпожа Тулемонд. Угодно вам еще что-нибудь, госпожа Тулемонд?

Госпожа Тулемонд (жеманясь). Ну, что ж, еще маленький бокал белого, господин Кокбэр! За здоровье Маршала! Ах, Маршал! Спасая Францию, он спас торговлю! Если бы вы знали, до чего милы господа из немецкой и итальянской ревиизионной комиссии. Чрезвычайно воспитанные люди! Какое удовольствие делать с ними дела! «Мир согласно чести и согласно достоинству». Как прекрасны эти слова Маршала! «Мир согласно чести и согласно достоинству». Истинная правда. Как вы находите?

Леокади. Совершенно справедливо, госпожа Тулемонд!

Госпожа Тулемонд (поднимает стакан). За Маршала!

Кокбэр (уступая). За Маршала!

Госпожа Тулемонд. А ты, Камиль, ничего не скажешь?

Тулемонд (пискливым голоском). За Маршала! (Пьет и поперхнулся.)

Госпожа Тулемонд (бьет его по спине). Я устроила господина Тулемонда в легион Маршала, — не горбись, Камиль! — он присягнул в верности Маршалу. Великолепная идея, этот легион! (Входит Марсиаль и, незамеченный, оставивается, заинтересованный происходящей сценой, около двери.)

Сцена вторая

Те же, Марсиаль.

Госпожа Тулемонд (продолжает). Каждое утро я бужу Камिला «призывом легионера». Вы не знаете «салют легионера»? Камиль, иди туда, в конец залы. (Кю всем). О, я вас познакомлю с «салю-

том легионера». (Камилю властно). Ты меня слышишь, Камиль? (Ко всем). Вы сейчас увидите. Смотрите хорошенько! (Камиль, сначала остолебев, кончает тем, что повинуется и отправляется в другой конец бара.)

Ты готов? Ну, теперь повернись же ко мне! Смотри мне прямо в лицо! Глаза в глаза! (Она выпрямляется, вытягивает руку для римского приветствия и внезапно завывает: «Ко мне, компаньон!»).

Тулемонд (та же игра, отвечает крикливо). «Франция прежде всего!» (Естественным голосом). Можно мне вернуться?

Госпожа Тулемонд (величественно). Вернись, Камиль! (Всем присутствующим.) Неправда ли, великолепно, и воистину по-французски?

Кокбэр (вежливо). Браво, браво!

Леокади. Очень мило!

Госпожа Тулемонд. Вот только высадка англо-саксонцев в Алжире грозит нам страшным ударом. О, плутократы хорошо знали, что делали! Морить голодом страну, — вот их план! Мы в основном работали на алжирском импорте для оккупационной армии... шерсть, масло, вина, овощи!.. И все это сейчас приостановлено, пока войска оси не очистят нашу дорогую французскую Африку.

Алиса (вскакивает со своего места в глубине). Наконец, это стыд и срам! Что же так она и будет извергать оскорбления на Францию? Или у вас ни у кого кровь не течет в жилах! (Всеобщая сенсация. Входит полицейский инспектор и садится за стол впереди. Луиза делает жест отчаяния.)

Сцена третья

Те же и инспектор.

Госпожа Тулемонд. Как! Что это? Это мне говорят?

Алиса (пламенно). Вам! И всем людям вашей породы, которые размножаются на нашем поражении и на нашем сраме, как черви в ране. Терпеть это отродие в своей среде! За что такое наказание послано Франции? Эти люди продали бы труп своей матери, если бы надеялись на четыре су барыша! И в самом деле, разве они занимаются чем-нибудь иным? Слышали вы их?

Кокбэр (растерянно). Что это вам вздумалось?

Леокади. Сударыня, ради господ-бога молчите. (Показывает ей знаками на инспектора.)

Госпожа Тулемонд (задыхаясь). Если бы я ожидала! Получить оскорбление здесь! И от кого?..

Алиса. От кого? Сейчас узнаете! Алиса Леруа, учительница из Арденн, муж мой убит на фронте, мать убита по дороге. дом разрушен бомбой...

Госпожа Тулемонд. Что же ты молчишь, Камиль? Ты позволяешь оскорблять Францию, твою жену, Маршала!..

Леокади. Госпожа Леруа! Заклинаю вас!

Кокбэр. Хватит! Хватит! Пора кончать!

Алиса (опять обращается к госпоже Тулемонд). Я Алиса Леруа, французенка, я цдую на вас! (Вся дрожа, она стоит против госпожи Тулемонд в середине сцены.)

Тулемонд (влюбленно). Что же ты хочешь, чтоб я сделал, мамочка?

Госпожа Тулемонд (возмущенно). Чего я хочу?.. «Ко мне, компаньон!» (Вытягивает по направлению к мужу руку в знак гитлеровского салюта.)

Тулемонд (испуганно бормочет и машинально отвечает тем же салютом). «Ф...Франция пр...прежде всего». Уйдем, мамочка!

Госпожа Тулемонд. Идиот!

Леокади (Алисе). Вы вне себя, милая!

Луиза (теперь она тянет Алису за руку). Берегитесь! Достаточно. Идем.

Алиса (отмахнувшись от нее, смотрит вокруг себя). Так я и думала! Никто и не шевельнулся.

Кокбэр. Госпожа Тулемонд, примите мои извинения. Мог ли я это предвидеть! Какая-то несчастная...

Госпожа Тулемонд (пересекает большими шагами бар, у входа берет под руку Камилу, лихорадочно). Последний раз меня здесь видела! Вот что бывает, когда связываешься с людьми... копящимися в навозе... с нищими бродягами... анархистами... коммунистами...

Леокади. Ну, ну, госпожа Тулемонд, забудем этот инцидент!

Госпожа Тулемонд. Вы еще услышите о нас!.. Идем, Камиль, когда же ты, наконец, выберешься отсюда! (Грубо его выталкивает и выходит, хлопнув дверью и прищемив ему ногу своему маленькому мужу.)

Сцена четвертая

Те же, кроме супругов Тулемонд.

Марсиаль (входит в бар и берет Алису за руку). Очень смело! Но несколько неуместно!

Алиса (освобождаясь от его руки, с некоторой грубостью). Что «неуместно»? Очистить воздух? Почему вы молчали? Вы думаете я вас не заметила?

Марсиаль (улыбаясь). От гнева вы еще красивее.

Алиса (садится). Пожалуйста, оставим мою красоту. Довольно пошлости!

Леокади. Хорошеньких хлопот вы нам наделали!

Кокбэр (сердито). И нечего вам было и начинать, красавица!

Алиса (ледяным тоном). Я все поняла. (Поднимается.) Сколько я вам должна?

Леокади (примирительно). Бросьте. Не принимайте же этого всерьез, милая!

Алиса (бросает деньги на стол). Получите! (Направляется к выходу.)

Марсиаль (дружелюбно преграждает ей дорогу). Оставайтесь, Алиса!

Алиса. Дайте мне пройти!

Марсиаль (ласково). Прошу вас!

Луиза. Ну, госпожа Леруа, оставайтесь же с нами!

(Внезапно входят Ив и Жюло.)

Сцена пятая

Те же, Ив и Жюло.

Жюло. Вот и мы!

Луиза. Ив! Жюло!

Ив. Они самые! На свободе!

Жюло (замечет Марсиаля). Лейтенант! Вы здесь?

Марсиаль. Привет!

(Инспектор тихо поднимается и среди общего молчания уходит. Кокбэр возвращается к стойке, Леокади принимается за вязание.)

Сцена шестая

Те же, без инспектора.

Кокбэр (подмигивает левым глазом). Так-то свободно дышится.

Луиза (задумчиво). Почему он ушел? (Украдкой поглядывает на Алису.)

Жюло. Уж не мы ли вспугнули этого жеребца?

Ив (Марсиалю). Чорт возьми, лейтенант, не ждано не гадало вы очутились здесь!

Марсиаль. Я вас тут и дождался.

Жюло. Вы знали, что нас освободят?

Марсиаль. Я пристыдил адмирала по поводу вашего ареста. И чуть было сам не попался.

Ив (смеется). Ага! И вас тоже на замок?

Марсиаль (весело). И, меня тоже!

Ив. Честное слово, лейтенант, мне это нравится!

Луиза (Леокади). Почему этот жеребец ушел?

Марсиаль. Алиса, позвольте представить вам двух хороших французов. А это госпожа Леруа, беженка из Арденн.

Ив (здоровается с тяжеловатой бретонской вежливостью). Сударыня!

Марсиаль. Тоже патриотка! Голова у нее не менее горяча, чем у провансальцев.

Жюло (сейчас же откликается с большой сердечностью и дружески, без всякой развязности). Сударыня!

(Моряки пожимают руку Алисе.)

Ив. А пока что, лейтенант, нас, с вашего разрешения, здорово провели.

Марсиаль. Меня тоже.

Жюло (показывает на стенной календарь). Сегодня у нас двадцать шестое... Нельзя сказать, чтобы они проспали две недели... По целым дням подбрасывали к нам в тюрьму — с эскадры, с фортов! Пятьсот моряков и артилле-

ристов очутились в этих поганных камерах. Лучшие при этом! Все настоящие ребята!

Ив (обескуражен). Придется все начинать сначала.

Луиза (горько). С кем? Какими средствами?

Кокбэр. Ни капли горячего в цистернах! Девять кораблей с пустыми трюмами, с разобранными машинами...

Алиса. Орудия списаны на берег...

Луиза. Среди рабочих Арсенала тоже самое. Среди самых активных.

Леокади. Как ты, например, бедная Лулу.

Ив. Ну, она-то не совсем случайная жертва!

Луиза. Как же это назвать, если не изнею?

Марсиаль (Алисе по-секрету, весело). Вот вы все и узнали!

Жюло. А сверх этого, нечего топтаться на месте, надо действовать. И дело пойдет. Оно уже идет! Ведь и русским год тому назад было очень не легко. А как они выбрались!

Алиса (Марсиалю, улыбаясь). Уши француженки умеют слушать.

(Входят Патрис и Жежен в рабочих блузах.)

Сцена седьмая

Кокбэр, Леокади, Луиза, Алиса, Ив, Жюло, Марсиаль, Патрис, Жежен.

Жежен. Привет честной компании! Вот и мы!

Луиза. Как, Патрис? Вы здесь, в такое время?

Патрис. Выходит, что так! Пришла наша очередь!

Жежен. Полный расчет!

Алиса. Какая подлость!

Луиза (поблуднев). И вы тоже?

Жежен. Мерещится мне! Жюло? Ив? Руки выскочили из наручников!

Жюло. Как видишь, Жежен!

Ив. С головы до ног на воле.

Патрис. Очень горевали по поводу вас. Рад вас видеть друзья! (Искося смотрит на Марсиаля). Можно говорить?

Жюло. Лейтенант Фромануар.. Я тебе говорил о нем, Патрис... Это наш парень... с вашего разрешения, лейтенант.

Марсиаль. Пожалуйста! Лучшей рекомендации мне не надо.

Леокади. Значит, и вы, бедняги, прошли через это?

Жежен (сильно). Ну да, матушка Леокади! Все французы пройдут, пока им самим не надост, — вот тогда они покажут.

Патрис. Полицейские коровы! Вызвали нас в дирекцию. Подобралась там коллекция жуликов! Здорово напортили воздух. Хладнокровнейшим манером нам предложили отправляться в Германию, к Гитлеру! Подумайте только!

Жежен. Дали нам двадцать четыре часа, чтобы сложить пожитки и покинуть здешнее заведение.

Патрис. Кому-то что-то показалось «нежелательным». Чувствуешь, Лулу? Это я-то, Патрис, нежелателен!

Ив. Когда нас освободили из-под стражи, человек, который командует там, в морской тюрьме, предложил нам вступить в какой-то легион... эй, Жюло, как он назвал эту чортову перечницу, свой легион?

Жюло. Адмирал Руа основал легион, как он говорит, «чтоб воевать в Африке с англичанами».

Ив. Вот-вот! «Легион озера Чад», как они его называют, эти суки!

Жюло. Захохотали ему прямо в лицо. Он и не настаивал.

Жежен. Убеджен, что они еще замышляют какую-то грязную махинацию!

Кокбэр. А тут еще этот мозгляк, комендант порта, издал постановление, призыв к населению эвакуировать город.

Марсиаль. Лучший способ сеять панику!

Алиса. Вчера рассказывали, что итальянцы уже пытались врасплох захватить город.

Луиза. Захотелось взять реванш за то, что их высекли в России.

Патрис. Какое счастье, что существуют русские!

Луиза. Что бы это было, если бы не они!

Жюло. В скверные минуты вспоминаешь о них, и веселее на душе.

Жежен. Как они здорово колотят фрицев! От одной этой мысли мне становится теплей на сердце.

Жюло. Лейтенант, пока что мы с вами на свободе, надо кое-что предпринять. Это не годится, если ваш флот будет гнить на рейде и прямо из этой ловушки перейдет к бошам!

Жежен. Чорт бы их побрал! Вдруг какой-нибудь сволочной казус — чем мы на него ответим? Им удалось разгромить всю нашу организацию.

(Входит Мари-Жанна, следом за нею — пехотинец, грязный, пропыленный, в рваной форме, и Роже.)

Сцена восьмая

Те же. Мари-Жанна, солдат, Роже.

Марсиаль (показывая на вошедших). Смотрите, вот кто оживит нашу организацию.

Жюло. Один выбыл, десять на его место.

Ив. Лишь бы линия была верна.

Марсиаль (услышав это, оборачивается и говорит серьезно, мужественно и дружелюбно). Наша линия верна.

Патрис (Жюло). Хорошо разговаривает той мичман, Жюло! Погляди, как он будет действовать!

Жюло (Патрису). Работника узнаешь на работе. Патрис.

Марсиаль (берет за руку Мари-Жанну). Вот моя сестрица Мари-Жанна. Пускай она будет сестрой для всех нас. Она этого заслуживает.

Луиза (весело). Не надо столько слов, лейтенант. Дело уже сделано.

Марсиаль (удивлен). Вы знаете друг друга?

Луиза (смеется). Немного.

Мари-Жанна (весело). А ты думал, что нас надо знакомить?

Жюло (Мари-Жанне). Привет, товарищ! (Марсиалу). Вот уже целую получку, как мы работаем с вашей сестрицей.

Марсиаль (Мари-Жанне). Ах, ты, обманщица!

Мари-Жанна. Что же мне, дожидаться твоего разрешения?

Леокади. Друзья мои, вы ведь считаете себя неглупыми людьми, что же это вы собрались все в кучу, так что первый шпик, который войдет сюда, сразу сообразит, что это нивесть какие заговорщики. Помогите-ка мне накрыть столы по-хорошему, а Кокбэр поставит перед вами недопитые стаканчики, так, чтобы у вас был пристойный вид настоящих людей.

Жежен. Клянусь честью, вот золотые слова, мамаша Кокбэр!

(Они разлетаются, как стайка воробьев, и усаживаются за отдельные столики.)

Кокбэр (порывисто). Ты меня срамишь, Леокади! Чтобы я только разыгрывал гостеприимство! Перед патриотами! Да лучше я руку себе отрежу! Наступила очередь хозяина, это моя очередь, ей-богу, в честь Франции, в честь храбрых, которые сражаются за нее, и здесь, и там, и где бы там ни было!

Жежен. Да здравствует хозяин Кокбэр!

Жюло. Гип! Гип! Гип!

Жежен. Мы с Патрисом как будто играем в домино.

Жюло. А мы с Ивом — как будто в картишки!

Мари-Жанна. А для солдата, господин Кокбэр, необходим настоящий сэндвич, пожалуйста!

Леокади. Только без шума, друзья. (Во время последующих реплик Кокбэр прислуживает за отдельными столиками.)

Реплики перелетают через весь бар.)

Мари-Жанна. Я подобрала этого беднягу, когда он уже чуть было не попал в лапы жандармов. Он пришел из Монпелье.

(Общее волнение.)

Жежен. Из Монпелье? На своих на двоих?

(Солдат утвердительно кивает.)

Марсиаль (заинтересован). Вы принимали участие в деле 12 ноября?

(Солдат снова утвердительно кивает.)

Как же это произошло?

Солдат (медленно жует. Он говорит с известным усилием и тяжело, как молчаливый крестьянин. Все внимательно прислушиваются). Разбили на-голово. Очень просто. Сто бошей на одного. Только и было, что наши старые ружья с мобилизации. Да две жалких семидесятипятимиллиметровых... А у них танки. И все. Самолеты... Половина наших ребят отказалась идти. Говорят, — нет смысла дырывать себе кожу, если не знаешь, за кого и за что. (Молчание). Кончилось тем, что засели в виноградник. И всех оттуда выловили, как кроликов. (Молчание). Генерал хотел застрелиться. А сам попал в плен.

Жежен. Как звать твоего генерала?

Солдат. Гассиньи. Генерал Гассиньи. Марсиаль. Петэн предаст его военному суду.

Жюло. Зачем же ты попал сюда, в это осеннее гнездо, несчастный голыш?

Солдат. Шел в ту сторону, что не окупирована, где нет бошей.

Алиса. У тебя же есть своя деревня, солдатик, отец с матерью, ферма...

Солдат. Там боши. (Одушевляется, не теряя при этом могучей и таинственной крестьянской медлительности.) Вы и не знаете, что делают боши. И что это за народ! Я провел несколько дней, прятался в квартале Старого Порта в Марселе. Вот послушался рассказов!

Жежен. Каких рассказов? О чем рассказов, голыш?

Ив. Дай ему выложить по порядку.

Солдат. Рассказов насчет бошей. Ведь Марсель полон всякими беженцами. Там и итальянцы, и испанцы, и австрийцы, и негры, и эльзасцы, и французы с севера, и моряки торгового флота, и арабы... Храбрые ребята, весь этот народ. У вас тут тоже храбрые ребята.

Кокбэр (после того, как он поднес угощение каждому, возвращается за свою стойку. Говорит вполголоса, конспиративным тоном и подмигнув). Эй, ребята! За Францию, ребята! За де-Голля!

Марсиаль (так же). И за Красную Армию!

(Все пьют в молчании.)

Солдат (внезапно, следуя своим мыслям). Вы тут не представляете себе, какая беда во всей Франции и что такое боши. В Клермон-Ферране они взяли приступом казармы еще до побудки, за-

бросали коридор гранатами и вышвырнули безоружных ребят в окно. В Лионе собрали всех ребят, вывели их во двор, а когда ребята вернулись, внутри не оказалось ни чемоданов, ни постельного белья, ни сырной корки на кухне, прямо скажешь, что это крысы все подчистили. И на складах нечего беречь от моли. Нечего беречь! В Марселе собрали всех офицеров, выстроили их перед орудиями: сначала разоружили, а потом немецкий полковник принес знамя полка, и он на глазах у всех вытер знаменем сапоги. Я вам скажу, это не цивилизованный народ. Это выродки! Да, выродки.

Мари-Жанна (сквозь зубы). За все заплатят! За все заплатят!

Марсиаль. Что же говорит военный министр в Виши, Бриду? Ведь он предвидел все и ни одному гарнизону не сделал предупреждения, не отдал приказа.

Жежен. За все заплатят, лейтенант, по всем распискам и счетам!

Леокади (поднимается). Прежде всего надо сжечь эти несчастные солдатские лохмотья. Идем за мной, дружище. Там наверху найдется, во что тебя одеть.

Солдат (идет за нею). И здесь, как и в Марселе, — везде есть хорошие люди! (Уходит вслед за Леокади.)

Сцена девятая

Те же без Леокади и солдата.

Патрис. А теперь, друзья, за работу! (Общее внимание.)

Марсиаль (Роже). Ну, дружок, тебе надо найти своих приятелей-лицеистов и преподавателей, которые работают с вами. Передай вот что...

(Тихо входит инспектор полиции. Молчание. Игроки в карты и в домино погружены в игру. Остальные — в чтение газет.)

Сцена десятая

Те же и полицейский инспектор.

(Инспектор лениво пересекает бар. Облокачивается на стойку, вздыхает. Кокбэр ставит перед ним стакан и откупоривает бутылку.)

Жюло. Двадцать два!

Жежен. Пустышка!

Ив. Тройка пик!

ЗАНАВЕС

Конец третьей картины

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Номер в Тулонской гостинице.

Сцена первая

Фон-Засс, фон-Грунер, Алиса (Фон-Засс и фон-Грунер в штатском платье. Фон-Засс за столом, делает заметки в блок-ноте.)

Засс. Итак, кто же возглавляет заговор?

Алиса. Мичман Фромануар.

Засс. Имя?

Алиса. Марсиаль.

Засс. Характеристика?

Алиса. Молод. Экзальтирован. Чист. При том благоразумен. Способен на известную хитрость.

Засс. Можно подкупить?

Алиса. Нет. Неподкупен.

Грунер. Парсифаль?

Алиса. Уже надший.

Грунер. Падший?
 Засс. Да. (Показывает на Алису.) С нею. Продолжим: честолюбив?
 Алиса. Пожалуй!
 Засс (пристально глядя на нее). Кто же занимается им персонально?
 Алиса. Эту часть поручения я оставила за собой!
 Засс (саркастически и злобно). Трудно же часть!
 Алиса (бесстрастно). Работа как работа!
 Засс (холодно). Берегитесь!
 Алиса (невозмутимо). Могу я спросить господина адмирала, что под этим подразумевается?
 Засс. Берегитесь чувств.
 Алиса (презрительно). Это было бы в первый раз...
 Засс. Каждый разведчик, начиная играть...
 Алиса. Эти инструкции мне хорошо известны...
 Засс. Прекратить служить у нас — значит, получить билет немедленно, билет безвозвратный.
 Алиса. Я не ребенок.
 Засс. Продолжим. Итак, — участники заговора?..
 Алиса. Слушаюсь. Сообщники имеются во всех экипажах, в Арсенале и в фортах, среди молодежи и среди других слоев населения.
 Засс. Можете дать списки?
 Алиса. В скором времени.
 Засс. На нашем языке «в скором времени» всегда означает «слишком поздно».
 (Алиса молчит.)
 Грунер. Приблизительно.
 (Алиса молчит.)
 Ответа нет?
 Алиса (ни разу не взглянув на него). Правило службы: отвечать только начальнику, либо по его приказу.
 Грунер. Очень хорошо. Отлично. Я сделал проверку.
 Засс. Отец мичмана? Адмирал?
 Алиса. Принадлежит к числу людей, которые соглашаются с последним из говорящих.
 Засс. Кто же у него сейчас последний?
 Алиса. Это должно быть известно господину адмиралу...
 Засс. Влияние сына на отца?
 Алиса (презрительно). Старая французская семья: сердечность, сантименты...
 Засс. А сестра?
 Алиса. Очень опасна. Гораздо сильнее брата. Это иступленная. Она отравлена их «национальным объединением».
 Засс. Цель движения?
 Алиса. Принудить французский генеральный штаб предоставить флот англичанам.
 Засс. Фэрма пропаганды?

Алиса. Пока ребяческая. Серьезная организация отсутствует.
 Засс (презрительно). Французская работа!
 Грунер. Если позволите вмешаться: перспективы?
 Засс. Отвечайте, госпожа Гиддинс.
 Алиса. По моему разумению, никаких. Сентиментальная болтовня. Воздушные замки.
 Грунер. Возможно ли сопротивление при известном стечении обстоятельств?
 Алиса. Думаю, что нет.
 Грунер. Это существенно.
 Засс. Тем не менее надо задуть движение еще в зародыше. Что вы для этого предпринимаете?
 Алиса. Мичман Фромануар и его непосредственное окружение, его агитаторы, оставлены в покое. Они служат нам приманкой. Французская полиция следит за моей работой и время от времени накрывает подозрительных.
 Засс. Мне нужны они все — и без проволочек. Устраивайте, как знаете.
 Алиса. Будет сделано.
 Засс. Ваши сотрудицы, где они?
 Алиса. Можно разрешить им войти? (По знаку фон-Засса она открывает дверь и зовет.) Бригада номер один!

Сцена вторая

Те же, Грета, Труда, Мина.
 (Две из женщин молоды и милостивы. Одна — девица из пивной, другая — нечто вроде элегантной дамы полусвета.
 Третья — почтенная буржуазка.)
 Алиса. Бригада номер один!
 Засс. Рапорт!
 Грета. Номер 141. Грета.
 Засс. Специальность?
 Грета. Ужины и танцы в кафе резервистов.
 Труда. Номер 213. Труда. Девица из пивной у Менелика.
 Мина. Номер 60. Мина. Жена офицера-летчика, скрывшегося в армию де-Голля.
 (Все три отдают по-солдатски честь.)
 Грунер. Поздравляю! По внешности, по костюму... по типажу первоклассно.
 Засс. Номер 141.
 Грета. Произведена и закончена слежка за одиннадцатью офицерами эскадры и двадцатью семью жадиточными обывателями города. Заведено пять дел.
 Засс. Арестовано?
 Алиса. Пятеро.
 Засс. Мы еще вернемся к ним. Номер 213.
 Труда. Клиентура среди унтер-офицеров, моряков, коммивояжеров, отпрысков известных фамилий. Агитируют всю. Заведено двадцать восемь дел.
 Засс. Арестовано?
 Алиса. Двадцать три человека.

З а с с. Откуда эта разница?

А л и с а. Трое отсутствуют, успели покинуть город. Но дано знать в Гестапо.

З а с с. Номер 80.

М и н а. Я посетила квартиры в поисках комнаты и с некоторых пор живу на полном пансионе в семье — на улице Пико. Заведено тридцать одно дело.

А л и с а. Арестован тридцать один человек.

З а с с. Пусть войдут остальные бригады. Я дам общие инструкции.

А л и с а (открывает дверь и зовет). Бригады номера от двух до семи!

ЗАНАВЕС

Конец четвертой картины

КАРТИНА ПЯТАЯ

Там же, где вторая картина. Ночь. Слабый электрический свет, как в затемненных городах.

Сцена первая

(Входят Жожо, Луиза, с ними солдат. Штатский костюм заметно широк ему.)

Ж о ж о (взволнованно). Понимаешь, этот малый Роже говорит мне: «Проводи этого парня и спрячь хорошенько!» Привожу его к себе, и что вижу? Шпион у моих дверей. Кто же это мог нас выдать? Верь моим словам: та шлюха... ей нельзя доверять.

Л у и з а. Кто? Алиса?

Ж о ж о. Ваш лейтенант помешался на ней. Она дорого нам обойдется! Кто нас выдал, спрашиваю я тебя? Так вот, вижу у шпика, и тихонько поворачиваю назад, а уж мой бедняга еле плетется, спотыкается на каждом шагу. Иду к большой Амели, — она-то девушка верная, чиста, как стёклышко! А у нее гость, не может принять моего солдата. Вот нам и приходится гулять по улицам, да молить Пречистую Деву, чтобы не повстречал нас патруль.

С о л д а т (опустился на край скамьи, наполовину спит. Хрипло). Который час?

Ж о ж о. Мне-то откуда знать? Мои часы давно испорчены.

Л у и з а (посмотрев на свои часы). Скоро четыре часа.

Ж о ж о (мягко). Хочешь есть, бедняга? Хочешь есть и спать?

С о л д а т (зевая). Ладно уж. Раньше я хуже голодал, чем сейчас... и спать больше хотел... (Засыпает.) (В то же мгновение возникает и постепенно становится явственным далекое глухое грохотанье.)

Л у и з а (беспокойно). Что это?

Ж о ж о. Не понимаю. Что это может быть? Эй! (трясет солдата). Смотри-ка, он заснул! (Совершенно умилилась.) Эй, ты ведь разбираешься в военных штуках... Что это там такое, слышишь?

С о л д а т (зевая). А мне откуда знать? Это... (слушает). Это танки... Танки и самолеты, тяжелые. (Опять засыпает.)

Л у и з а. Танки. Самолеты. Так значит... Так значит, они вошли.

(Страшное гудение тяжелых бомбардировщиков на бреющем полете нарастает, покрывая далекий и монотонный грохот танков, проходит над самой сценой и удаляется по направлению к порту. Вдали несколько глухих взрывов.)

Л у и з а (сбрасывает шаль с головы, почти крича). Они! Подлецы! Еще раз мы преданы! Они отдали наш флот!

Ж о ж о. Что же это такое? Они бомбят корабли...

Л у и з а (в отчаянии). Бомбят наш флот! Нельзя оставаться здесь!

Ж о ж о. Здесь боши! Эй, проснись, солдатики!

Л у и з а (лихорадочно). Нельзя ждать здесь. Надо присоединиться к остальным! (Вдалеке одинокий, без продолжения, сухой треск орудий.)

С о л д а т (просыпаясь). Ну, что там еще?

Ж о ж о. Еще спрашивает! Уши тебе склеило, что ли, или совсем одурел! Боши, говорят тебе! Боши сюда вошли!

Л у и з а. Загнали, как крыс в крысоловку!

(Еще один глухой и далекий взрыв. С этого момента возникают крики, призывы, гул просыпающегося города. Очень далекий звук труб, повторенный где-то еще дальше. Все это аккомпанирует последним репликам.)

С о л д а т (вскакивает на ноги). Боши! Чорт бы их побрал!

Л у и з а. Идем! Идем!

Ж о ж о (порывисто). Ага! Все я теперь поняла! Эта женщина, Лулу, эта девка, — понимаешь! — этот навоз — немецкая шпионка!

(Более близкий и очень короткий орудинный шквал. Все трое быстро уходят.)

ЗАНАВЕС

Конец пятой картины

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Рабочий кабинет адмирала Фромануара, — так же, как и в начале пьесы. Ночь.

Сцена первая

Адмирал Фромануар

(Звуки, сопровождающие конец предыдущей картины, не прекратились, они продолжают нарастать, создавая впечатление неумолимой мощи. Еще до открытия занавеса слышен сумасшедший звонок телефона. Комнату слабо освещает единственный ночник.)

Фромануар (полураздетый на ночь, быстро выходит из своей спальни, останавливается на несколько секунд, чтобы прислушаться, и подбегает к телефону. Звонок прекращается.) Алло! Кто у телефона? Да... Я слушаю. Нападение на эскадру? Бомбардировщики? Надо было этого ждать!.. Чьи? Английские и американские?.. (До этой минуты он говорил спокойно. Голос невольно повышается, как только он услышал ответ на последний вопрос). Как? Что вы говорите? Немцы? Но это невозможно! Невозм... Невероятно!. Значит, нас обманули!.. Немедленно бить тревогу на всех кораблях! Открыть огонь по всем самолетам над портом и рейдом!

(Звонит второй телефон.)

Нет, не наблюдать! Исполнить! Немедленно! Понятно? (Вешает первую трубку, берет вторую, звон прекращается.) Да, это адмирал Фром... Как? Занята запретная зона?.. Колонны танков? Немецких?.. Нападение на город?.. Бой на улице?.. Первые танки неприятеля на Кронштадтской набережной?.. Форты взорваны... (Звонит еще один телефон.) Хорошо! Держите меня в курсе событий. (Берет третью трубку.) Контрадмирал Базир на борту? Хорошо. Сейчас же проводите ко мне. (Вешает трубку, подходит к стене, зажигает весь свет. Видно, что он постарел, изнурен. Подходит к негориаемому шкафу, открывает его, вытаскивает оттуда папку, вытряхивает большой запечатанный конверт. Вскрывает его и, быстро пробежав глазами написанное, одобрительно кивает. Подымает глаза на портрет Маршала, лицо его морщится. Тут же подходит к раме и поворачивает ее лицом к стене. Проводит рукой по щекам. — они дергаются, мокрые от пота. Он еще раз перечитывает инструкцию из секретного шкафа, вздрагивает, как от ледяного озноба, смотрит мгновение на портреты своих, решительно подходит к первому телефону и начинает говорить. Сейчас голос его становится спокойным и твердым.) Это адмирал Фромануар...

(Стучат. Он кричит.)

Бойдите! (Снова говорит в трубку.)

(Мороз-эсестовой вводит Базира, маслэнство улыбающегося и веселого. Гул танков и самолетов нарастает. Ружейные и оружейные выстрелы не прекращаются.)

Сцена вторая

Фромануар, Базир.

(Продолжая говорить по телефону, Фромануар жестом приветствует Базира и приглашает его сесть.)

Фромануар. Говорит адмирал Фромануар. На основании полномочий, предоставленных мне главой государства, и на основании особого министерского указа от первого сентября 1939 года, которым предписывается командующему флотом топить свои корабли, дабы они не попали в руки неприятеля, приказываю произвести...

Базир (вскакивает со стула и подбегает к Фромануару). Адмирал!.. Адмирал!..

Фромануар (возвышает голос)... Приказываю немедленно потопить все корабли, состоящие под моим командованием... Спустить на берег все экипажи... На борту остаются только бригады по взрыву судов...

Базир (цепляется за руку Фромануара и пытается оторвать трубку от его рта). Адмирал! Я не разрешаю... Мои инструкции... Не разрешаю...

Фромануар (сильно отталкивает его свободной рукой и продолжает говорить в телефон). В случае попытки захвата корабля или абордажа со стороны неприятеля, сопротивляться до последнего матроса и взорвать себя вместе с нападающими, — но флаги не спускать!

Базир (старается перекричать). Адмирал!.. Это преступление против Франции! Вы ответите перед Маршалом!

Фромануар (громовым голосом). Понятно? Сейчас же передать на все корабли по телефону, по радио и световы, ми сигналами, и донести мне...

Базир (давась от ужаса). Адмирал! Адмирал!

Фромануар (в телефон). Доставить мне, как только будет готово, стенограмму приказа для подписи... (вешает телефонную трубку, оборачивается и подходит к Базиру, который в страхе отступает). А теперь поговорим... (презрительно). Базир!

Базир. Адмирал, немедленно отмените приказ о потоплении кораблей!

Фромануар. Кто вам разрешил? Что это за тон?

Базир. Я имею право говорить так, как говорю! (Лихорадочно вытаскивает из кармана бумагу.) Официальное письмо министра, подписанное также председателем Лавалем. Я привез вам формальный приказ Маршала не оказывать ни малейшего сопротивления немцам. Сейчас же позвоните. Отмените приказ, пока еще не поздно!

Фромануар (очень спокойно). Покажите-ка письмо. (Берет письмо, садится

за стол, вооружается очками и бесконечно долго читает документ).

Ба з и р (льстиво изгибаясь). Адмирал!.. В такой ситуации секунды — это века! Министр, господин Лаваль... Маршал... все трое поручили мне сообщить вам свою совершенно ясную волю... Ради самого господина, позвольте мне позвонить...

Ф р о м а н у а р (угрожающе). Ба з и р, если вы тронете телефон хоть пальцем...

(Опять волна самолетов и взрывы.)
К тому же — вот они, ваши приятели. Они упрощают вопрос.

Ба з и р. Адмирал, во имя Маршала, которого вы чтите, которого мы оба...

Ф р о м а н у а р. Французского правительства больше нет. Есть Виши, и в нем немцы. А Маршал нас обманул.

Ба з и р (яростно). Ах, вот как! Вы сбросили маску! Господин Лаваль справедливо подозревал ваши чувства... Отсюда и письмо, привезенное мною... (Сильно) Теперь я здесь командую! (Подходит к телефону.)

Ф р о м а н у а р (поднимается, складывает письмо и возвращает его Базиру). В полном порядке. Помните «Тартюфа», господин Ба з и р? «Мне дом принадлежит, а вы ступайте вон!» Только, мошенник, слишком поздно. Слушай, предатель. Хорошоенько слушай!

(Воздух разорван взрывом, достаточно близким, отблеск его освещает комнату.) Это «Страсбург». Остальное не за горами. (Множество других взрывов. Один сильный и очень близкий, другие дальше и глуше. Врывается нестройное пение «Марсельезы».)

Теперь можешь звонить, кому угодно! (Иронически показывает ему на телефон). Но выслушай еще вот что, ничтожество. Вся морская мощь Франции, двести миллиардов, народного достоинства, сотни храбрых моряков пойдут ко дну. Почему? Потому, что я, адмирал Фромануар, был настолько глуп, что не прислушался к голосу моряков, к голосу

собственных детей... и поверил слову чести Маршала Франции, Филиппа Петэна... Эх, все становится ясным сейчас: и знаменитое «духовное возрождение» Маршала, и трогательные «нравственные страдания», и конфиденциальные послания!.. все это грубая, пошлая ложь!

Ба з и р. Я не позволю оскорблять Маршала!

Ф р о м а н у а р. Да ну, приятель, какое там оскорбление! Для таких людей оскорбление слишком высокая честь. Лаваль, Петэн — два браконьера. В открытую соскребают остатки. Один забирает к себе в невод рыбину покрупнее, другой помельче — вот и всё. Если бы я не был так наивен, стояли бы мы сегодня в Алжире, а страна сохранила бы свой флот.

(Опять взрывы. Хор становится все мощнее.)

Слушай, это «Марсельеза». Гимн Республики... Сегодня он принадлежит Франции. Снова и снова! Пеньем своим, гибелью своей они амнистируют адмирала. Вот почему вопреки мне, вопреки тебе, Франция будет спасена. Из бездны глубочайшего позора поднимается честь Франции. «День нашей славы настает». (Хватает его за шиворот.) Пой, Ба з и р, пой тоже! Пой и ты! (И подхватывает во весь голос.)

Вперед, сыны отчизны милой!

День нашей славы настает!

К нам тирания черной силой

С кровавым знаменем идет...

К оружию, граждане!..

(Ослепительный блеск, страшный взрыв, после которого свет гаснет.)

ЗАНАВЕС

Конец шестой картины

(Вплоть до открытия занавеса не прекращаются шум битвы, грохот взрывов, далекие трубы, гул самолетов, отдаленное пенье «Марсельезы».)

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Кронштадтская набережная в Тулоне, около бара Кокбэр. Ночь. Под отблеском ближних и дальних взрывов мгновеньями видны военные корабли, стреляющие из всех орудий. На втором плане — машина крейсера.

Сцена первая

Патрис, Жюло, Ив.

(Выкатив орудийную батарею, наполовину укрылись с ней за рыбной лавчонкой и ждут в полной неподвижности.)

Патрис. Слышишь, как моряки поют «Марсельезу»?

Ив. По-твоему, с какой стороны придут боши?

(Вбегает Жежен.)

Сцена вторая

Те же и Жежен.

Жежен (возбужденно). Они уже на

площади Святого Рока и на площади Свободы. Другая колонна вошла через Нозль-Блаш. Форт Креста защищается и стреляет. Форт Малька взорван.

Жюло (спокойно). Через Род они идут на Мурильон.

Ив. Не пройдет и пяти минут, они будут здесь.

Патрис (спокойно). Все готово?

Ив (спокойно). Все.

(Внутри бара зажигают свет, освещающий набережную. Дверь открывается и выходит Кокбэр без пиджака, он не-

сет корзинку с бутылками. Следом за ним Леокади, в капоте и папилютках.)

Сцена третья

Те же, Кокбэр, Леокади.

Жежен. Ага, папаша Кокбэр!

Патрис. Уходите, магушка! Тут вам не место. Папаша Кокбэр, уведите-ка свою супругу.

Кокбэр. Да я же без конца ей твержу то же самое. Попробуйте убедить в чем-нибудь женщину.

Леокади. Лучше бы ты предложил им выпить, бедняги идут драться на смерть.

Кокбэр. Прошу, друзья! Это лучшее Божоле в моем погребе... Так оно не достанется бошам!

Патрис. Молодец Кокбэр!

Леокади. Прошу, друзья! Прошу вас, выпейте перед боем.

(Снимает с подноса стаканы и раздает их. Кокбэр разливает из бутылок.)

Кокбэр. Последнее из запаса, друзья! Настоящее французское солнце, чтобы согреть душу!

Жежен. Ваше здоровье, папаша Кокбэр!

(Быстро входят Луиза, Жожо и солдат.)

Сцена четвертая

(Те же, Луиза, Жожо, солдат)

Луиза (задыхается). А я-то верила, что они никогда не придут!

Жюло. Что нового?

Луиза. Боши повсюду, — на Страсбургском бульваре, на Военной улице, у Итальянских ворот!

Солдат. Оружие? Здорово! Знакомая игрушка! Ну-ка, пустите. Теперь моя очередь, ребята. (Устраивается у орудия.) Кто меня снабдит боеприпасами?

Ив. Я.

Солдат. Снаряды-то есть у тебя?

Жюло (выдвигает ящик). Вот они.

Солдат. И это все? Небогато!

Жожо. Дай-ка мне!

Солдат. Тебе? Зачем это?

Жожо. Да не вмешивайся, студень! Это мое дело.

Солдат. Дай ей гранату.

Луиза. И мне тоже.

Кокбэр. Объясните мне, как действовать!

Патрис. Да очень просто. Сначала так, а потом вот так, — и бросай, не теряя времени. Как русские, под Сталинградом.

Кокбэр. Понятно.

Жюло (распределив гранаты). Все. Больше нет.

Солдат. Сколько у тебя приготовлено снарядов?

Ив. Тебе хватит. Но вот ручных гранат маловато.

Патрис. Главное, бросать, не теряя времени. А то она взорвется в руках. (Вбегают Мари-Жанна и Роже в сопровождении нескольких юношей. У каждого из них за плечами тяжело нагруженный туристский мешок.)

Сцена пятая

Те же, Мари-Жанна, Роже, несколько лицейстов.

Мари-Жанна. Как я боялась, что опоздаю!

Жюло. Мари-Жанна! Мари-Жанна!

Патрис. Мари-Жанна!

Луиза. Мари-Жанна! Как хорошо, что вы здесь!

(Теснятся около нее и пожимают ей руки.)

Мари-Жанна. Привет, Патрис! Привет, Луиза! Привет всем! Не задушите меня! Здравствуйте, товарищи! Разве не среди вас мое место? Неужели вы сомневались?

Леокади. Здравствуй, дочка! Не время заниматься угрозами.

Мари-Жанна. Ну, надо спешить! Куда бы мне примоститься с пунктом скорой помощи?

Кокбэр. Зайдите в бар, Мари-Жанна. Там вы найдете горячую воду, — я вскипятил для кофе.

Мари-Жанна (входит в бар). Спасибо.

Леокади. Сейчас я приду к вам.

Сцена шестая

Те же, кроме Мари-Жанны.

Роже. Со мной несколько ребят из лицея.

Патрис (иронизирует). Уж не в экскурсию ли собрались молодые люди с рюкзаками?

Роже. А ну-ка, покажем, что у нас в мешках!

(Они сбрасывают и развязывают мешки.)

Жюло. Гранаты!

Жежен. Ручные гранаты!

Солдат. Здорово! В самый раз!

Роже. Да, это гранаты из небольшого немецкого склада по дороге в Бриньель.

Патрис. Когда же это вы ухитрились? Никто и не знал...

Роже (краснеет). На прошлой неделе... Да стоило ли рассказывать! Это так, упреждением лицейстов, для подготовки...

Жюло. Правильно, так и надо работать.

Леокади. Вот вам и молкососы!

Солдат. Не оставайтесь на мостовой. Вас подстрелят, как уток. Ты, длинный, встань за выступ, а ты, сюда, под арку, а вы двое с мешком — сюда. Хозяин с хозяйкой — немедленно в бар, заберите запасные гранаты.

(Взрыв. Очень далекое пенье «Марсельезы».)

Жюло. Слышите? Должно быть, это «Дюплэ» взлетел на воздух.

Ив. А это «Верден»!

Жежен. Слышите «Марсельезу»?

Леокади (раздает вновь пришедшим стаканы). Пейте, молодцы! Пейте ребята! (Входит строевым шагом взвод моряков, в боевом снаряжении, с ними Марсиаль, тоже в боевом снаряжении, в руке у него пистолет, в другой — электрический фонарь.)

Сцена седьмая

Те же, Марсиаль, моряки!

Марсиаль. Взвод! Смирно!.. Вольно! (Взвод выстраивается в глубине.)

Жюло. Ага, вот и лейтенант!

Марсиаль. Вы здесь, друзья? Отлично. Так я и думал. Мы защищаем главный вход в Арсенал. Делаешь, что можешь. Если не сможете держаться, подавайтесь к нам.

Ив. Что нового, лейтенант?

Марсиаль. Триста бошей поднялись на борт «Кольбера», но корабль взлетел на воздух вместе с ними. Ни один не спасся.

Жожо. Ого! Это здорово!

Леокади. Как тяжко уничтожать эти чудесные корабли, да еще самим, в ночной темноте!

Марсиаль. Куда более лестно драться в открытую, рядом с союзниками!

Жежен. Делать нечего! Выбора у нас нет... Где стоишь, там и дерешься, лейтенант!

Марсиаль. Вот мы так и поступаем. В этом вся наша доблесть. (Замечает Роже в луче своего фонарика.) И ты здесь лицеистик? Кислую физиономию соорил бы твой папаша-ювелир, увидав тебя с нами. Ну, что ж! Молодец! Значит, вот она, «встреча воинов»!

Роже. Тут со мной несколько лицеистов из нашей группы. Подбросили вам немного гранат.

Марсиаль. Вот это замечательно. (Направляется к морякам.)

Луиза. Желаю удачи, лейтенант!

Кокбэр. Да здравствует боевой флот! Леокади. Предложил бы им выпить, Кокбэр!

Марсиаль. Некогда, матушка, спасибо. После боя... если придется.

Леокади. Придется!

(Из бара выходит Мари-Жанна.)

Сцена восьмая

Те же, Мари-Жанна.

Марсиаль (уже готов уйти, но заметил сестру). Мари-Жанна!

Мари-Жанна. Мальчик! (Бегут друг к другу и обнимаются.)

Марсиаль. Что ты здесь делаешь?

Мари-Жанна. А ты?

Марсиаль. Исполняю свой долг.

Мари-Жанна. Я тоже.

Марсиаль. Правильно. Храни тебя бог, дорогая. Увидимся ли?

Мари-Жанна. Желаю удачи, Марсиаль! Ну, ступай, голубчик, прощай, дорогой! Иди!

Солдат. Прошу вас войти в кабачок, хозяин, ясно вам сказано?

Марсиаль. Прощайте, друзья! Желаю вам удачи! (Морякам.) Налево кругом!

(Марсиаль и его взвод быстро уходят.)

Кокбэр. Слышала приказ, Леокади? Ну, идем!

(Кокбэр и Леокади входят в бар. Дверь туда открыта и происходящее внутри все время видно.)

Сцена девятая

Патрис, Жежен, Жюло, Ив, солдат, Роже, Мари-Жанна, Луиза, Жожо, лицеисты.

Патрис. Женщины, тоже извольте в бар!

Жожо. Вот еще! Ты кто такой, чтобы здесь командовать? Раз мой лицеист тут, значит, мое место рядом с ним.

Патрис. Лулу, прошу тебя!

Луиза. Отсюда лучше бросать гранаты.

(Приближается гул танков.)

Жежен. Вот они! Внимание!

Патрис. Погугите свет в баре! Мари-Жанна, войдите тоже внутрь.

(Свет в баре тухнет. Темнота неполная, благодаря ответам пожара на рейде. Мари-Жанна спряталась за выступом, образованным входом в бар.)

Солдат. Спокойно. Пускай они поближе подойдут, тогда и начнем действовать!

(Гул танков вдруг стихает. Появляется несколько немецких солдат-пехотинцев, с пулеметами.)

Сцена десятая

Те же, немецкие солдаты.

(Немцы благоразумно крадутся вдоль стен. Со стороны защитников полное молчание.)

Солдат. Огони!

(Орудийный выстрел. Брошено несколько гранат. В темноте стоны.)

Немецкие голоса. *Donnerwetter! Achtung!*

(Стук сапогов все дальше и дальше. Раненные немцы ползут в беспорядке, ища прикрытия; стоны.)

Патрис. Полагаю, что полегло их порядочно.

Солдат. Следует ответный удар, внимание!

(Из-за кулис на защитников падает сильный луч электрического света. Видны два немецких трупа.)

Солдат. Лечь на землю!

Немецкий голос. *Feuer!*

(Треск немецких пулеметов. Ответ французского орудия и гранат. Крики сматывания. Луч исчезает.)

Жюло. Слышите? Должно быть, это «Дюплэ» взлетел на воздух.

Ив. А это «Верден!»

Жежен. Слышите «Марсельезу»?

Леокади (раздает вновь пришедшим стаканы). Пейте, молодцы! Пейте ребята! (Входит строевым шагом взвод моряков, в боевом снаряжении, с ними Марсиаль, тоже в боевом снаряжении, в руке у него пистолет, в другой — электрический фонарь.)

Сцена седьмая

Те же, Марсиаль, моряки!

Марсиаль. Взвод! Смирно!.. Вольно! (Взвод выстраивается в глубине.)

Жюло. Ага, вот и лейтенант!

Марсиаль. Вы здесь, друзья? Отлично. Так я и думал. Мы защищаем главный вход в Арсенал. Делаешь, что можешь. Если не сможете держаться, подавайтесь к нам.

Ив. Что нового, лейтенант?

Марсиаль. Триста бошей поднялись на борт «Кольбера», но корабль взлетел на воздух вместе с ними. Ни один не спасся.

Жожо. Ого! Это здорово!

Леокади. Как тяжело уничтожать эти чудесные корабли, да еще самим, в ночной темноте!

Марсиаль. Куда более лестно драться в открытую, рядом с союзниками!

Жежен. Делать нечего! Выбора у нас нет... Где стоишь, там и дерешься, лейтенант!

Марсиаль. Вот мы так и поступаем. В этом вся наша доблесть. (Замечает Роже в луче своего фонарика.) И ты здесь лицеистик? Кислую физиономию соорил бы твой папаша-ювелир, увидав тебя с нами. Ну, что ж! Молодец! Значит, вот она, «встреча воинов»!

Роже. Тут со мной несколько лицеистов из нашей группы. Подбросили вам немного гранат.

Марсиаль. Вот это замечательно. (Направляется к морякам.)

Луиза. Желаю удачи, лейтенант!

Кокбэр. Да здравствует боевой флот! Леокади. Предложил бы им выпить, Кокбэр!

Марсиаль. Некогда, матушка, спасибо. После боя... если придется.

Леокади. Придется!

(Из бара выходит Мари-Жанна.)

Сцена восьмая

Те же, Мари-Жанна.

Марсиаль (уже готов уйти, но заметил сестру). Мари-Жанна!

Мари-Жанна. Мальчик! (Бегут друг к другу и обнимаются.)

Марсиаль. Что ты здесь делаешь?

Мари-Жанна. А ты?

Марсиаль. Исполняю свой долг.

Мари-Жанна. Я тоже.

Марсиаль. Правильно. Храни тебя бог, дорогая. Увидимся ли?

Мари-Жанна. Желаю удачи, Марсиаль! Ну, ступай, голубчик, прощай, дорогой! Иди!

Солдат. Прошу вас войти в кабачок, хозяин, ясно вам сказано?

Марсиаль. Прощайте, друзья! Желаю вам удачи! (Морякам.) Налево кругом!

(Марсиаль и его взвод быстро уходят.)

Кокбэр. Слыхала приказ, Леокади? Ну, идем!

(Кокбэр и Леокади входят в бар. Дверь туда открыта и происходящее внутри все время видно.)

Сцена девятая

Патрис, Жежен, Жюло, Ив, солдат, Роже, Мари-Жанна, Луиза, Жожо, лицеисты.

Патрис. Женщины, тоже извольте в бар!

Жожо. Вот еще! Ты кто такой, чтобы здесь командовать? Раз мой лицеист тут, значит, мое место рядом с ним.

Патрис. Лулу, прошу тебя!

Луиза. Отсюда лучше бросать гранаты.

(Приближается гул танков.)

Жежен. Вот они! Внимание!

Патрис. Потушите свет в баре! Мари-Жанна, войдите тоже внутрь.

(Свет в баре тухнет. Темнота неполная, благодаря отсветам пожара на рейде. Мари-Жанна спряталась за выступом, образованным входом в бар.)

Солдат. Спокойно. Пускай они поближе подойдут, тогда и начнем действовать!

(Гул танков вдруг стихает. Появляется несколько немецких солдат-пехотинцев, с пулеметами.)

Сцена десятая

Те же, немецкие солдаты.

(Немцы благообразно крадутся вдоль стен. Со стороны защитников полное молчание.)

Солдат. Огонь!

(Орудийный выстрел. Брошено несколько гранат. В темноте стоны.)

Немецкие голоса. *Donnerwetter! Achtung!*

(Стук сапогов все дальше и дальше. Раненные немцы ползут в беспорядке, ища прикрития; стоны.)

Патрис. Полагаю, что полегло их порядочно.

Солдат. Следует ответный удар, внимание!

(Из-за кулис на защитников падает сильный луч электрического света. Видны два немецких трупа.)

Солдат. Лечь на землю!

Немецкий голос. *Feuer!*

(Треск немецких пулеметов. Ответ французского орудия и гранат. Крики сматывания. Луч исчезает.)

Патрис. Все целы, ребята?

Солдат. Наверняка есть раненые.

Жожо (зовет). Роже, где ты?

Жюло. Да тише вы там!

Луиза. Тишина!

(Снова нарастающий и приближающийся гул немецких танков. Шарит прожектор из-за кулис. Французское орудие стреляет. Отблеск пожара все ярче.)

Солдат. Вот дьявол! По его броне только скользит!

(Вдруг показывается Роже. В руках у него связки гранат.)

Роже. Предоставьте его мне! Предоставьте мне танк. Он мой!

(Пересекает площадь, так и не пойманный прожектором. Стрельба из танка.)

Патрис. Молодчина мальчик!

Жожо. Роже! Роже! (вопль.)

(Грозный взрыв. Крик. Прожектор тухнет.)

Луиза. Сделал-таки! Добрался!

Жежен. Взорвал танк!

Жюло. Как в Мадриде!

Жожо. Роже!

Мари-Жанна (подбегает). Сейчас иду!

(Внезапно с другой стороны грохот другого приближающегося на полной скорости танка.)

Солдат. Обошли!

Патрис. Отступай, друзья! Соединимся у Арсенала!

Жюло. К Арсеналу!

Жожо. Роже! Роже! (Пронзительный вопль.)

Луиза. Их нельзя оставить...

Солдат. Назад! За мной! Поздно!

Голос Мари-Жанны. Я его нашла! Он еще жив!..

(Она снова показывается, несет Роже. Он без сознания. В тот момент, когда загорается прожектор нового танка, все остальные скрываются. Прожектор ярко освещает Мари-Жанну и Роже. Раздается пушечный выстрел. Ему, отвечает долгий крик. Мари-Жанна падает. Танк показывается из-за кулис и останавливается. Жожо, не последовавшая за своими товарищами и потерявшаяся за прикрытием, приближается к Мари-Жанне. В свою очередь Жожо тоже попадает в луч прожектора. В тот момент, когда она уже близко от тел, распростертых на земле, — из темноты вырастают Алиса и инспектор. Алиса, невидимая Жожо, показывает знаком на нее инспектору. Тот бросается к девушке, чтобы взять ее.)

Сцена одиннадцатая

Жожо, Алиса, инспектор; на земле — Мари-Жанна, Роже.

Жожо (защищаясь). Ага, вот и ты! Человек, которого всегда ждешь! Пусти меня!.. Роже!

(Инспектор ударил ее резиновой дубинкой. Девушка поникает. Алиса как бы режиссирует этой короткой сценой. Помо-

гает инспектору унести Жожо. Дверца танка остается открытой. Оттуда спускаются фон-Засс, Польверелли, фон-Грунер в полной форме. Среди общего молчания прежние звуки остаются.)

Сцена двенадцатая

Фон-Засс, Польверелли, фон-Грунер, Леокади.

(На земле бездыханные, в крови Мари-Жанна, Роже и несколько немецких солдат. Три офицера стоят рядом, с биноклями в руках, лицом к порту и силуэту огромного крейсера, который все более явственен в свете пляшущего и нарастающего непрерывного зарева. Леокади, крадучись, выходит из бара и приближается к распростертым Мари-Жанне и Роже.)

Польверелли (нервничая). Полагаю, что мы явились слишком поздно.

Засс. Кто же мог предвидеть такое сопротивление!

Грунер. Французские свиньи!.. Неисправимы!..

Польверелли. Однако вы полагались на заверения Лавала!..

Засс. И Лавала и Петэна!.. Приняты были все меры к тому, чтоб нам был предоставлен в сохранности весь французский флот!

Польверелли (в бешенстве). Провалилась еще одна наша комбинация!

Засс (свирепо). Довольно, господин Польверелли! Сказано вам: довольно!

Польверелли. Лаваль не может заставить повиноваться себе Генеральный штаб!

(Далекая вспышка. Глухой взрыв.)

Польверелли (бешеный крик). Еще один взлетел на воздух!

(Вдали с разных сторон возникает пение «Марсельезы». Оно разрастается вплоть до конца картины.)

Засс (грозит кулаком). За все заплатят! За все заплатят кровью и слезами! Гиммлер и Гестапо постараются прояснить нам эту картину!

Грунер (показывает на крейсер). Что это за крейсер?

Засс. Судя по силуэту, «Дюнкерк».

Грунер. Значит, еще не все потеряно. Полагаю, один из лучших у них...

Засс. Один из лучших кораблей в мире!

Польверелли (предельно возбужден). В таком случае, сейчас же на борт! Чего мы, собственно, ждем?

Засс (свистит в привешенный на груди свисток). Я тоже так полагаю. Но зачем из-за этого впадать в истерику.

(Входит Никнель в полной форме и застывает.)

Сцена тринадцатая

Те же, Никнель.

Засс. Немедленно найти вельбот, моторную лодку, все, что угодно, и доставить нас на борт «Дюнкерка».

(Лежади, склонившаяся над телями, приподнимает Роже, чтобы унести его в бар.)

Никнель. Приказание было предусмотрено. Лодка ждет с заведенным мотором.

Польверелли (рычит). Слишком поздно! Смотрите! Слишком поздно! «Дюнкерк» взорван!

(Медленно возникает зарево, и — как бы погребая «Дюнкерк», величественно закутаный дымом, — удваивается багря-

ная яркость пожара. Слышен глухой взрыв, подобный раскату грома. Все четыре офицера сначала оцепенели от неожиданности, но тут же впадают в бешенство, топая ногами, простирая руки к ускользающей от них добыче, завывают, кричат, разражаются немецкими и итальянскими проклятиями.)

Мощное, властное пение «Марсельезы».

ЗАНАВЕС

Конец второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Помещение Военно-морского суда в Тулоне. На стене календарь: 10 февраля 1943 года. В углу комнаты ширма. В окно: порт, рейд, город. Яркое солнце.

Сцена первая

Зигмунд, Зигфрид, Луиза, Жожо.

(Луиза и Жожо в ручных кандалах пригнаны рядом на стуле. Оба немца в крайнем возбуждении увиваются вокруг женщин, как мухи, липнувшие к куску говядины.)

Зигфрид (Жожо). Почему ты не хочешь быть милой со мной, с честным немецким солдатом Зигфридом?

Зигмунд (Луизе). О, если бы ты хотела быть ласковой со мной, с твоим маленьким нежным Зигмундом!

Зигфрид (Жожо). Я могу аккуратно вынуть документ из твоего дела, хорошенькая французская женщина!

Зигмунд (Луизе). Я могу быстро, быстро подготовить побег, моя маленькая французская дама!

Зигфрид. И тогда, о, ты увидишь, как мы заживем, ты и я! Ты будешь делать свое ремесло, я тебя — защищать, и мы оба — делиться, и, — ого! — ласкать друг друга!

Зигмунд. После войны мы оба вместе — в Южную Америку и там — ого! — красивые французские женщины много получают!

Жожо. Не подходи, стервец, нето получишь!

Зигфрид (смеется и неуклюже топчется вокруг нее). Когда ты такая злая, ты еще красивее, о!

Луиза. Лучше умереть, чем прикоснуться к тебе!

Зигмунд (смеется и приплясывает). Ой, ой, хорошо! Я читал в книге: раньше ненависть, — потом большая любовь!

(Жожо и Луиза отступают к стене, чтобы избежать прикосновений немцев, при этом стулья падают, и обе пленницы остаются стоять рядом, прижавшись к стене, лицом к лицу со своими мучителями.)

Жожо (вполголоса Луизе). Так не годится! Вот посмотри, как я его отделаю. Пусть только посмеет тронуть.

(Оба немца совещаются в углу, потом

снова подходят. Они тянутся к своим пленницам, жадно растопырив руки.)

Зигфрид. Хорошо! Мы понимаем. Вы желаете иметь серьезную гарантию...

Зигмунд. Мы вам даем все коммерческие ручательства!

Зигфрид (Жожо). Но прежде всего маленький аванс под контракт. (Хочет обнять ее.)

Жожо. На, получай! Мразь! Вот тебе! (Она изо всех сил бьет его ногой в низ живота. Зигфрид с воплем падает на пол, извиваясь от боли.)

Зигмунд (смертельно испугавшись). А, чертовка! (Подбегает к Зигфриду.) Не ори. Слышишь?

Жожо (Луизе). Ну, что? Видела?

Луиза. Здорово! Метко!

Зигмунд (взбешенный, подбегает к Луизе, замахивается). А вы... вы... французские суки, подождите только!

Зигфрид (на полу). Ой, ой, ой!

Луиза (Зигмунду). Попробуй подойди, скот!

(Зигмунд, испугавшись, что удар может быть повторен, вдруг останавливается в нерешительности.)

Жожо. Что, действует, сутенер?

Зигфрид. Ой, ой, ведьмы французские! Ох!

Зигмунд. Молчи, сказано молчи!

(Дверь резко открывается, входит лейтенант Никнель.)

Сцена вторая

Те же, лейтенант Никнель. (Зигмунд стоит навтыжку. Зигфрид все еще на полу, пытается привстать и отдать честь.)

Никнель. Что это? Что за шум? А, понимаю! (Медленно, угрожающим тоном.) Понимаю... Господа решили поразвлечься с французенками. (Вдруг заорал.) Встазь! (Зигфрид сразу оказывается на ногах, но все еще не может разогнуться. Вон отсюда!

(Оба стоят лицом к дверям. Никнель выталкивает их ударом сапога в зад.)

Чтобы я вас не видел, скоты!..

(Никнель закрывает за ними дверь, обе женщины в прежней позе стоят, прижавшись к стене.)

Н и к н е л ь. (направляясь к ним, развязно). Простите сударыни. Вы сами видите — это камье, никакого воспитания. Сейчас я все приведу в порядок. (Он поднимает стул.) Прошу вас, садитесь. (Они отказываются жестами.) Как вам будет угодно... (Садится верхом на стул.) Вы сейчас, надеюсь, убедитесь, что имеете дело со мной... с благородным человеком. (Он вынимает тонкий батистовый платочек с кружевами и обмахивается.) Вам нравится? (Показывает платок.) «Найден» в Париже... Сувенир! Сувенир! У меня их несколько дюжин... Хватит каждой из вас... Для начала. Слушайте внимательно. Меня давно привлекает одна идея, лучше сказать — мечта. Открыть дом... дом веселья. Хорошо поставленный. Есть подходящее место. Ваш лазурный берег... Как там упоительно! Как очаровательна ваша страна! Как она нравится нам, ваша страна!.. Шикарный дом, исключительно для наших высших чинов, для промышленников и администрации. Во главе мы могли бы поставить вас, вас обеих. Персонал только отборный. И вы, конечно, будете украшением. Такие очаровательные дамы! (Он целует кончики собственных пальцев и бросает игривый взгляд на Луизу.) Я даже придумал, как назвать этот дом наслаждений. Очаровательное, поэтическое название. Мы назовем его именем поэта, вашего знаменитого певца любви, Альфреда де-Мюссе. Не правда ли, прелестно? (Торжественным тоном.) Бордель имени Альфреда де-Мюссе... (Стараясь быть любезным.) В честь Франции. Вы курите? Простите, что я не предложил вам... К сожаленью, в тюрьме табаку не полагается. И такие прекрасные ручки в кандалах... Вы не поверите, как тяжело нам причинять вам неприятности. (Вынимает из золотого портсигара папиросу.) Очаровательная безделушка, как вы находите? (Вертит, любуется блеском.) Из массивного золота. «Найден» в Роттердаме... Сувенир! И у вас может быть такой! имеется полный чемодан. (Он пытается вставить папиросу в рот Луизе, Луиза брезгливо отворачивается.) Ну, ну, мадам! Мы так нервны? Все из-за тех болванов!

Ж о ж о (вполголоса Луизе). Так не годится... Смотри внимательно.

Н и к н е л ь (направляясь к Жожо). Вы, надеюсь, не откажетесь?
(Жожо с детской гримаской вытягивает губы трубочкой. Никнель смеется.)

Чудесно! Я так и знал! (Он вставляет ей в рот папиросу.) Хороший восточный табак... «Найдено» в Бухаресте... Полный

чемодан... Сувенир! (Он вытаскивает зажигалку.) А эта золотая зажигалка... Тоже недурна, не правда ли? «Найдена» в Варшаве. Полный чемодан! Сувенир! (Он дает ей закурить, и Жожо несколько раз затягивается. Он пожирает ее глазами, хочочет.) Хорошенькая, хорошенькая французская мадам! (Вдруг глухим голосом.) Как ты меня волнуешь! (Хочет поцеловать ее.)

(Она резко поворачивается в его сторону и вдруг тычет горящим концом папиросы ему в лицо. Он обжигает себе губы, отскакивает назад и торопливо подносит платок к губам.) Вой.)

А-а-а!.. Она обожгла меня. Шлюха тулонская! (Хочет броситься на нее. Жожо выплевывает папиросу ему в лицо. Он снова отступает.) Заплатишь мне за это, мерзавка! Обе заплатите за это! (С злобой иронией). Сми, видите ли, гордые, французские женщины... (Он хватается за стул, левой рукой прижимая платок к обожженным губам.) Презирают победителя! (В ярости.) Меня, честного германского солдата!

(Дверь открывается. Входят фон-Засс и Польверелли. Никнель вытягивается в струнку, в левой руке стул, платок он держит в зубах.)

Сцена третья

Те же, фон-Засс, Польверелли.

З а с с (ледяным тоном). Что с вами, лейтенант? Припадок? Что означает вся эта бутафория?

(Никнель проглатывает платок.)

Вы решили устроить спектакль для этих дам?

(Никнель ставит стул на место.)

Ж о ж о. Слушайте вы, сухопутный моряк, долго вы еще будете тянуть ваше следствие?

Лу и з а. Если хотите расстрелять нас — расстреливайте, и дело с концом.

Ж о ж о. Вот уже два месяца, как вы разводите эту канитель. Хватит с нас! Надоело!

З а с с (сухо). Лейтенант Никнель! Извольте убираться отсюда и очистить помещение. (Указывает на арестованных.)

Н и к н е л ь (поклон. Уводит Жожо и Луизу, толкая их перед собой). Марш! И заткните глотку!

Ж о ж о. Не смей, а то — как двину! (Никнель поспешно отстраняется от нее.) (Уходят Никнель и арестованные.)

Сцена четвертая

З а с с. Какой беспорядок! Армия должна воевать — иначе она разлагается.

(Телефон.)

З а с с (у аппарата). Алло! Адмирал фон-Засс... Полковник Грунер? Здесь? Проводите ко мне. (Кладет трубку. К Польверелли). Полковник фон-Грунер... Он только-что прибыл из ставки фюрера.

(Зигмунд вводит фон-Грунера и исчезает. Фон-Грунер здоровается с обоими адмиралами.)

Сцена пятая

Засс, Польверелли, Грунер.

Засс (оживившись). Рад вас видеть, фон-Грунер! Наконец-то мы узнаем, что делается на свете. Тулон такая дыра! Мы здесь в глуши, в тысячах километров от событий. Можете говорить свободно. Это адмирал Польверелли.

(Фон-Грунер и Польверелли раскланиваются.)

Какие новости, какие новости, дорогой друг? Боюсь, что не блестящие...

Грунер. К моему великому сожалению, не блестящие, адмирал.

Засс. Вот уже десять дней, как я не живу, не дышу. Мы все постарели на десять лет... Фон-Паулус, вся наша великолепная шестая армия, наши лучшие генералы! Руки и ноги холодеют, когда подумаешь... Просто не верится. Эти большевики! Капитулировать перед большевиками в открытом поле. Целая армия! Фельдмаршал, 25 генералов. Случай беспримерный в нашей военной истории.

Польверелли. А наш несравненный альпийский корпус? Надеюсь, он не очень пострадал?

Грунер. Да, их там осталось немало, адмирал. На этот счет можете не беспокоиться...

Польверелли. О, какое счастье...

Грунер. Но только не у нас...

Польверелли. А где же?

Грунер. По ту сторону фронта... У русских.

Польверелли. Мадонна, пречистая мать божия! Так значит, большевистские сводки близки к истине?

Засс. А в районе Курска?

Грунер. С момента занятия города, то-есть с позавчерашнего дня, большевики еще продвинулись вперед.

Засс. А на Воронежском? Потери?

Грунер. Довольно ощутительные, и, кроме того, 27 тысяч пленных, несколько генералов...

Засс. Как? И здесь? Значит, разгром?

Польверелли. Мадонна!

Засс. А на юге?

Грунер. Ростов под угрозой, равно, как Харьков, Ворошиловград, Донецкий бассейн, Кубань...

Засс. Счастье изменило нам! Прорыв блокады Ленинграда, потеря Майкопской нефти... Проклятые большевики, а на Центральном?

Грунер. С потерей Великих Лук, — Гжатск, Ржев, Демянск повисают в воздухе, положение очень непрочно.

Засс. Но когда же они, наконец, останутся!

Польверелли. А там... наша жемчужина — Триполи — вырвана у нас. Вся

наша Ливия, наша великолепная африканская империя. А эта конференция в Казабланке! Да, счастье изменило нам!

Грунер. К счастью, остается Арним. Железный полководец. Старой германской школы. Этот не сложит оружия. Никогда! Я знаю Арнима... И африканский корпус, десятый танковый корпус. Можете быть уверены, они будут держаться до последнего человека. Тунис. Англичане обломают себе зубы о Тунис!

Польверелли. Это единственное светлое пятно!

Засс. Тунис и Бизерта в наших руках. Это позволит нам обернуться в Европу.

Грунер. И Арним не один. Там целое созвездие генералов: фон-Краус, фон-Валест, Доровиц, Вебер...

Засс. Какова воля фюрера?

Грунер. Фюрер отказывается понимать, почему виновники этой скандальной истории с потоплением французского флота, почему они до сих пор остаются безнаказанными.

Польверелли. Вполне, вполне согласен.

Грунер. Я прибыл в Тулон именно с этой целью: подогнать следствие. Эта французская сволочь, повидимому, рада всякой затяжке. Копаются, крючкотворствуют. Когда же будет конец? (Звонит.) Я им вправлю мозги. В этой проклятой стране саботаж всюду, сверху донизу. Даже Лаваль, даже Базир бессильны помочь. А ведь это целиком наши люди! (Входит Никнель.)

Сцена шестая

Те же и Никнель.

Засс. Адмирал Базир здесь?

Никнель. Он на допросе, господин адмирал. Вместе с французскими следственными властями.

Засс. Попросите адмирала Базира.

Сцена седьмая

Те же без Никнеля

Грунер. Фюрер требует примерного наказания. Фюреру нужны головы.

Польверелли. Хорошо сказано!

Грунер. Слишком много немцев гибнет на русском фронте. Фюрер сказал: «Если мы не заставим славян и французов нести такие же потери, Германия выйдет из войны побежденной, даже, если она победит. Если же Германии суждено поражение, она обязана заботиться о создании численного превосходства над врагом, — в этом первый залог будущего реванша. Фюрер сказал также: потери врага должны уже теперь сравняться с нашими потерями. Потом будет поздно. Фюрер сказал также: террор стал необходимостью не только как средство обуздания непокорных народов, но и как гарантия будущего превосходства немецкого народа.

Польверелли. Фашистская Италия также заинтересована в этом.

Засс. Германской нации, Грунер, германской нации нужна кровь, и она ее получит столько, сколько ей понадобится. (Стук в дверь.)

Войдите!

(Зигмунд вводит Базира и исчезает.)

Сцена восьмая

Те же, Бафир.

Бафир — медоточивый, вкрадчивый, испуганный.)

Засс. Господин Бафир, я пригласил вас, чтобы выразить вам мое крайнее недовольство, крайнее недовольство фюрера!

Бафир. Адмирал, поверьте, я в отчаянии. Можете не сомневаться в моем усердии.

Засс. Мы заинтересованы в том, чтобы это пресловутое усердие привело, наконец, к положительным результатам. Вы обещали выловить всех, кто ответствен за потопление тулонского флота, равно как их соучастников и исполнителей. Мы ждем. Мое приказание: закончить следствие и назначить суд безотлагательно.

Бафир. Мы горячо желаем того же, господин адмирал.

Засс. Что касается приговора, то приговор может быть только такой: если случайно попадет один невиновный, пусть его оправдают; всем остальным — смертная казнь; приводится в исполнение немедленно... Как идет следствие?

Бафир. Мы пробуем добыть кое-какие сведения у двух арестованных нами женщин. Они все еще отпираются.

Засс. У вас не та система. Ведите при вести их сюда.

Бафир. Госпожа Гиддинс также здесь...

Засс. Что же вы не сказали раньше? (Зигмунд появляется в дверях.)

Госпожу Гиддинс и двух арестованных женщин.

(Зигмунд уходит.)

Бафир. Мы вызвали также инспектора 28 и некую Тулемонд, здешнюю бакалейщицу. Она уверяет, что может дать важные показания.

Засс. Какие данные у вас об этой Тулемонд?

Бафир. Превосходные отзывы. С первого дня на нашей стороне.

Засс. Хорошо, посмотрим.

Сцена девятая

Те же, Алиса Гиддинс.

Польверелли (расцветает, восторженный лепет). А! Госпожа Алиса! Вы ослепительны сегодня! Счастливы вас видеть!

Засс (сухо). Потом, господин Польверелли, прошу вас. Должен вам сообщить, госпожа Гиддинс, что мы недовольны вами.

Алиса. Гестапо не может жаловаться. Засс. Однако самая крупная рыба ушла из-под рук.

Алиса. Еще раз прошу вас, господин адмирал, принять во внимание, что развязка в тот день, 27 ноября, наступила быстро и неожиданно, так что я не могла...

Засс. Госпожа Гиддинс, вы можете не делиться с нами своими политическими и тактическими соображениями. (Зигмунд осторожно вводит Жожо и Луизу. Они попрежнему в ручных кандалах.)

Сцена десятая

Те же, Луиза, Жожо.

Жожо. Долго нас будут таскать? Кажется, везде уже побывали.

Бафир. Молчать!

Жожо. Сам заткнись, шкура! Немецкий лакей. (Замечает Алису.) А-а, вот она где? (Торжествующе.) Я давно уже догадывалась, что она такое. (К Алисе.) Всем говорила, что ты просто шпионка у фрицев. Сука!

(Алиса смотрит на нее с непроницаемой улыбкой.)

Засс. Пусть вас не смущает присутствие госпожи Гиддинс, уважаемая. Все равно вы уже не выйдете из наших рук... Прошу отвечать на вопросы. Госпожа Гиддинс, будьте добры вести протокол. (Алиса садится за стол спиной к публике и стенографирует.)

(К Жожо). Начнем с вас, сударыня. Лейтенант Марсиаль де-Фромануар скрылся. Где находится лейтенант де-Фромануар?

Жожо. Думаешь, так я тебе и скажу? Если бы и знала, не сказала бы. Адмирал, тоже... Живодер!

Засс (к Луизе). А вы, сударыня, будете отвечать? Еще раз советую взвесить возможные последствия вашего поведения.

Луиза. За кого вы нас принимаете?

Бафир. Разрешите, адмирал... Луиза Бастия! Был ли вам знаком (заглядывает в список) кабатчик Кокбэр?

(Луиза отрицательно качает головой.)

Значит, вы не знали владельца бара, Кокбэра? А его жену, Леоклади Кокбэр?

(Луиза — та же игра.)

Надеюсь, что с нашей помощью вы вспомните! (К Зассу). Разрешите вызвать свидетельницу Тулемонд и инспектора 28. (Засс соглашается. Бафир идет к двери, открывает ее и возвращается на место.)

Засс (к Жожо и Луизе). Уважаемые дамы! Я сказал, что вы ни в коем случае не ускользнете из наших рук. Но ответы могут еще изменить вашу судьбу, весьма резко изменить... к лучшему...

Луиза. Можно себе представить, что вы называете лучшим! Спасибо за угощение.

Жо жо. Ты что думаешь? Я не знаю, сколько несчастных девчонок вы загнали в ваши помойные ямы... развлекать бошей!.. Это, что ли, ты нам предлагаешь, бандит? Лучше живой в гроб!

Засс. Ваше желание не так трудно исполнить (загадочно), но во всяком случае — не сейчас... Еще не сейчас.

(Вводит госпожу Тулемонд, ее мужа Камилля; вслед за ними входит инспектор.)

Сцена одиннадцатая

Те же, супруги Тулемонд, инспектор. (Инспектор — в котелке, с зонтиком, скромно проходит в угол комнаты и садится.)

Госпожа Тулемонд (врывается, как вихрь). Ах, наконец-то! Наконец-то я могу увидеть господ немцев! Поговорить с господами немцами! (К мужу). Что же ты, Камиль, вошел или нет?... Господа, я хочу сделать заявление, хочу осветить положение, но меня не слушают, меня водят за нос. Почему? Я верный слуга маршала Петэна и господина Лавала! Я являюсь членом ассоциации петэновских женщин, а мой муж Камиль — член Петэновского легиона. Он даже собирается вступить в легионерскую гвардию. (К мужу.) Не горбится, Камиль! Ну!.. Мы с Камилем, мы — французы. Мы поняли свой долг перед господином Гитлером. О, господин Гитлер — этот великий француз! То-есть, нет, я хочу сказать... этот великий друг Франции! (Она вытаскивает из сумки бумажник, набитый документами.) Вот наши бумаги, наши документы. Здесь все сказано насчет нашей верности маршалу Петэну и господину Гитлеру... Но позвольте, позвольте, с кем я могу говорить?

Засс. Сударыня, будьте добры обратите ваше внимание на этих женщин — знакомы они вам?

Госпожа Тулемонд (всматриваясь). Кажется, я видела... вот эту (на Луизу) один раз, в баре некоего коммуниста, аудюократа, по фамилии Кокбэр.

Базир. Так. Но если вы посещали бар Кокбэра...

Госпожа Тулемонд. Посещала — это слишком сильно сказано. Вряд ли я могу посещать людей, стоящих ниже меня.

Базир. Однако вы там были, как вы сами изволили сказать.

Госпожа Тулемонд. Один раз, мимоходом. Вполне возможно, что я видела вот эту (на Луизу). Но об ней не стоит говорить. Так, обыкновенная женщина... Но вот там была другая, беженка с севера, из Арденн... учительница, вот это опасный элемент! Террористка!

(Алиса поворачивает голову, госпожа Тулемонд замирает. Торжествующий вопль.)

Смотрите, вот она! эта самая! Она здесь! Попалась! Два месяца ищу ее по всему городу. И вдруг — оказывается, она здесь, у вас!

Засс (холодно). Вы себя потревожили именно с целью разоблачить эту даму? Так я вас понял, госпоже Педемонд?

Госпожа Тулемонд. Да, господин офицер, именно. Впрочем, меня зовут не Педемонд, а Тулемонд. Эта женщина, господин офицер, в моем личном присутствии произносила такие крайне антифранцузские и крайне антинемецкие речи, что я сочла своим долгом...

Засс (вынимает из кармана кредитку). Госпожа Педемонд. Мы выражаем вам благодарность за ценное разоблачение. Не преминем воспользоваться им... Вот, в возмещение всех ваших трудов...

Госпожа Тулемонд (вспыхивает). Что? Что я слышу? Меня называют Педемонд, мне предлагают деньги... (Она бросает взгляд на кредитку.) Мне, явившейся сюда исполнить долг французской патриотки. (К мужу.) «За мной, компаньон!» Добродетель всегда остается непризнанной. (Она быстро идет к выходу и за ней как на буксире, ее муж.)

Засс. Как вам будет угодно, сударыня!

Госпожа Тулемонд (спохватывается и подбегает к нему). Вы говорите, сто франков? Что ж, я возьму их, господин офицер. (Снисходительно.) Я раздам их бедным... (Она берет деньги, раскланывается и уходит.)

Камиль (отдает по-фашистски честь своей супруге, вытягивается на своих коротеньких ножках и пискливым голоском). Франция прежде всего!

Госпожа Тулемонд. Молчи идиот (Уходят.)

Сцена двенадцатая

Засс, Польверелли, Грунер, Базир, инспектор, Алиса, Жо жо, Луиза.

Засс (с насмешкой Базиру). Это и есть ваш главный свидетель? Поздравляю! (Резко). Займемся делом. Инспектор, вы узнаете этих женщин? Они принимали участие в мятеже. Которая из двух была активнее?

(Инспектор медленно поднимает руку и зонтиком указывает на Луизу. Потом, пожав плечами, — на Жо жо.)

Эта (на Луизу) была связана с рабочими Арсенала?... А эта, я полагаю, с юными подонками города Тулона?

(Инспектор соглашается.) (Обращаясь к Луизе.) Мы разыскиваем Марсиала де-Фромануара, далее... (он берет из рук Базира список и пробегает его глазами) двух матросов — Ива Легуаль, Жюля Эскартефиг... лицеиста Роже Гастино, двух рабочих Арсенала: одного по прозвищу Жежен...

Луиза. Можете не продолжать, я не знаю ни одного из этих имен.

Базир. А вы, девица Жоржетта? Жо жо. Повежливей ты не можешь? Я ведь не говорю, что ты рогатый или еще

как-нибудь... А ведь харя у тебя такая, что...

З а с с. Довольно! (Алисе.) Госпожа Алиса!

Алиса встает, и хочет схватить Жожо.) Жожо (отбиваясь). О, если бы у меня руки были свободны, — показала бы я этой прусской жабе!

Алиса грубо, привычным жестом истязательницы, тащит Жожо туда, где ширма.)

З а с с (Луизе). Слушайте внимательно, Луиза Бастиа! Может, это вас надоумить. Пока еще не поздно.

П о л ь в е р е л л и (отворачивается). Мне всегда это действовало на нервы...

Л у и з а (бросается к Жожо). Вы не посмеете!.. Жожо! Милая! Негодяи!

З а с с (грубо останавливает Луизу, сдавливая ей плечо). Не торопитесь, сударыня, дойдет и до вас очередь.

Ж о ж о (к Алисе). Пусти!

З а с с (громким голосом). Девушка Жожо, в последний раз! Будете отвечать?

Ж о ж о. Дерьмо!

З а с с (громко). Мадам Алиса!

(Алиса, не дожидаясь больше, тащит свою жертву за ширму.)

Л у и з а. Дойдет и до вас очередь... Да здравствует Франция!

Г о л о с Ж о ж о. Да здравствует Франция... Мерзавцы!

Конец первой картины

КАРТИНА ВТОРАЯ

Ущелье в южных горах. Светит луна. Сцена может быть сыграна на просцениуме.

Сцена первая

Инспектор, Жежен.

Инспектор медленно входит, с зонтиком. Останавливается. Втягивает в себя воздух, трижды кричит перепелом. Из-за скалы показывается Жежен с автоматом, пистолетом, в каске, — направляет оружие на вновь пришедшего.)

Жежен (осветив со своего места инспектора электрическим фонарем). Эге! Чорт возьми! Да это наш жеребчик! (Шопотом.) Руки вверх! (Тот повинуется.) Подойди ближе! (Тот приближается.) Ты тут зачем, падаль?

Инспектор (шопотом). Мне нужен командир.

Жежен (недоверчиво). Командир? Зачем он тебе? Что ты можешь сказать командиру?

(Инспектор молчит, рук не опускает.)

Ну, погоди, бродяга, дай-ка обыскать тебя! (Жежен поворачивает его и ощупывает.) Оружие! Револьвер!

Инспектор (шопотом). Ничего нет. Я пришел безоружный.

Жежен (шопотом). Дай-ка я тебя свяжу, колбасник. (Быстро и ловко связывает его.) Как же ты сюда добрался? Откуда ты знаешь, где мы? А сигнал откуда знаешь? (Кончил связывать. Инспектор молчит.) Ну, погоди! (Подражает крику совы, дважды. Не слышном издавна ему отвечает такое же свиное завывание, тоже повторенное. Он опять отвечает один раз.)

Беспшумно вбегают Марсиаль, Патрис и Жюло.)

Сцена вторая

Те же. Марсиаль, Патрис, Жюло.

Жежен. У меня пленный.

(Все окружают инспектора и разглядывают его при свете карманных фонарей. Говорят приглушенно.)

Патрис. Старый знакомый!

Марсиаль. Как он появился?

Жежен. Пришел прямой дорогой. Закричал перепелом. Позволил обыскать себя и связать. Требует командира.

Марсиаль. Вы служите инспектором в тайной полиции?

(Тот склоняет голову.)

Объясните, как сюда попали... и все остальное.

Инспектор. Мое ремесло в том, чтобы все знать.

Патрис. Чудесное ремеслишко!

Марсиаль. Что вам нужно здесь?

Инспектор. Вы мичман Фромануар, не так ли?

Жежен. Слыхал? Матерь пресвятая! Марсиаль. Не ваше дело допрашивать!

Инспектор. Я и не допрашиваю.

Марсиаль. Ну, так в чем же дело? Говорите!

Инспектор. Два обстоятельства: во-первых, они не знают того, что знаю я, но идут по вашим следам.

Марсиаль. Кто это «они»? Объясните.

Инспектор. Боши. Гестапо.

Жюло. Говорит «боши». А сам-то он разве не бош?

Жежен. На этом весь расчет.

Марсиаль. Что это за сказки? Что он придумал?

Инспектор. Итак, во-вторых: завтра утром несколько судей военного трибунала приедут любоваться рассветом в горах. Они проедут здесь, возвращаясь из домика лесничего, около шести часов. Одна единственная машина, двое немцев, итальянец и адмирал из Виши, безо всякого сопровождения.

Марсиаль. Что это за сказки? Что это вам вздумалось нам рассказывать?

Инспектор. Это уж мое дело.

Патрис. Нет, это не только твое дело! Ведь это ты, сволочь, выдал немцам Луизу Бастиа?

Инспектор. Да, я. Я арестовал Луизу Бастиа, девицу Жожо и многих других.

Патрис. Мерзавец! Такая дрянь разыгрывает перед нами храбрца! Берегитесь, командир! Вот, кто послал наших товарищей на мучения и на смерть! Лулу, милая моя подруженька, моя жена. Вы и не знаете, командир, что за женщина Лулу! Ее надо было знать! Самая нежная, самая храбрая, самая самоотверженная, самая верная! Золотое сердечко, с головы до ног красotka, но к тому же еще самый чистый и прямой товарищ! Живая, как котенок, нежная, как голубка, поглядит на вас черными своими глазами, — и вы уже сгорели, улыбнется, — и перевернет вас всего, а уж в глубине этих бархатных глаз такая рассудительность, подстать самому образованному человеку... Мы были счастливы! Мы любили друг друга! И работали от всей души, она и я, рядом с товарищами, и все ее ценили, все ее уважали. И вот является этот слизняк, — и все к чорту. Нет моей Лулу! Является слизняк, — и я один на всем белом свете!

Жежен. По всей Франции разползлись слизняки!

Жюло. И у вас, командир, была сестра Мари-Жанна.

Марсиаль. И отец был. Я один на всем белом свете.

Жежен. Он нам еще не объяснил, зачем явился сюда.

Патрис. Пока он связан, я не могу плюнуть ему в морду. Командир! Дайте я развяжу его, пусть ищейка почувствует, сколько весит кулак металлиста.

Марсиаль (инспектору). Так вы и не объясните нам, что означает ваш странный ход?

(Инспектор кивком головы выражает согласие.)

Развяжите его.

(Патрис выполняет приказание.)

Патрис. Ну, вот ты и на свободе. Поглядим, осталось ли что-нибудь человеческое в этой падали.

(Инспектор неподвижен.)

Не хочется ли тебе подраться, трус? А ну, давай! (Дает ему пощечину.) Будешь ты защищаться?

(Инспектор покачнулся было, но ничего не отвечает.)

Значит, мало еще? (Опять пощечина.)

Инспектор. Не стоит продолжать. Я не буду драться. Не затем я пришел, чтобы драться с вами.

Жюло. Ну, так зачем же ты пришел? Инспектор. Я был под Верденом. Вот мой военный орден... и солдатская медаль... вся замаранная... Так же, как и я сам!

(Срывает ленточки с лацкана пиджака и бросает их на землю.)

Им не место на моей груди! В те времена я был человеком. А потом я поверил в Петэна. Петэн — это ловушка, и мы в нее попались! Знаменитая ловушка! Патентованная! Теперь этому конец! Мне все стало ясно. Слишком поздно!.. Тем хуже... Я мог бы действовать с вами. Десять лет нашего брата тренировали в подлости. Сегодня я пришел сюда... Еще минута... и... (вынимает из кармана шприц.) Это уже не морфий... Гораздо лучше.

Патрис (бросается к нему). А, нет, так просто не увильнешь!

Жежен (также подбегает к инспектору). Слишком легко хочешь отделаться!

Инспектор (быстрым движением делает себе укол). Нет, тут уж я не опоздаю, Патрис!

(Все стоят в неподвижности.)

Инспектор (задыхается). Надо бы вам еще сказать... Кричать перепелкой... в такое время года... пожалуй, глупо. (Умирает.)

Жюло. Даже он!

Марсиаль. Даже это подобие человека...

Патрис. Этот выродок...

Марсиаль. Даже такому выродку стало невозможно дышать воздухом, которым душат Францию!

Жежен. Он был отравлен предательством.

Патрис. И кончил бегством, как полагается этим подлецам.

Жюло. Они и в смерти ищут бегства.

Жежен. Это легче, чем бороться.

Патрис (беззлобно). По правде сказать, — вы только не обижайтесь, командир, — он поступил, как ваш отец.

Марсиаль (отрываясь от своих мыслей). Я как-раз думал о том же. Но, как ни велика ошибка моего отца, он ее испустил.

Патрис (трогая ногой труп инспектора). А эти — живые или мертвые — только пачкают землю.

ЗАНАВЕС

Конец второй картины

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Та же декорация, что и в предыдущей картине. Рассвет. Понемногу различаешь то, что мог только подозревать ночью (либо вовсе не видел, если вторая картина сыграна перед занавесом); крутой поворот горной дороги. Вдали, в большой глубине, за выемкой ущелья, — синее Средиземное море. Пинии, лиственницы, цветущие мимозы, кактусы, дикий шиповник, алоэ, ирис.

нарцис, гвоздика. Птицы, сверкающие насекомые. Поворот дороги завален нагромождением камней. Большой немецкий военный автомобиль разбит и повержен у этой каменной баррикады. На земле валяются перерезанные телефонные провода.

Сцена первая

Марсиаль, Патрис, Жюло, Жежен, Ив, Кокбэр, Леокади, Роже, Солдат, Алиса, Фон-Засс, фон-Грунер, Польверелли, Базир, Зигмунд, Зигфрид.

Пятеро немцев, итальянец и Базир свяжаны, руки за спиной. Фон-Грунер ранен в голову. Французы, включительно до Кокбэра, вооружены. Леокади, сидя, вяжет чулок, с револьвером на ремне, рядом с ней бочонок с вином. Несколько вольных стрелков наверху в скалах — они на часах.)

Марсиаль. Не ожидали, господа? Вчера палачи, сегодня сами у столба.

Засс. Вы мичман Фромануар?

Марсиаль. Нет! Я, Марсиаль, избран командиром отряда вольных стрелков имени Луизы Бастиа. А это мои товарищи, мои братья по оружию — рабочие Арсенала, моряки, граждане Тулона, ученики лицей... Вот этот уже потерял руку в бою (указывает на Роже). Он самый молодой среди нас, а вот та превосходная женщина (указывает на Леокади) отважилась вырвать его из ваших когтей. С другими было не так счастливо. Ну, а вы, красавица, трогательная беженка с севера, поглядите-ка на свои ручки. Они испачканы чем-то красным. Это французская кровь. Мои тоже, к несчастью, хотя бы потому, что касались ваших.

Алиса (иронически). «Касались» — довольно мягко сказано!

Ив. Замолчишь ты, падала!

Марсиаль. Оставь ее, Ив! Каждой гадюке предоставлено право: прежде чем ей оторвут голову, выплеснуть свой яд. (Вытаскивает револьвер.) Так оно и будет, Алиса! Вот она, ваша судьба. Не кочу поручать кому-нибудь другому такое отвратительное дело.

Леокади. Когда я думаю, Кокбэр, что немецкая шпионка бывала у нас в баре, я просто заблеваю.

Кокбэр. Если бы я только знал, уж задеснула бы ей в стаканчик купороса!

Алиса (гордо). Да, но вы не знали. Никто ничего не знал обо мне.

Марсиаль. Ну, и хватит!

Кокбэр. Есть еще одна особа, которая идет того же. Зовут ее Тулемонд.

Польверелли. Но вы же не поставите меня на одну доску со всеми ими. Окажите мне эту справедливость: итальянцы никогда не вели себя так, как вели чемпи!

Марсиаль. Конечно же, итальянцев с вами не спугаем, господин Польверелли. Они вас ненавидят. Но вы правы, утверждая, что не вели себя так, как вели себя гитлеровцы. Поэтому, с вами по-

кончим отдельно, согласно вашему желанию, как с шакалом. (Обращается к своим.) Расстреляйте этого господина в спину, так же, как они напали на Францию!

Жюло (радостно). Слушаю, командир! Польверелли (в бешенстве). Вы за это ответите! Мерзавцы! На войне так не поступают!

Патрис. Так поступают на войне, которую вы навязали всему миру.

Ив. Узнайте ее! Сегодня она коснется и вас.

Засс. Итак, сударь, вы просто убийцы.

Марсиаль. Мы судьи.

Засс. Замарать мундир морского офицера в этом сборище негодяев. Странное отношение к имени, которое вы носите. Господин Фромануар!

Марсиаль (горячо). Вот как вы осмеливаетесь разговаривать! Вы, немецкий офицер, напяливший поверх офицерского мундира передник живодера.

Патрис. Продолжайте, командир! Выложите ему все, что накипело у нас на сердце!

Жюло. Напомните ему о несчастных расстрелянных заложниках!

Жежен. Напомните ему о замученных у них в тюрьмах!

Ив. О мирных гражданах, подстреленных на дорогах...

Жюло. О кораблях, потопленных в открытом море вместе с женщинами и детьми...

Ив. О городах, разрушенных бомбежкой.

Патрис. О французском рабочем, ставшем в Германии рабом в наручниках.

Кокбэр. О евреях, которых гонят, как скотину...

Жюло. О наших несчастных военнопленных, которых они заражают туберкулезом и потом присылают назад еле живыми...

Ив. Обо всей нашей разрушенной, изглоданной до костей стране...

Леокади. Напомните ему про наших детишек... ведь умирают, потому что ничего не осталось...

Солдат. Как они унижали нас, как оскорбляли!

Роже. А что они делали себе на потеху с нашими девушками, командир...

Марсиаль. Вы еще осмеливаетесь взывать к моему мундиру! Старая уловка! Двум вещам мы научились. Первое: ненавидеть вас. Второе: драться с вами. Первое уже сделано, не за горами и второе.

Патрис. Мы выучили свой урок!

Солдат. Основательно выучили!

Марсиаль. Ненависть! Было время, мы ее побеждали. Вы взращивали ее всюду, где могли. Ныне она сама обратилась против вас и хватает вас за горло. Конечно, всем хочется заковать ее, загнать обратно! Слишком поздно, господин председатель военного трибунала! Мы поняли все. Поскольку надо действовать, что ж! — решение принято: засучиваем рукава и действуем!

Патрис. Это еще только начало!

Жюло. Поживи немного, увидишь кое-что еще!

Ив. Сам ставил капкан, сам и попался!

Жежен. Скоро поменяемся с вами местами!

Засс. Долго ли нам терпеть оскорбления этих негодяев?

Жюло. Сам ты негодяй!

Патрис (Жюло). Пускай разговаривает.

Марсиаль. Если бы у вас была только первобытная грубость! Вам мало погружаться в окончательную низость, вы еще при этом напяливаете на морду маску цивилизованных существ, маску ученых, философов, маску инженерии и геополитики...

Жежен (хохочет). Геополитики! Вот это в точку!

Марсиаль. Вы притворяетесь даже, прости мне, боже, что любите нашу страну, наши нравы, вы восхваляете грацию наших женщин, выставляете напоказ фотографии своих фрау, вам хочется, чтобы с вами нежничали, пускали слюни...

Жюло. Совершенная истина!

Леокади. Откуда все это берется у такого мальчишки? Говорит, как золотая книга!

Марсиаль. Извращенность, садизм, канжество, верх гнусности, — вот что вы собою представляете.

Жежен. Геополитический!

Засс. Мне все же хоте...

Марсиаль. Молчать! Молчать, господин фон-Засс! Молчать, гитлеровская собака! Довольствуйтесь тем, что умрете молча, и не дразните нас больше!

(Фон-Засс что-то ворчит.)

Остается самый бесчестный. Остается гиена. Вы, господин Базир!

Базир (стучит зубами). За меня отомстят!

Марсиаль. Вы так злобствуете и так струсили, что на вас гадко смотреть, господин Базир. Случайно вы уцелели во время взрыва, а отцу моему он стоял жизни. Благодарный человек погиб, а Базир остался. Мы благоприятного случая уже не упустим! Нам нужен заложник. Мы вас увезем кое-куда, господин Базир. Как только Виши или Гестапо первому

из нашей среды причинят неприятность, ответите вы, господин Базир!

Базир (воспрянул). Вы меня не расстреляете? Я оставлен в живых!

Жежен. Если ты называешь это жизнью, немного же тебе требуется. Наслаждайся!

Ив. Простая отсрочка.

Марсиаль. И это убожество говорит на нашем языке! Уведите их, товарищи. Утро в разгаре. У нас мало времени.

Сцена вторая

(Марсиаль, Леокади, Роже, Базир, Алиса, в глубине часовые.

Алиса. Долго вы еще меня тут будете морить?

Марсиаль. Стерегите Базира, Леокади. Я сейчас вернусь.

Алиса (Марсиаю). Из нас двоих, бьюсь об заклад, вы бледнее.

Марсиаль. Потому что вы сильно наруганы. Если стереть румяна, наружу выступит ужас.

(Они уходят.)

Сцена третья

Леокади, Базир, Роже.

Леокади. Вот несчастье! Такая хорошенькая!

Роже (растерянно). Госпожа Леокади! Госпожа Кокбэр! Крепче сожмите мне руку, а то я еще, чего доброго, побегу туда и буду просить, чтобы он подарил ей жизнь. Такая красивая!

Леокади. Слыхал, что Марсиаль сказал о ее румянах? Ведь она замучила и твою Жожо!

(Ружейный залп. И затем более короткий и сухой револьверный выстрел. Вольные стрелки возвращаются.)

Роже (бледней). Конечно. Ох, ты! (Прислонился к дереву.)

Сцена четвертая и последняя Жежен, Ив, Марсиаль, Патрис, Жюло, Роже, солдат, Леокади, Кокбэр, Базир.

Жежен. Ф-фу! Мать, глоток водки, пожалуйста! Вся кровь у меня спеклась.

Ив. Не привыкли мы еще к таким делам!

Патрис. Надо!

Жюло. Но неприятно...

Жежен. Если бы еще раз пришлось...

Ив (наступая). Ну и что?..

Жежен. И повторил бы!

Марсиаль. Действуйте. Чем неприятнее, тем нужнее...

Роже. Поглядите на командира. Ов бел, как стена.

Солдат. Ты бы на себя поглядел, мальчишка! (Протягивает ему маленькое карманное зеркальце.)

Жежен. Забыл ты, что ли, свою Жожо? Некрасиво, парень.

Леокади. Подставляйте кружки, друзья!

(Все, кроме Базира, протягивают ей кружки. Она разливает.)

Роже (возвращает зеркальце солдату). Надеюсь, что этого со мной больше не случится. Спасибо.

Патрис. В таких делах, как наши, запомни одну вещь, паренек! Либо женщины такая, либо она совсем другая. Либо это потрясающая подруга, и тогда — смелей, малыш, поведет она тебя прямой дороженькой, и всегда кое-что увидит яснее тебя. Либо это грязная девка. Тут берегись слишком заглядываться на ее останку! Раздави ее ногой и марш в другую сторону!

Жюло. И чем она завлекательнее, тем быстрее действуй!

Патрис. Иначе тебе крышка.

Роже. Ясно!

Марсиль. Любите вы путешествия, Базир? С нами вам придется сделать очаровательное. Ничего нет приятнее, чем горы зимой. И ничего нет живописнее, чем адмирал в ледниках, в Верхней Са-

воине. Там десять тысяч храбрецов вокруг генерала Картье — это французы, Базир! Уже два месяца они удерживают пустынное плато. Сомневаюсь, чтобы ваши друзья явились из Виши за вами.

Солдат. А теперь живо туда, где не пахнет бошами.

Базир (скрипит зубами). Победа еще не ваша.

Марсиль. Точно. Зато поражение ваше.

Кокбэр (поднимает свою кружку). Ребята!

(За исключением Базира, все поднимают кружки, и, глядя друг другу в глаза, начинают под-сурдинку вторить запевале, поющему «Прощальную песню». Когда занавес закрывается, хор разрастается и звучит со всех сторон.

ЗАНАВЕС

Конец

Москва. Март—май 1943 г.

СТИХИ

НИКОЛАЙ БРАУН



Разрывы всю ночь грохотали,
Я слушал, как вздрагивал дом
И снились мне русские дали
И мирный за рощею гром.

И милые с детства березы,
И речка в густом лозняке,
И в крапинах синих стрекозы,
И чье-то «ау» вдалеке.

Я спал. И, тревоги не зная,
Дышал я отрадой земной,
И ласточек легкая стая
Свистела, кружась надо мной.

И вдруг что-то грохнуло рядом —
Не ласточки в небе вились, —
Над крышей свистели снаряды,
Снаряды в проулках рвались.

Полет завершился кровавый —
И мрак тишиною томил...
А сон еще в комнате плавал
И шелестом рощи манил.

Развейся, уйди сновиденье!
Не знать мне отрады земной,
Не слушать берез шелестенья.
Покуда над родиной бой.

Рассеются скрежеты стали
И гром отгремит — и тогда
Я вспомню вас, тихие дали,
И снова вернусь туда,

Где яблоком пахнут ромашки,
Где небо, как в сказке, цветет.
Где в ситцевой русской рубашке
Мой сын, как былицка, растет.



Не год, не два, но годы, годы
С тобой мы об руку прошли,
И никакие непогоды
Разъединить нас не могли.

Под мирным небом синим, синим,
И днем и ночью золотым.
Нам даже скудный цвет полыни
Казался цветом неземным.

И в дни войны, в тот год кромешный,
Когда, казалось, день потух,
Я ждал в разлуке безутешной
Тепло твоих зовущих рук.

И вот они меня встречают
Неомраченной белизной,
И всё не меркнут, всё сияют.
Как вечный полдень, надо мной.





Терпи — за тяжелой работой,
За черным великим трудом —
Все капли соленого пота
Окупим победой потом,

Терпи. Все горючие слезы,
Все море бездонное слез
Прольется на мирные плесы
Дождем очистительных гроз.

Терпи. Благодатная сила,
Тебя в эти годы веда:
Ты родине сына растила,
Ты матью русской была.

Твой путь — и суровый и славный —
Не скроет и времени мгла.

Ты видишься мне Ярославной,
Что князя с победой ждала.

И все-то мне явственно мнится,
Что крылья прорезали тишь, —
Не ты ли кукушкой, зегзицей,
Ко мне издалека летишь?

Я голосу милому внемлю,
Я скорбь Ярославны ловлю.
За эту вот русскую землю
Я жажду любую стерплю.

За долгие ночи разлуки,
За трудный военный поход,
За все наши горькие муки
Рассвет небывалый придет.

КНИГА О НЕПОКОРОЕННОМ НАРОДЕ

Ю. ЛУКИН

★

История русского народа — это летопись вековой героической борьбы за независимость и честь родины. Двести сорок лет стонала русская земля под татарским игом, но выдержал, не сломился дух могучего народа в жестокой, изнуряющей борьбе с сильными и коварным врагом он сбросил с себя оковы рабства. Всенародным сплочением сил отвечал он как на вторжение немецких рыцарей при Александре Невском, так и непобедимого для своего времени шведского войска при Петре I, и каждый раз враг покидал русскую землю разбитый наголову и потрясенный беспримерной стойкостью и величием боевого духа ее народа. В Отечественной войне 1812 года русский народ разгромил прославленные армии Наполеона и снова, отстояв жизнь своей родины, круто повернул течение всей мировой истории.

Завоевав себе свободу и счастье в кровопролитных битвах гражданской войны, семья братских народов Советского Союза одержала доблестную победу над чужеземными армиями, вытравившими задуть молодую советскую республику, — своими руками, беззаветным трудовым подвигом построила светлую, свободную жизнь.

Никогда ни одному врагу не удавалось покорить наш народ, поставить его на колени. Русская земля всегда жила по славному завету предков: вошедший к нам с мечом, от меча и погибнет.

И вот невиданной тяжести испытание выпало на долю народа-героя. Самая темная сила истории, лютый враг свободы и прогресса, кровавый германский фашизм вероломно обрушил свои полчища на нашу страну, задавшись безумной целью уничтожить наш свободный народ, превратить в раба. Реками крови безвинно загубленных наших людей, пеплом городов и сел отмечен путь германской армии по советской земле.

Партия большевиков, гениальный вождь народов и полководец Маршал Советского Союза Сталин сплотили всю страну в великой отечественной войне против немецких захватчиков. Мир не знал еще таких сражений, такого

единства народа, такой высоты всенародного подвига и такой всепобеждающей стойкости духа борцов за свою родину. И вот перед лицом всего мира наступает коренной перелом смертной, ожесточенной борьбе.

Красная Армия, закалившаяся и окрепшая в боях, победно движется на Запад. Из развалин взорванных и сожженных немцами домов, из лесов выходят навстречу армии-освободительнице люди, жизнь которых поддерживала лишь непоколебимая вера в возвращение наших воинов, в победу нашего народа. Они передают нам страшную повесть об ужасах германского владычества, о жизни, которая была для них хуже смерти.

Об этих людях, с честью выдержавших самую тяжкую проверку их воли и мужества, их гражданского долга, несмотря ни на какие угрозы, посулы, пытки и издевательства, не покорившихся ненавистному врагу, высоко пронесших сквозь все непосильные человеку тяготы и испытания великое знамя светлых наших идей, — рассказывает читателю книга Бориса Горбачева «Непокоренные» (Семья Тараса).

Это в первую очередь определяет большую политическую ценность книги. Автор «Непокоренных», работая военным корреспондентом, всю войну провел на Южном фронте, был там на посту как в дни обороны Донбасса, так и в дни борьбы за освобождение Донбасса. Он там родился и кровно связан с этими местами. В освобожденных Красной Армией городах и районах наблюдал он первые шаги возрождения их к жизни, и встретил там много рабочих семей, истории которых и были положены им в основу столь успешно завершенной ныне работы. Борьба и дни героя книги, старого кадрового рабочего Тараса Яценко и его семьи ярко отображают характерные явления в жизни нашего народа, которым писатель сумел придать силу подлинного широкого обобщения:

Наибольшей выразительности достигает взволнованное, горячее повествование в образе образа самого Тараса. Это богатырь, кряж, поднявшийся из народной толщи, соб-

равши в себе всю силу сопротивления народа захватчикам.

Рисуя эту могучую глыбу, этот характер кремневой твердости и стойкости, писатель разглядел в нем живую душу человека, подверженную и колебаниям, и сомнениям, мучительно страдающую и ищущую, но всегда побеждающую. Образ Тараса показан в его живом, правдивом развитии.

Мрачны картины, которыми открывает автор книгу. Смело даны тяжелые раздумья Тараса в тревоге и смятении наблюдающего пыльную степную дорогу, по которой все уходило на восток. «Все на восток, все на восток... Хоть бы одна машина на запад!» Ему хотелось упасть на колени в злую дождливую пыль, целовать сапоги бойцам и умолять их не уходить, не оставлять его с бабами и малыми внучатами на поругание и насилие врагу. Два берега вдруг разделили жизнь. И на том, дальнем, берегу оставалась Россия, сыновья Тараса и все, чем он жил шестьдесят долгих лет. Эти шестьдесят лет прожиты в борьбе за свободу народа и наполнены были благородной страстью созидательного труда.

Здесь истоки опромной душевной силы Тараса. Исконные черты свободолобного и гордого характера русского человека обогащены в нем всем тем, что питает несокрушимый дух советского патриота. Именно советская власть создала и воспитала прекрасную, сильную душу Тараса. Для него светлыми примером были образы славных его земляков Ворошилова и Пархоменко, он проходил закалку в боях восемнадцатого, в горячие дни двадцать первого годов и все последующие годы социалистического строительства.

И вот перед ним страшный вопрос: как он должен жить, когда немцы вошли в его город? Как жить? Этот вопрос настойчиво звучит и в голове Тараса, и в тяжелых раздумьях старых его товарищей, мастеров, соседей; вопрос этот застыл и во взгляде его внучат, ожидающих от него решения и поддержки. Не за одного себя должен думать и решать Тарас.

Вначале он решает избрать линию пассивного сопротивления, глухой борьбы в одиночку. Он обманывает себя тем, что семья его может не коснуться все то, что совершается вокруг. Авось пройдет стороной, авось не заденет его дома. Упорно мастерит он замысловатые замки и засовы, превращает свой дом в маленькую крепость. Он еще не нашел решения. В городе убийства и расстрелы, крики и плач женщин. Он строго кричит на домочадцев:

— Нас это не касается!

Дом его — его крепость. Но невелик и безоружен его гарнизон.

Очень скоро иллюзии Тараса терпят крах. Немцам нужно восстанавливать завод. Тот завод, что сам строил и разрушал Тарас. Немцам нужно пускать производство. В боях под Сталинградом подбито множество их танков. Немцам нужно их ремонтировать. Они ищут подлых рук. С ненавистью и мудрым презрением говорит Тарас о слабодушных, которые идут работать на немцев: «Думают, как

бы свою жизнь спасти, а надо бы думать, как спасти душу». Он приказал своим даже мысль о такой работе выбросить из головы. Но насилие входит и в его дом. Это должно было случиться рано или поздно.

Страх перед зверскими избиениями и отправки в Германию гонит на биржу труда Антонину, жену Тарасова сына Андрея. Это первая брешь в крепости Тараса. «Я не могу, когда бьют...» — говорит она под презрительным взглядом Тараса.

Но наступает и его черед. Приходят и за ним. «Я не хочу, не буду работать!» — твердит он. Он, чьи руки мастера истосковались по труду, ясно понимал, что труд для немцев был бы изменой. Лучше голодать, чем покориться. Однако с ним поступили так же, как со всеми. На биржу труда силой доставляли людей, которых ловили, хватили на улицах, отыскивали на чердаках и в подвалах. Это был первый этап невольничьего пути. Здесь раб лишился сразу всего, всех своих прав, семьи, близких. У него оставались только надежда и ненависть.

Ненависть и жажда мести переполняли гневную душу Тараса. «Его еще не били, но вся его душа была уже в синяках».

С тневом и болью рисует писатель картины города, задыхающегося под гнетом гитлеровского ярма.

«Так тихо, словно не в городе, а на кладбище. Словно у города вырвали язык, и не может он ни кричать, ни петь, ни смеяться, а только стонет, как глухонемой, которому от его немoty больно... Дажде дым из печей — тощий и бледный; может быть, оттого, что топить нечем, может быть, оттого, что варить нечего. Дымок подымается, дрожит в небе и тает быстро и пугливо».

Глаз художника подмечает новое, странное явление у людей: быстрое, испуганное движение от привычки озираться.

Страшно зрелище городского базара. «Ницета разоренных сел пришла сюда, на базар, и встретилась с ницетой распятого города... Тишина отчаяния». Заводской химик торгует спичками своего изделия. Соратник Тараса по производству, знаменитый мастер лигетинного цеха — из тех мастеров, с которыми советовались академики, которых побаивались директора, — продает свой патефон-премию. Облава, гнусная охота на людей, сметает всю эту голую толпу и заставляет прятаться в подворотнях. Тарас видит, как автоматчики хватают молсдого парня, которого ждет каторга в Германии или смерть.

В здании биржи советские люди подвергаются тупым издевательствам обнаглевших пруссаков. С наиболее упорными расправляются самым жестоким образом.

«Распахнулась дверь кабинета коменданта биржи, и оттуда вышвырнули комок крови и мяса. Комок шлепнулся об пол. Все в ужасе расступились. А комок корчился на полу и хрипел:

— Врешь! Врешь, не покорюсь!»

Таков и Тарас. Вместе с группой мастеров он отказывается от предложений заискивающие

го перед ними немца. Они выдают себя за чернорабочих. Посулы сменяются угрозами расстрела, лиса каждую минуту готова обернуться палачем, но старики непреклонны. Под конвоем водят Тараса на расчистку площадки завода. Старики саботируют и эту работу. И каждый из них мечтает о том, с каким жаром будут они восстанавливать завод, когда вернутся свои. Они живут только прошлым и будущим. В настоящем для них нет ничего, кроме веры.

Тверда их вера. Эту веру, эту силу жизни воспринимает Тарас и в своих внучатах. Наши придут! Наши немца прогонят! Он учит их этим словам, как молитве.

Без этого нечем было жить. Жизнь стала невозможной.

«На семью Тараса еще не обрушился топор немцев: никого не убили из близких. Никого не замучили. Не угнали. Не обобрали.. А жить было невозможно..»

Не убили, но в любую минуту могли убить. Могли ворваться ночью, могли схватить среди бела дня на улице. Могли швырнуть в вагон и угнать в Германию. Могли без вины и суда повесить к стенке; могли расстрелять, а могли и отпустить, посмеявшись над тем, как человек на глазах седеет. Добрая немецкая штука! Они все могли. Могли — и это было хуже, чем если б уж убили. Над домиком Тараса, как и над каждым домиком в городе, черной тенью распластался страх.

Законов не было. Не было суда, права, порядка, строя. Были только приказы. Каждый приказ грозил. Каждый запрещал. Приказы точно определяли, каких прав лишен горожанин. Это была конституция лишения прав человека.

В церковь немцы поставили совершать богоуложение пьяницу, который подавал шары в бильярдной. В кино полицейские юрали, требуя, чтобы русские женщины улыбались, когда видели, как стреляют немецкие пушки в их мужей и братьев. Дети на глазах превращались в маленьких старичков и старушек. Немцы над всем надругались — над верой, над горем солдатских вдов, над молодостью русских девушек, над школой, над детьми.

«Было невозможно дышать в этом воздухе, оправленном запахом немцев». Капля за каплей копилась ненависть к немецким палачам. Они всех казнили. Кого быстрой мукой, — как говорил сосед Тараса Назар, — а кого медленной..»

Иным стал старый Тарас. Он вслух мечтает о топоре, он ищет пути к партизанам. «Надо выход душе дать, — говорит он. — Терпеть у меня мочи нет».

Но много еще испытаний лежало на пути. Его поддерживала неумирающая надежда, надежда на приход Красной Армии, на возвращение его сыновей.

Где же были в это время его сыновья, его крепкий корень и опора?

Встреча с сыном Андреем — новый удар для Тараса. Андрей приходит из немецкого плена. Этого достаточно, чтобы ожесточенная

душа Тараса не приняла его. «А умереть у тебя совести не было?» — кричит ему отец.

К наиболее сильным страницам книги относятся описание похода тачечников, отправившихся искать неразоренной немцами земли, гдe они могли бы получить пропитание в обмен на нехитрый свой скarb, погруженный на тачки. Отправился в этот поход и Тарас.

В его мыслях совершился за это время коренной перелом. Старик давно понял, что нет такой меры, которая определила бы кару гитлеровцам за все муки, причиненные ими нашему народу, и что нет теперь, нет таких, кого «не касается» общее дело борьбы и мести. «В одиночку-то мы все честные.. Нет, ты честность свою на стол клади, в борьбу кидай!» Он уже постиг, что сила в сплочении народа, в коллективе. Но он не видит вокруг себя людей, которые могли бы организовать эти усилия народа, направить их. Душа его созрела для настоящей борьбы, но он слишком долго отгораживал себя от людей, жил больше страхом, чем ненавистью, — и не видел, что скрытая, непримиримая и жесткая борьба кипит вокруг.

Раскрывает ему глаза на жизнь встреча на дорожном привале с сыном Степаном. Тут выясняется, что в своей замкнутости старик проглядел людей, которых.. страстно искала его душа. Эти люди оказались возле него, гораздо ближе, чем он мог предполагать. Это были дочь его Настя и сын Степан, которого партия послала в тыл к врагу. «Я землю неразоренную ищу, — в недоумении поворачивает Тарас сыну, — а ты тут, гляжу, души неразоренные ищешь?»

Примечательно страницы, посвященные Степану. Автор вводит читателя в психологию этого активного борца и воина с момента, когда Степан и его жена Валя начинают жить в подполье. Степан привлек видеть себя хозяином на родной земле. А теперь ему приходится красться по ней тайком. Большая способность автора к наблюдению сказывается в следующем эпизоде: однажды немецкий патруль подозрительно посмотрел Степану вслед, и Степан понял — ему еще надо учиться ходить. Надо горбиться, надо согнуть свое большое гордое тело, надо стать таким, как все в немецкой неволе. Как все! В этом скупом образе дана страшная картина жизни людей, придавленных ярмом немецких угнетателей. Это типичная для лучших мест произведения Горбатова художественная деталь.

Степан горько сознает, что власть не у него, а у врага. Против него сильный и беспощадный враг. У врага земля, у врага армия. Но и в этом положении стойкий дух Степана находит для себя выход: если не он сейчас хозяин своей родной земли, то он остался ей верным сыном.

Он отыскивает людей, на которых можно положиться в борьбе. Остро даны автором эти поиски «неразоренных душ». Степан узнает, что в великой проверке, в великой очистке огнем иные, на кого он рассчитывал, предали родину, а многие, кого он даже и не помнил в лицо и не знал по фамилии, оказались подлинными

Строгий урок извлекает из этого для себя Степан: не по внешним признакам, не по словам и привычкам судить людей, а знать в них самое главное — душу.

И вот он видит вокруг себя народ — непокорный, могучий. Народ непокоренный, борющийся. С новым знанием человеческой души, мудро и осторожно строит он свое подполье, как строят пороховой погреб.

«Он шел и кидал свои гранаты — листовки, чачинские... взрывчатой силой — правдой... Они поражали самого страшного врага закабаленного народа — безверие». Умело поднимал он и организовал народ на борьбу.

Никто из людей, которыми двигал Степан, не спрашивал ни его, ни себя, по какому праву распоряжается ими этот бородастый, похотливый на бродяжку, человек. Они знали, кто стоит за ним. Родина? Нет, родина стояла за всеми. Но только за ним стояла партия. Партия вручила ему власть над их душами.

Знакомя людей со Степаном, председатель подпольной сходки говорил: «Этот человек пришел к нам от партии», — и все поднимали глаза на Степана. Этот человек пришел к ним от партии. Значит, — от Сталина. Он как посланец Сталина шел по этой вздыбленной, набухшей гневом земле — ему верили».

И снова он почувствовал себя хозяином, военачальником, вожакон на родной земле. Не немец хозяин здесь, а он, Степан Яценко, посланец партии, посланец Советской Родины.

Пошел за Степаном и старый Тарас.

Сильными людьми воспитал своих детей Тарас. Глубокий перелом произошел и в душе Андрея. Встреча с родным домом, где он оказался чужим, с отцом, который от него отвернулся, пробудили в нем голос совести. Он предьявил себе самый жестокий счет и понял, что только в бою он исправит свою вину перед самим собой, перед Родиной. Он пробился к своим, ему дали оружие. И вот он снова шел домой.

«Он снова шел домой, но теперь не робко, тропинкой, не в крестьянской свитке, тайком, как беглец, — а широкой дорогой боев и наступлений, в армейской шинели».

Младший сын Тараса Никифор был ранен под Сталинградом и выбыл из строя бойцов. Но его вернули к созидательной работе. Он тоже шел домой, вслед за наступающей Красной Армией, шел отстраивать новую жизнь. Его раны заживали, и заживали раны земли, поднимающейся из пепла, непокоренной земли, неистребимой жизни.

«Потому что такова жизнь: раны заживают. Они заживают...»

Так кончается эта книга.

И с глубоким вздохом гордости и счастья мысленно обращается Тарас Яценко к командиру идущей в город Красной Армии: «Могут тебе, командир, прямо в глаза смотреть и всем твоим воинам. У моей фамилии душа перед родиной чистая...»

Да, чиста перед родиной душа великого нашего непокоренного народа

В образе семьи Тараса мы видим миллионы наших людей, выдержавших самое грозное и трудное испытание, перед которым поставила их история.

Большой и заслуженный успех книги Б. Горбатова в том, что она раскрывает нам могучую благородную душу нашего народа, провозглашает ему славу и учит непоколебимой стойкости в борьбе, ненависти и презрению к врагу, воспитывает в людях чувства советского патриотизма. Таково идейное содержание книги Горбатова «Непокоренные».

Автор нашел яркие краски, чтобы заклеймить предателей родины. Нарцательным может стать имя Лизы-Луизы, девушки, продавшейся немцам. Заслуга автора в том, что он смело вскрывает эти уродливые явления и силу художественного образа приговждает уродов, позорящих землю, к позорному столбу.

В литературном отношении не все равноценно в книге. В иных случаях хотелось бы видеть не столь прямолинейные штрихи в развитии и раскрытии образов, большую уплотненность текста и строгость средств художественной выразительности. Может быть, несколько нескромно такое нарочитое подчеркивание предполагаемой близости своих героев, хотя бы по именам, с героями Гоголя. Но много в ней сильных образов и картин. А главное — она несет читателю правдивое, поучительное слово о жизни наших людей в немецком тылу. Почин автора, поднявшего эту острую и сложную тему, достоин всяческого поощрения.

Отдельные недочеты, разумеется, не могут изменить общей высокой оценки этого произведения. Автор «Непокоренных» дал нашему читателю книгу глубокого идейного значения. Это страницы летописи нашего сегодня. Она правдиво и горячо рассказывает о борьбе и думах нашего народа, ведущей роль партии большевиков, многому учит. Вполне заслужен ее большой успех.

УЗБЕКСКИЙ НАРОДНЫЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС

Проф. В. ЖИРМУНСКИЙ

★

1.

В дни Великой Отечественной войны, когда народы нашего Союза ведут героическую борьбу против фашистских захватчиков, нам особенно близки и дороги те величавые образы героического прошлого, которыми так богата наша народная эпическая поэзия.

Народы Советского Союза по праву гордятся богатейшей в мире сокровищницей героического эпоса, устного и письменного. Русские былины и «Слово о полку Игореве», украинские «думы», грузинская поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и армянский эпос «Давид Сасунский», нартский эпос народов Северного Кавказа, киргизский «Манас» и казахские богатырские песни известны в настоящее время далеко за пределами своей родины и сделались общим культурным достоянием всех братских народов нашего Союза.

Героический эпос узбекского народа стал предметом широкого общественного внимания и изучения только после Великой Октябрьской Социалистической революции. Это — в подлинном смысле открытие наших дней. Записано около пятидесяти эпических поэм, так называемых «дастанов», из которых каждый насчитывает несколько тысяч стихов. Не менее пятидесяти других поэм известны по названию, но пока еще не зафиксированы в записи. Лучшие из певцов-сказителей, поющих старинные героические песни, имеют в своем репертуаре по двадцати, тридцати и более поэм. В богатейшем фольклорном архиве Узбекского филиала Академии Наук СССР в Ташкенте хранится более восьмидесяти записей дастанов в исполнении различных народных сказителей — из Самаркандской и Бухарской областей, Ферганской долины, Хорезма и других частей Узбекистана. Из этого обширного материала за последние годы напечатано тринадцать дастанов — в популярных изданиях, сразу получивших широкое распространение среди читателей. Обширные связанные отрывки из десяти таких дастанов впервые были напечатаны в прекрасной хрестоматии Х. Зарифова «Узбекский фольклор» (Ташкент, 1939).

Узбекский дастан состоит из стихотворных партий, чередующихся с соединительными прозаическими отрывками. Такая форма эпической поэмы имеет широкое распространение. Народное стихосложение в тюркских языках основано на принципе счета слогов. Узбекский эпос пользуется одиннадцатисложным или более коротким семи- и восьмисложным стихом. Стихи объединяются смежными рифмами в более или менее обширные группы, либо образуют четверостишия, которые засвидетельствованы как строфическая форма тюркской народной эпической поэзии уже в X в. Стихи поются под аккомпанемент народного музыкального инструмента — домбры (двухструнной лютни) или кобуза (двухструнной скрипки с полым резонатором). Проза у хороших сказителей — рифмованная и ритмическая — говорится и сказывается речитативом, в котором музыкальное сопровождение только слегка маркирует ритм.

Носителями устной песенной традиции узбекского героического эпоса являются народные сказители, так называемые «бахши». Вышедшие из среды трудового народа, простые дехкане, земледельцы и пастухи по своей основной профессии, они связаны со своим народом повседневной трудовой жизнью и мироощущением, живут его страданиями и радостями, разделяя с ним его ненависть к поработителям и эксплуататорам в прошлом, его надежды на лучшее будущее, осуществившееся в наше время. Бахши являются одновременно и хранителями богатого песенного наследия прошлого, и творческими певцами-импровизаторами, видоизменяющими это наследие — конечно, в общих рамках живой традиции народного эпического мастерства. Таким образом эпическая песня в руках узбекского «бахши» и в наши дни является живым и творческим искусством: сравнение между собою вариантов одной и той же поэмы, записанных у разных певцов, всегда обнаруживает наличие самостоятельных творческих редакций. Бахши-импровизатор, способный на самостоятельное творчество, носит в народе почетное прозвание «шайр» (певец). Многие из таких сказителей прославились в наше время (подобно старому казахскому акыну Джамбулу) и как талантли-

ности. Среди таких крупнейших сказителей и народных поэтов наших дней наиболее широко известны и почитаемы скончавшиеся за последние годы Эргаш Джуман-бульбуль-огли, Пулкан-шаир, Нурмаң Абдушев, и ныне здравствующий — Фазиль Юлдашев, Ислам-шаир, Абдулла Нуралиев, награжденный почетным званием народного певца Узбекистана, и молодой хивинский сказитель и музыкант Курбанназар Абдулаев, тоже получивший это почетное звание.

Узбекские фольклористы за годы революции собрали обширный, частью еще неопубликованный материал, характеризующий условия бытования и исполнения народного эпоса, жизни и творчества этих замечательных народных певцов. Наиболее прославленные народные сказители Узбекистана пели не только в своем родном кишлаке, но, в зимние месяцы, свободные от сельскохозяйственных работ, совершали далекие поездки по знакомым селениям. Такое путешествие могло продолжаться иногда до полтора или двух месяцев. По приглашению своих друзей или погостянных слушателей, певец останавливался в том или ином кишлаке на несколько дней, иногда на неделю. Пение происходило каждый вечер. В доме хозяина, у которого остановился сказитель, собиравсь вечером все население кишлака. Певец пел от зари до зари, с перерывом в полночь. В качестве прелюдии к исполнению дастана он начинал пение с отдельных избранных эпических отрывков или лирических пьес своего сочинения (т. н. «терма»). За ночь или за две ночи он исполнял обыкновенно целую поэму; например, две части такой поэмы, как «Алпамыш», обычно занимали две ночи.

Во время таких поездок по кишлакам многие выдающиеся певцы подбирали себе учеников. Среди своих постоянных слушателей они высматривали способных юношей, интересующихся песней, обыкновенно — из кишлачной бедноты, и брали их к себе на воспитание. Молодые певцы обучались, слушая песни своего учителя и сопровождаая его в поездках по кишлакам. Под его наблюдением и руководством они сначала заучивали типические, традиционные места дастанов (как, например, отправление богатыря в поход, богатырская скачка, описание боя и т. п.), по-своему перелагая остальную часть поэмы. Подготовленные отрывки они демонстрировали сперва в кругу своих товарищей и учителя. В дальнейшем они начинали выступать вместе с учителем перед аудиторией своего кишлака, показывая в качестве прелюдии к пению учителя (при исполнении «терма») образцы своего искусства. Наконец, когда ученик овладевал значительной частью репертуара учителя, последний устраивал для него своего рода публичный испытание: он должен был перед избранной аудиторией самостоятельно исполнить целый дастан, после чего получал звание «бахши» и считался закончившим свое обучение. Такое профессиональное обучение сказителя поддерживало традицию мастерства и высокую требовательность к искусству сказителя.

Народный эпос до сих пор распространен в Узбекистане повсеместно, в особенности среди кишлачного населения, хорошо знающего имена и подвиги таких популярных эпических героев, как Алпамыш или Горогли. Однако издавна существовали отдельные кишлаки, служившие преимущественными рассадниками и школами эпического искусства, и в них — отдельные семьи, особенно одаренные в этом отношении. Таким «кишлаком певцов» был, например, на протяжении двух последних столетий кишлак Курган, Нуратинского района, Самаркандской области, из которого вышел крупнейший узбекский сказитель нашего времени — Эргаш Джуман-бульбуль-огли. В этом маленьком кишлаке, насчитывавшем всего семь «больших семейств», в середине XIX века было более 20 сказителей и сказительниц, имена которых дошли до нас по рассказам Эргаша и его старейших односельчан. Сам Эргаш, как он рассказывает в своей стихотворной автобиографии, был сказителем в седьмом поколении. Он перечисляет имена своих предков-певцов, начиная с пятого, — Ядгар, Лапас Мулла Таш, Мулла Хамурад и Джуман. Известной сказительницей была также прабабушка Эргаша — Телла-кампини. Отец Эргаша — Джуман (около 1820—1888 г.) особенно прославился как шаир и за свое искусство получил в народе прозвище «соловей» («бульбуль»). Два старших брата Джумана, Джассак и Ярлакаб, также были знаменитыми сказителями. Среди учеников Джассака впоследствии особенно прославился Пулкан-шаир. Он знал более 70 дастанов, из которых самый обширный — «Кирон-хан» один насчитывает около 20.000 стихов. Пулкан учился у Джассака в начале 1890-х годов и был по счету двенадцатым его учеником. Талантливыми сказителями были также двое младших братьев Эргаша — Абдукаил и Абдуджалил.

Эргаш знал не менее 15 старых дастанов, из которых записано 8, из них 5 уже напечатано или печатается. Эти дастаны дают прекрасное представление о художественном стиле курганской школы сказителей, из которых вышел Эргаш. — с ее яркой фантастикой, богатой образностью, живописностью описаний, разработанностью деталей, блеском и орнаментальностью поэтической отделки.

Другим, не менее важным центром распространения эпического искусства была Булунгурская школа сказителей, из которых вышел крупнейший из ныне здравствующих узбекских эпических певцов — Фазиль Юлдашев. Фазиль родился в 1872 г. в кишлаке Лойка, Булунгурского района, Самаркандской области, и происходит из узбекского полукочевого племени Кюрк. В конце XIX в. в родном кишлаке Фазиль жили три знаменитых сказителя из того же племени — братья Юлаш, Кулдан и Суяр. Из них наибольшей известностью пользовался Юлдаш-шаир, который был знаменит среди своих современников и как певец, и как учитель певцов. Из его школы вышло 11 учеников, имена которых еще пом-

нит Фазиль. Сам Юлдашшаир был учеником еще более крупного сказителя, тоже Юдаша, получившего за свое мастерство (подобно отцу Эргаша Джуману) прозвище Бульбуль (соловей). Юлдаш Бульбуль был в свою очередь учеником Махаммад-шаира, жившего во второй половине XVIII века.

Биография Фазила Юлдашева типична для жизненного пути большинства узбекских сказителей, вышедших из кишлачной среды (как Пулкан, Ислам-шаир, Абдулла Нуралев и др.). Отец его был бедным деханином. Он умер, когда Фазилу было всего пять лет. Мальчик остался неграмотным. С десятилетнего возраста ему пришлось служить пастухом и багратишь у баев в соседних кишлаках, проводя лето и зиму в степи и получая за тяжелый труд скудную пищу и по три рубля в год деньгами. Пастушеская, полукочевая жизнь оказала известное влияние на развитие поэтических способностей у многих узбекских сказителей, как рыбацество — на певцов былин русского Севера. Очень рано Фазиль стал проявлять способности к пению. От других пастухов он научился играть на домбре, и пастухи же были первыми слушателями его лирических песен. В возрасте 19 лет Фазиль вернулся в свой родной кишлак и стал обрабатывать тот небольшой клочок земли, который достался ему в наследство от отца. Здесь он привлек своими способностями внимание трех братьев сказителей, своих односельчан, и сделался учеником Юлдаш-шаира. Усвоив в течение 2—3 лет репертуар своего учителя, Фазиль успешно сдал публичное испытание и стал самостоятельно выступать как сказитель, продолжая в то же время заниматься крестьянским хозяйством.

Репертуар старого эпоса, которым владеет Фазиль, состоит из 43 дастанов, из которых до сих пор записано 21. Из них до настоящего времени напечатано 7 — больше, чем от кого-либо другого из узбекских сказителей.

После Великой Октябрьской революции Фазиль выступает как создатель новых, революционных дастанов. Ряд стихов и песен, сложенных им за истекшее 25-летие, откликаются на актуальнейшие темы народной жизни в эпоху социалистического строительства. Он продолжает жить в своем родном кишлаке, где является членом колхоза и занимается сельским хозяйством, попеременно исполняя по просьбе окрестных колхозников свои старые дастаны и новые песни. Два года назад исполнилось 50 лет его творческой деятельности как народного сказителя. Замечательный мастер простого, высокого, героического стиля, воспитанного Булунгурской школой сказителей, пастух, сохранивший и в нынешней своей поэтической славе черты патриархальности и благородной простоты, столь характерные для народной среды, из которой он вышел, он является для узбекского героического эпоса тем классическим сказителем, каким для русских былин когда-то являлся Трофим Рябинин.

2.

В составе эпической литературы народов Средней Азии, в частности — в узбекском народном эпосе, мы различаем два слоя. Первый, более древний, представляет эпос богатырский, героический в собственном смысле. Его основным содержанием являются богатырские подвиги народных героев в борьбе между враждующими племенами, защита родины от иноплемennого нашествия. Казахские богатырские песни (джирь-), киргизский «Манас» являются классическими подчерами этого «степного эпоса». Второй слой, более новый, составляют дастаны по преимуществу романтического содержания, сочетающие героичность рыцарских подвигов и приключений с мотивами любовными и сказочно-фантастическими. На Востоке, как и на Западе, старинный тип эпоса богатырского, героического сменяется новым жанром, хотя в живой народной традиции устного эпического творчества оба слоя наличествуют одновременно, находятся во взаимодействии и переплетаются.

Старинный богатырский эпос представлен в репертуаре узбекских сказителей замечательной поэмой «Алпамыш». Дастан об Алпамыше известен по всему Узбекистану и пользуется наибольшей любовью и популярностью среди узбекского народа. «Алпамыш» записан в исполнении целого ряда узбекских сказителей. Лучший вариант — Фазила Юлдашева — напечатан по-узбекски с некоторыми сокращениями под редакцией поэта Хамида Алимджана (Ташкент, 1939 г.).

Поэма состоит из двух частей, тесно связанных между собой по содержанию.

Сюжетом первой части является заполучение невесты, сватовство — одна из наиболее популярных тем в эпической поэзии Востока и Запада. Узбекская девушка Барчин, из племени Конграт, живет вместе со своим отцом Байсаром в прикаспийских степях, куда откочевал ее отец, поссорившись со своим старшим братом Байбори. Чтобы избежать брака с ненавистными ей женихами, Барчин устраивает между ними ряд состязаний, обещая свою руку победителю. Состязания эти — скачка коней («пайга»), любимая богатырская забава степных кочевников, соревнование в искусстве владения луком и в стрельбе в цель и борьба. Барчин надеется, что победителем в этих состязаниях окажется обрученный с нею с детства молодой узбекский богатырь Алпамыш, сын Байбори, который приезжает за своей невестой. Помощником Алпамыша в этом трудном сватовстве является степной богатырь Караджан, который из соперника становится другом героя. Караджан на коне Алпамыша Байчибаре обгоняет всех его противников, несмотря на коварство остальных участников скачки, которые качают его коня, вбивая гвозди в копыта. Тот же Караджан первый вступает в единоборство с другими соперниками, после чего Алпамыш завершает его победу, поборов самого сильного из них — Кокалдаша.

Таким образом Алпамыш выходит победителем.

лем из всех состязаний и становится мужем Барчин.

Во второй части поэмы герой попадает в плен к степным кочевникам. Во время его семилетнего отсутствия главою племени Конграт становится его младший брат, Ултантаз. Новый властитель жестоко угнетает старого отца Алпамыша Байбори и его малолетнего сына Ядгара и принуждает Барчин стать его женой. Алпамыш, неузнанный, поменявшись одеждой со своим старым рабом, пастухом Кулаем, приходит на свадебный пир Ултантаза, освобождает жену и близких и убивает насильника. Поэма заканчивается возвращением на родину добровольного изгнанника Байсари и воссоединением распавшегося племени Конграт под властью героя Алпамыша.

Кроме узбекской версии «Алпамыша» известны и изданы казахская и каракалпакская, в основном совпадающие с узбекской по содержанию. Сказание об Алпамыше, повидимому, древнее, чем современные национальные деления. Можно считать, что последняя редакция «Алпамыша», сохранный современной устной традицией, сложилась среди племени Конграт, когда конгратцы поселились в районе Термеза и озера Байсун (XV—XVII вв.).

Однако народный эпос в устной традиции обычно проходит через ряд последовательных переоформлений, и есть все основания предполагать, что и в данном случае известной нам «байсунской» редакции «Алпамыша» предшествовала другая, более древняя, которую конгратцы принесли в южный Узбекистан со своих прежних кочевий на берегу Аральского моря. Среди памятников эпического творчества тюркского народа огузов, опубликованных академиком В. В. Бартольдом по рукописи XVI в., озаглавленной «Книга моего деда Коркуда», имеется поэма «Рассказ о Бамси Бейреке, сыне Кам-Бури», очень близко совпадающая с «Алпамышем» как в первой, так и во второй части. Основное различие только в том, что вместо состязания женихов «Бамси-Бейрек» содержит еще более архаический мотив брачного состязания между женихом и его нареченной невестой (в верховой езде, стрельбе из лука и борьбе).

Еще более далекие перспективы в прошлое открывает рассмотрение «Алпамыша» в рамках международной эпической традиции. Сюжет героического сватовства, богатырского состязания женихов между собой или с отцом и братом невесты, или с ней самой, имеет широкое распространение в мировой эпической поэзии. В частности, целый ряд параллелей может быть приведен из античных мифов и сказаний, в которых, как и в «Алпамыше», обычными формами этих состязаний являются бег (или конские ристалища), стрельба из лука или борьба. Между прочим, Одиссей добывает Пенелопу состязанием в беге с другими жемчужинами. Известный английский этнограф Фрэнклер, сопоставляя широко распространенные эпические сказания о героическом сватовстве со свадебными обычаями первобытных народов, высказывает предположение, что «подобные

предания отражают реальный обычай, согласно которому состязания в беге служат способом заполнения невесты; подобный обычай, как будто, пользуется действительно большим почетом у разных народов», хотя, как добавляет Фрэнклер, в настоящее время обычай этот большей частью вырождается в простую инсценировку.* Такой обычай, по свидетельству античных писателей, был известен у саков, одного из древних народов Средней Азии. Претендент на руку девушки должен был осилить ее в борьбе; если побеждала девушка, он становился ее рабом. В форме игры состязания в верховой езде между юношами и девушками были широко распространены до недавнего времени среди казахов и киргизов. Молодой джигит, участвующий в «скачке за девушку» («кыз-качар»), старался нагнать наездницу и посадить ее к себе на лошадь; свидетель имел право на поцелуй. В «Алпамыше», конечно, подобное состязание между женихами уже не является брачным обычаем, бытовым явлением. Этот поэтический мотив, корни которого лежат в глубокой древности, служит здесь одним из элементов идеализации образа народного героя, испытанием и мерой его мужества и богатырской силы.

Не менее древние корни в эпическом творчестве народов Востока и Запада имеет вторая часть «Алпамыша» — рассказ о возвращении героя из плена и его приходе неожиданным и неузнанным на свадьбу своей жены с захватившим ее обманом или насильем соперником. Сюжет «мужа на свадьбе своей жены» имеет чрезвычайно широкое распространение в фольклоре и средневековой литературе европейских народов. Он известен в нескольких десятках самостоятельных версий — французских, немецких, английских, итальянских, испанских, скандинавских, славянских. В частности — в русской литературе он представлен известной былинной о Добрыне и Алеше, рядом народных сказок («Солдат и леший» др.) и встречается в старинных повестях и лубочных романах западного происхождения (как «Бова-королевич» и «Брунsvик»). Широкому распространению этого сюжета на Западе способствовала в особенности эпоха крестовых походов, создавшая для него реальные бытовые предпосылки и наложившая на западные варианты характерный отпечаток средневековой романтики. На Ближнем и среднем Востоке эта западная версия сюжета представлена известной повестью «Ашик-Кериб», в свое время записанной в Тбилиси еще Лермонтовым.

Гораздо более древний вариант «возвращения мужа» представляет «Одиссея» Гомера. Этот вариант, однако, очень резко отличается от западных версий и вместе с тем удивительно близко сходится с среднеазиатскими, с «Алпамышем» и «Бамси-Бейреком». Мы находим в «Одиссее» и в «Алпамыше» старика-отца героя, живущего в бедности и унижении (Байсари и Лаэрт), несовершеннолетнего сына, угнетаемого насильниками (Ядгар и Телемах).

* См. Д. Фрэнклер, «Золотая ветвь», изд. «Атеист», 1928, вып. 1, стр. 182.

старого пастуха, раба и друга дома, в роли помощника героя («Култай и божественный свит» — попас Евмей), наконец — состязание с женихом и свадебными гостями в стрельбе из богатырского лука, который может натянуть лишь возвратившийся на родину герой, его хозяин (Алпамыш и Одиссей). Такое близкое сходство сюжета не означает, конечно, прямого влияния «Одиссеи» Гомера на «Алпамыша»: оба произведения, повидимому, имели своим источником древнейшие сказочные сюжеты. Тем не менее оно не может быть случайным и в свете других аналогичных сопоставлений позволяет поставить вопрос о давних связях между античной и среднеазиатской культурой.

Слагавшийся в течение многих столетий дастан об Алпамыше, в той окончательной форме, которую придали ему узбекские сказители, является одним из прекраснейших образцов мирового героического эпоса, сохранивших как эпос, приписываемый Гомеру, черты благородной простоты, спокойного величия, патриархальной человечности, свойственные той ранней, «эпической» стадии развития общества, которую Маркс недаром назвал «счастливым детством человечества». Содержание «Алпамыша» определяется героикой богатырских подвигов, героической любовью и дружбой, верностью родине и родному народу. Героическое мужество, любовь, красота побеждают в борьбе с враждебными силами, но эта борьба требует высшего, самоотверженно-героического напряжения всех сил и способностей человека, тем самым обнаруживая и все возможности, заложенные в его личности. В этом — воспитывающее значение образов народного эпоса, в особенности — для нашего героического времени.

Тема любви героя к своему народу и родине с необычайной теплотой и задушевно-лирическим раскрытием в особенности во второй части поэмы, рассказывающей о возвращении Алпамыша на родину. Тоска бесприютного странника, возвращающегося из чужих краев, по родному дому и родине, превращает последние песни узбекского эпоса в героическую элегию, напоминающую «Одиссею» Гомера и по своему общему лирическому колориту.

Когда Алпамыш, возвращаясь домой из семилетнего плена в соседней стране, в первый раз с вершины горы Аскар видит родные степи, озеро Байсун, летние кочевья Кунгратова племени, слезы, падающие из глаз его, «нанизываются в ряд, как бусы ожерелья».

В ряде встреч Алпамыша с караванчиками, сестрой, Култаем, матерью, отцом, сыном, наконец — с Барчин, этот высоко человеческий мотив тоски по родине и по родичам получает дальнейшее углубление и развитие. Даже конь Алпамыша Байчибар, наделенный, как настоящий богатырский конь в народном эпосе, человеческим разумом и чувством, вступая на родные пастбища, «ржет, кусая удила». Заслышав его ржанье, из табуна, пасущегося в камышевых зарослях, выбегает старая кобыла, мать Байчибара, и начинает радостно кружиться вокруг него. Алпамыш, со слезами на глазах, отпускает Байчибара в рошу: «Радуй-

ся, Байчибар! Я тоже, если когда-нибудь, как ты, приду в свою хижину, буду радоваться, странник, повстречавшись со своею матерью». Дальше Алпамыш проезжает мимо стада верблюдов, которых гонит по сухой степи его сестра Калдиргач. И вот старый верблюд, семь лет не вставая пролежавший без движения на пастбище, пока отсутствовал Алпамыш, почуввав его близость, внезапно подымается, приветствуя возвращение своего хозяина.

3.

Не менее значительное место в репертуаре узбекских народных сказителей занимают дастаны романтического содержания, с сюжетами любовно-авантюжными и сказочно-фантастическими. Они обычно рассказывают о любви героя к пери или к царевне из далекой страны. Герой отправляется в поиски за пленившей его волшебной красавицей, переживает в пути различные трудные испытания, борется с драконами и многоголовыми дивами, охраняющим подступы в ее царство, встречается с хитрыми старухами-колдуньями, напоминающими бабу ягу русской сказки, спускается в подземелья и пещеры, плывет по подземным рекам, попадает в заколдованные сады и после многих препятствий достигает своей цели.

Любовь героя к его возлюбленной носит экзальтированный, романтический характер, она зарождается внезапно, по первому взгляду, или даже заочно, по портрету красавицы или под влиянием любовного сна. Потрясенный любовным экстазом, влюбленный теряет сознание, льет слезы, произносит взволнованные лирические монологи. В то же время возвышенная любовь вдохновляет его на героические подвиги, необходимые его родине и для завоевания красавицы, и является испытанием его стойкости и мужества. Это сочетание любовной романтики с героикой фантастических приключений напоминает, как уже было сказано, рыцарские романы западноевропейского средневековья, стихотворные и прозаические, появляющиеся со второй половины XII века и еще более — возникшие на их основе так называемые «народные книги» XVI—XIX вв. Термин «народный роман», принятый тюркологами, более всего применим к этой группе эпических поэм, черпавших свои сюжеты не только из устной народной эпической традиции, но также из письменной литературы персидских и узбекских «народных книг» и из богатой сокровищницы восточной народной сказки. К этому жанру относятся, например, поэмы «Кунтугмиш», «Ширин и Шакар», цикл — «Рустам-хана» и др.

Обширный цикл узбекских дастанов о Горголи объединяет героическую и романтическую тематику. Эпические сказания о Горголи известны у многих народов Передней Азии — у азербайджанцев, армян, грузин, а в Средней Азии, кроме узбеков — у туркмен, казахов, таджиков.

Несмотря на общие имена и сходство основной сюжетной рамки, указывающие на общность происхождения, сказания эти представ-

Абсолютно существенные различия в дальнейшей развитии сюжета, в трактовке образов героев и даже в национальных особенностях эпической формы. Азербайджанский «Кёр-Оглы», наиболее у нас известный и уже дважды (в 1856 и в 1940 годах) переведенный на русский язык,* состоит из цикла коротких прозаических повестей со вставными стихами, представляющими собою лирические песни, приписываемые этому легендарному герою. Песни эти распространены в народе и помимо мотивирующей их содержание прозаической сюжетной рамки. Азербайджанский Кёр-Оглы по своему происхождению (как и в других версиях) — туркмен из племени Тэкэ — благородный партизан-джигит типа знаменитого Робина-Худа английских народных баллад и в то же время певец-импровизатор, ашуг, воспевавший свои собственные подвиги. Кёр-Оглы во главе своих сорока джигитов ведет партизанскую борьбу против богатей и угнетателей, борется против пашей, на своем дивном коне Гирате совершает чудеса храбрости, переодетый проникает в лагерь врагов и похищает приглянувшихся ему красавиц, которых он соблазняет своей песней или славой своих подвигов. Среди джигитов Кёр-Оглы самые знаменитые — его приемные сыновья: красавец Айваз, сын мясника, его виночерпий, и Хасан, сын кузнеца. Постоянной резиденцией Кёр-Оглы является горная крепость Ченлибель. Завязкой его поэтической биографии является ослепление отца Кёр-Оглы жестоким и несправедливым ханом Гассаном, у которого он служит конюхом (Кёр-Оглы значит «сын слепого»). Месть отца и сына насильнику кладет начало борьбе Кёр-Оглы против народных угнетателей, его славе джигита, народного мстителя.

В узбекском эпосе сказанию о Горогли посвящены не короткие прозаические рассказы, а обширные дастаны обычного типа. Народная молва называет «40 дастанов о Горогли», на самом деле их зарегистрировано несколько больше — 42 или 43; из них узбекскими фольклористами за годы революции записано пока 34. Ни один из ныне живущих узбекских сказителей не знает всех поэм, входящих в цикл. Существует и народная книга о Горогли, в популярном литографированном издании, представляющем литературную обработку незначительной части этих устных эпических сказаний.

Общие рамки сюжета узбекского «Горогли» совпадают с азербайджанским: герой и его 40 джигитов, его чудесный конь Гират, товарищ его подвигов, его приемные сыновья Аваз и Хасан, крепость Чамбиаль, ослепление отца, как завязка действия. Но образ Горогли в узбекском эпосе претерпел существенные изменения. Узбекский Горогли — не партизан и не певец, а бек узбеков и туркмен. Потомок знатного рода, мудрый правитель своей страны,

заботящийся о благе народа и защищающий его от нападения врагов. Когда другие ханы и беки нападают на его народ, Горогли со своими джигитами выступает на его защиту или поднимает народное ополчение для разгрома иноземных захватчиков.

Горогли был другом своего народа, — так поется в песне, прославляющей этого легендарного героя. Враг народа был врагом Горогли. Он заботился о благоустройстве Чамбиала, в неровной местности провел дороги и оросил всюду бесплодную пустыню, в степи провел арыки и вырыл пруды. Голодных он кормил досьята и одевал голых. Чамбиаль стал мечтой всех народов. Не было других правителей, таких милостивых и щедрых на благодеяния, как Горогли.

В образе Горогли узбекский народ воплотил свой идеал вождя и правителя страны и вместе с тем эпического богатыря, героического защитника родины. Вот почему этот легендарный народный герой пользуется такой любовью широчайших народных масс Узбекистана.

Поэмы о Горогли рассказывают последовательные этапы его легендарной биографии: трагическую историю его рождения — ослепление отца и рождение в могиле от мертвой матери (имя Горогли толкуется узбекским эпосом как «сын могилы»); далее — воспитание мальчика-сироты простым пастухом Рустамом; его воцарение в Чамбиале; его войны против арабских завоевателей (Рейхан-араба и Бекташ-араба), против других ханов и беков, угрожающих свободе и независимости его страны.

Романическое содержание имеют дастаны, рассказывающие о женитьбе Горогли на сказочных красавицах — пери, за которыми он отправляется в далекие неведомые страны — Юнус-пери, Мисколь-пери, Гюльнар-пери. Образ Горогли в этих дастанах приобретает сказочные черты. Он сражается с дивами, драконами, великанами, руками убивает льва. Он владеет силами волшебства, среди голой пустыни высекает воду из камня, по своему желанию оборачивается зверем или птицей (поэма «Малика-Аяр»). Дивы трепещут при одном имени Горогли и высказывают ему подобострастную икорность, люди каменеют от его грозного взгляда и падают без чувств от его боевого клика.

Ряд поэм посвящен приемным сыновьям Горогли — Авазу и Хасану. О женитьбе Хасана рассказывает поэма «Даали». Красавец Аваз-хан является героем обширного цикла романтических и сказочных приключений, связанных с похищением красавицы-невесты, какой-нибудь царевны или пери, охраняемой страшными дивами, великанами, безобразными колдуньями, в заморских, фантастических странах (поэмы «Кундуз и Юадуз», «Малика Аяр», «Ботакуз», «Зульфизор», «Интизор», «Гюлихирамон» и др.). Своими романтическими приключениями Аваз напоминает Гована в средневековых французских сказаниях о короле Артуре и рыцарях «Круглого стола». Вместе с тем, подобно Говану, он самый храбрый из

* См. «Кёр-Оглы. Восточный поэт-наездник», перев. с английского. Тифлис, 1856, и «Кёр-Оглы. Азербайджанский народный эпос», Баку, 1940.

джигитов Горогли, и одно имя его наводит страх на врагов.

Любовь служит испытанием доблести не только самого героя, но и его подруги. Когда Аваз ранен и верный конь Гират уносит его в неприступные горы, его возлюбленная Гюлихирамон, в его одежде и вооружении, вступает в бой с преследующими его врагами. «Подруга раненого богатыря», говорит Гюлихирамон, «должна биться за него с врагами. Позор для нее вернуться с поля битвы, не победив врага». Гюлихирамон, неузнанная, бьется с вражеским войском 4 дня и 4 ночи, пока на помощь Авазу не приходит Горогли со своими джигитами. Подобная ситуация, в которой подруга раненого героя показывает свое мужество перед лицом врага, повторяется в узбекском эпосе неоднократно.

За вторым поколением героев, в порядке генеалогической циклизации, следует третье: у Аваза сын — Мурали, у Хасана — Равшан; оба являются героями романтических приключений. Генеалогическая циклизация вообще — характерное явление для узбекского народного эпоса. Обо всех его популярных героях существуют поэмы, рассказывающие о подвигах их сыновей: поэма «Ядгар» посвящена сыну «Алпамыша», поэма «Али-бек и Боли-бек» — сыновьям Юсуфа и Ахмеда, героев популярной хорезмской воинской повести того же названия. У сына Аваза Мурали в свою очередь имеется сын Джахангир, также — герой романтического дастана. Это — представитель уже четвертого поколения, правнук Горогли. Когда он возвращается на родину после долгого отсутствия, в Чамбале вместо Горогли уже воцарился его сын Аваз. Горогли, по народному преданию, дожил до 120 лет. Поэма, завершающая цикл рассказом о смерти престарелого героя («Эр-огли»), до сих пор не записана.

4.

Значительная роль творческой импровизации в искусстве крупнейших узбекских народных сказителей-шанров позволила им в наши дни выступить в качестве создателей новых дастанов и лирических песен на темы, выдвинутые жизнью Узбекистана и всей нашей страны в течение истекшего двадцатипятилетия Октябрьской революции.

Среди новых дастанов выделяется поэма Пулкана «Хасан-батырак», посвященная социалистической революции в узбекской деревне. Поэма рассказывает о любви бедного батрака Хасана и красавицы Ойкис, дочери его хозяина богача Айвазбая. Освобождение узбекской женщины показано поэтом на широком социальном фоне борьбы деревенской бедноты против баев-эксплуататоров. «Хасан-батырак» был большой удачей Пулкана и советской народной литературы Узбекистана. Поэма эта переведена и на русский язык.*

* «Литература и искусство Узбекистана» (1938, кн. V—VI, стр. 72—83).

Эргаш Джуман-Бульбуль-огли выступил уже в 1930-х годах с поэмой «Товарищ Ленин», также переведенной на русский язык.** В ней он ярко изобразил страдания узбекского народа в прошлом и его возрождение к новой жизни под руководством великих вождей народа Ленина и Сталина.

Великая Отечественная война против немецких захватчиков вызвала новый подъем узбекского народного творчества. Далеко не все, что создано на эту тему узбекскими народными певцами, в настоящее время уже собрано и записано, и очередной задачей фольклористов Узбекистана должно явиться собрание этого драгоценнейшего материала народного патристического энтузиазма. Из того, что было собрано и напечатано, выделяются военные песни Фазиля Юлдашева: «Моя армия», «Отважные джигиты — в бой!» и др.

В особенности заслуживают внимания созданные народным сказителем Ислам-шаиром три книги песен, посвященных Великой Отечественной войне: «Книга войны», «Книга героев» и «Книга победы». Извлечение из этих книг издано и на русском языке, в переводе поэта В. Державина, под заглавием «Страна боевая» (1942). Сборник открывается прекрасным стихотворением, посвященным Сталину — великому вождю народов Советского Союза в их героической борьбе с фашистскими захватчиками («Полководец Сталин»):

Народов всей страны руководитель — ты,
Семьи трудящихся освободитель — ты,
Вдов и сирот отец и покровитель — ты,
Среди богатырей вождь-победитель — ты,
Великой армии душа и разум — Сталин!

Узбекский народный эпос прославляет героизм, свободулюбие, благородство, бесстрашие, любовь к родине, воплощением которых всегда являются его герои. Воспитательное значение такого искусства чрезвычайно велико. Героические образы его вдохновляют на борьбу против врага лучших сынов узбекского народа, сражающихся в рядах героической Красной Армии, таких богатырей нашего времени как Герои Советского Союза Кучкар Турдыев, Туйчи Эрджигитов и многие другие.

Ознакомление широких масс советских читателей с богатством поэзии братских народов Советского Союза имеет особое значение в наши дни — дни Великой Отечественной войны. Общий интерес к этому народам нашей страны является для нас свидетельством непоколебимой дружбы советских народов нашего Союза. «Дружба между народами СССР, — сказал товарищ Сталин, — большое серьезное завоевание. Ибо пока эта дружба существует, народы нашей страны будут свободны и непобедимы».

** Иргаш Джуман Бульбуль «О Ленине и Сталине» (1938, кн. 1, стр. 19—26).

ПОВЕСТЬ О ФРАНЦИИ

Б. ПЕСИС



Героическая борьба Красной Армии освободила сознание миллионов людей в Западной Европе от тяготевшего над ними зловещего мифа о непобедимости немцев.

Мы помним, какими пришли на нашу землю гитлеровцы, обнаглевшие на европейской равнине. В повести Василия Гроссмана «Народ бессмертен» изображено вторжение немцев в украинскую деревню. Упитанный гитлеровец, стоя в танке, лакомится яблоком; он почти скушает, пухлая рука, перехваченная ниткой кораллов, по-привычке победоносно устремлена вперед...

Мифическая «непобедимость», которой гитлеровцы собирались ставить монументы, отнюдь не была похожа на Афины-Палладу, в полном вооружении вышедшую из головы Зевса. Родившись в воспаленном немецком мозгу, легенда о неодолимости агрессора была «оснащена» мюнхенцами, а затем утвердилась в гитлеровских походах на Западе, в городах Бельгии и Франции, выданных врагу. Вот, где немцы набрались своей завоевательской спеси. Очевидцы рассказывают, как воевали немецкие танкисты в иных городах Франции: высунувшись из люка, они молча, жестом полицейского, регулирующего уличное движение в Берлине, предлагали французам расстаться перед победителем. Они попробовали было повторить этот жест у нас на советской земле... К нам гитлеровцы пришли уже на машинах французской фирмы Рено, закованные в броню чешских заводов Шкода, откормленные на югославском хлебе и скандинавском сале. Но ничто им не помогло: советский красноармеец расправился с мифом о тысячелетнем господстве немцев, когда они попробовали было вторгнуться на нашей земле жест победителя.

Сейчас, когда Красная Армия гонит бронированное стадо Гитлера вон из нашей страны, особенно вспомнить картину «блиц-крига» в Западной Европе, после которого мы оказались лицом к лицу с немцами, с немецкой военной машиной, усиленной ресурсами десятков европейских стран.

После многих книг, в которых зарубежные авторы на разные лады пытались объяснить

поражение Франции, с интересом читаешь живую книгу Габе. Это уже шаг от журнализма к писательству в изображении событий 1940 года. Для нашего читателя это первая непосредственная встреча с участниками драмы; перед нами живые образы городов и людей Франции, их судьбы в дни немецкого нашествия. Наконец, это — талантливое и поучительное изображение врага. Тут Габе, хорошо знающий Германию, пожалуй, немного сильнее других авторов, произведения которых переведены у нас. Эти авторы любят Францию, но мало изучали ее врага. Габе показывает немецких оккупантов во Франции так, что из-за их спины встает позорный облик всей гитлеровской Германии.

Ганс Габе — псевдоним антигитлеровского журналиста, венгерца по происхождению. Габе проживал во Франции в качестве эмигранта и с начала войны вступил в «21-й полк иностранных волонтеров».

Главным героем своей повести-хроники Габе избрал самого себя. Герой этот иногда идеализирует себя и своих товарищей по полку. Своей неотразимостью и неуязвимостью он даже напоминает героев приключенческих романов. В подлиннике книга Габе называется «Тысячи падут» и имеет эпиграф, смысла которого примерно такой: тысячи падут, но ты спасешься. Эпиграф выбран неслучайно — в этом противопоставлении собственной судьбы судьбе тысяч отражены некоторые черты героя: смелость и головокружительная предприимчивость. Но что бы ни думал Габе-литератор, привлечший к себе внимание в Америке, — удачливость Габе-солдата и военнопленного, бежавшего из гитлеровского лагеря в Америку, объясняется не только его личной энергией и ловкостью; но главным образом той солидарностью и помощью, которые ему оказали французские патриоты. Автор не может этого не чувствовать. Он вовсе не столь уж «демоничен», как того требует эпиграф, и свои удачи изображает не только как счастливое приключение, но как результат борьбы, — изображает с боевым задором и оптимизмом человека, прошедшего

школу войны и вырвавшегося из лап гитлеровских тюремщиков.

Во всяком случае рассказ о событиях в книге Габе достаточно реален, чтобы читатель мог определить, какое место занимал «21-й полк иностранных волонтеров» в этих событиях, что представляли собой волонтеры, а также и их биограф, артиллерийский наблюдатель 21-го полка Ганс Габе.

Под начальство французских командиров, частью из старых колониальных кадров, была поставлена довольно пестрая масса — люди из парижской богемы, интеллигентные, бежавшие из разных стран от гитлеровского террора, галицийские ремесленники и просто искатели приключений, вплоть до контрабандиста.. Предвоенные политические бури, испанская война, Мюнхен, а главное, преследования гестапо привели в этот полк разных людей, годами оторванных от родины, от своего народа. Многие из них верили, что, сражаясь в рядах французской армии против Гитлера, они вернут себе родину и сослужат службу стране, которая их приютила.

Полк с первых дней оказался в трудном положении. Никто и не думал заботиться о снаряжении и обучении волонтеров. Более того, Габе описывает французского генерала, который открыто выражал свою радость, когда ему докладывали о больших потерях, понесенных полком. Разрешая формирование этой части, генералы, повидимому, предполагали одним выстрелом убить двух зайцев: продемонстрировать, с одной стороны, свой «антигитлеризм», а с другой — в ходе войны освободиться от тех подлинно-антигитлеровских элементов, которые оказались в полку.

После долгих месяцев бездействия 21-й полк попал в самую гущу событий. Габе наблюдал трагедию французских солдат: их заставляли отступать перед врагом, которого они еще не видели, на глазах у всего народа.

Французская армия часто не отвечала даже на самые простейшие маневры немецких артиллеристов, которыми командовали, как на параде, гитлеровские офицеры с моноклями. Капитулянты в течение девяти месяцев ничем не оправданного бездействия приучали французского солдата к мысли о том, что эта война есть не что иное, как охота прекрасно вооруженных немцев на беззащитных французов, не успевших вооружиться... «по вине народного фронта». Основной командой в полку было... «ложись» и «прячься». Наверху в штабах творился миф о непобедимости немцев, снизу шел другой миф, — не менее опасный, — распространявшийся военными консерваторами. Капитан Бильеро из 21-го полка утверждал, что для победы над немцами достаточно «повторить прошлую войну теми же методами, с тем же вооружением, с теми же офицерами и даже с теми же «чудесами». «Нашему продвижению, — пишет Габе, — мешал тот род оружия, который не был принят в расчет нашими старыми войсками, ибо с ним они не встречались в первой мировой войне, а именно люфтваффе».

Габе прекрасно показывает работу времени, расстояние, отдаляющее современную войну от прошлого, недавнего. В походе волонтеры набредают на остатки траншей, — убежища первой мировой войны, — широкие квадратные ямы, вырытые людьми, которые мало опасались нападения с воздуха. «Я вырыл палаш... Кто-то нашел заржавленный пистолет. Вооруженные этими старомодными орудиями смерти, мы были похожи на провинциальных актеров». Все это выглядело как древний мир, как музей.

Книга показывает, что несчастье французской армии во вторую мировую войну было не только в ее материальной отсталости, но и в общем ее состоянии. Из армии демократической страны не выветрился еще кастовый дух. Трудно было французскому солдату в этот период войны понять, за что он идет в бой. Голодных волонтеров обгоняли роскошные кухни с неприкосновенным и непрерывно пополнявшимся запасом шампанского. Ветеран вел на цепочке офицерскую собачку. Никто не наказывал солдата, бросившего винтовку, зато строжайше запрещалось оставлять без защиты собачку какою-нибудь салонного вояки. Габе приходит к мысли, что неподготовленность французской армии, пассивность и отсталость ее стратегов — так же, как активность и безнаказанность капитулянтов, — коренились в социальных и политических причинах.

«... Мы не были готовы к этой войне, — говорит лейтенант Сен-Брис. — Я говорю не о вооружении. Это мы могли бы наверстать за девять месяцев. Но ни один француз не знал, за что он дерется... Надо, чтобы народ знал, за что он умирает».

Враги Франции торжествовали, когда измотанные бесцельным «бегством вперед» французские солдаты, — которых сначала морили голодом, а потом спавали, — набрасывались на продовольственные склады. Читая эти страницы, вспоминаешь слова Гюго о том, что позорный мир и позорная война вызывают ненависть, которая направлена не против народа, а против преступных правителей. Французский солдат переживал двойную трагедию: перед лицом врага, с которым ему не давали помериться силой, и перед лицом своего народа, который ему, солдату, не позволяли защищаться.

21-й полк был свидетелем и жертвой предательства в Сент-Менегульде. По приказу начальства здесь был взорван северный мост, по которому французы могли в порядке отступить и собрать свои силы, и оставлен в целости южный мост — этой дорогой немцы в положенный час вступили в город.

Но в эти, пожалуй, самые страшные дни лета 1940 года все же сказались моральные силы «той Франции, за которую стоит умереть». Лейтенант Сен-Брис, уже после оставления Сент-Менегульды, десять раз в течение дня переправлялся вплавь через реку, чтобы вывести из города оставшихся там волонтеров. В самом городе французские солдаты

продолжали драться до последнего, поставив предметы на тела погибших товарищей. Габе рассказывает о нескольких героях, в действительности их было тысячи.

Военное начальство с удивлением и недоумением наблюдало «островки сопротивления». В стойкой, здоровой духом армии эти островки могли стать центрами, к которым тянулись бы мужественные и верные солдаты. Вель речь шла о судьбе страны, о народе, который умеет за себя постоять. Во французской армии островки героизма заклестывало капитулянтством, бессилием и прямой изменой. Полковник Бюисси, командир 21-го полка, оказавший «нежелательное» рвение в борьбе с немцами, был снят с своего поста. Его решили обвинить в алкоголизме; вещественным доказательством должна была служить... бутылка из-под иода, найденная в багаже полковника.

Можно было заставить отступить армию, но народ не отступил. Немецкие оккупанты, захватывая в плен французоз, говорили им: «Прежде всего вас нужно оторвать от Франции». Габе описывает, как отвечал на это народ. «Было какое-то почти классическое величие в этих французских крестьянках. Они не просто цеплялись за свой клочок земли. Они пустили корни во всю ширь Франции. Чтобы вырвать их с корнем, немцам пришлось бы изгнать их за пределы Франции».

Одно из лучших мест в книге — описание мирной горной деревушки в тот час, когда до нее докатилось отступление армии. Деревня — вся до единого — вышла навстречу солдатам, твердо веря, что ее защитят. Старик-мэр встречает солдат торжественной речью-клятвой: «Старое поколение поможет молодому. Старики, женщины, дети приготавлили солдатам сюрприз: они знали, что люди придут усталые, и потому сами вырыли для них окопы. Выполняя приказ, волонтеры все-таки отступили. Жители деревни, брошенные на произвол судьбы, не испытали страха — только гнев и презрение к предателям, обрешким на гибель французскую армию».

Вместе с сотнями других частей 21-й полк (то, что от него осталось) оказался в плену у немцев. Леса были еще полны тысячами людей, которые притаились в надежде уйти от немцев, а по дорогам Франции уже тянулись бесконечные эшелоны военнопленных.

Габе попал в огромный лагерь для военнопленных, организованный немцами под Дьезом. «Здесь двадцать две тысячи, а всего — два миллиона. Я решил, что меня среди этих двух миллионов не будет». Так сказал себе Габе в самые первые дни пребывания в лагере. Он признается, что страшнее всего ему казалось не физические, а моральные пытки, опасность потерять человеческий облик.

Габе выдает себя за француза, долго жившего в немецкой Швейцарии. Эта выдумка и блестящее немецкое произношение помогают ему сделать «карьеру» — стать главным переводчиком в лагере. Так он получил возможность наблюдать «внутренность» немецкой вошней в административной машины.

Один из начальников лагеря говорил Габе: «Нас, немцев, воспитал фюрер, теперь мы будем воспитывать вас, французоз». Фашистское воспитание означает: разбудить, разнуздать в человеке самые низменные инстинкты, «организовать» эти инстинкты так, чтобы порабощенные не могли организоваться сами и встать против рабовладельцев.

В беседе с американским журналистом Габе так характеризовал систему, применявшуюся немцами в лагере под Дьезом: «Нас беспрестанно заставляли чувствовать, что мы не люди, — всеми средствами, которые немцы могли изобрести. Не думайте, что это была импровизация! Нет, все заранее планировалось. Им был дан приказ внушить нам, что мы рабы, доказать нам, что мы не люди, не скоты, а даровые рабы».

Немец-повар собирает толпу голодных военнопленных и, нагло улыбаясь, медленно, методично бросает им один-два хлебца: пусть озвереют, пусть вырывают друг у друга кусок хлеба... В лагерь привозят солому для подстилок. Пленные, валявшиеся на холодном, проплеванном полу, давно мечтали об этой соломе. Но солому не стали раздавать. Пленным было приказано «разобрать ее самим». Пусть топчут друг друга, добывая себе клочок соломы. Это и есть фашистский «порядок». А вот образец современной немецкой гигиены — неграм-военнопленным приказано было вовсе не выдавать мыла: «Они все равно черные». Лагерь погибал от чесотки и вшей, стал очагом заразы для двадцати тысяч людей.

Немецкая чистоплотность давно уже превратилась в чистоплотность палача, который не забывает вымыть руки после очередной жертвы.

«Я хорошо знал Германию и немцев, — пишет Габе, — но за последние годы в них что-то резко изменилось. Одного солдата было трудно отличить от другого... Неприятные, остекляненные глаза садистов мне впоследствии часто приходилось видеть у молодых немцев. Это были глаза пьяницы, которого оставили без водки, глаза морфиниста, которому уменьшили дозу».

То, что в Германии понимается под воинской дисциплиной и офицерской честью, воспитывалось там только кастой, военным разбоем, а не рыцарской традицией героических национальных войн, как в России или во Франции.

Гитлеровские солдаты и офицеры были задолго подготовлены к своей главной функции — на войне быть палачами и грабителями.

Вот как вели себя немецкие офицеры во Франции.

Город Нанси. Магазин шелковых тканей. «Нижние чины дергали штуки шелка... Унтеры голыми руками разрывали полотнища креп-сатена. Толстый капитан лежал ничком на прилавке, обеими руками обхватив «свои» свертки. Соблазнительные шелка начисто уни-

чтожили пресловутое чувство товарищества немцев. Лейтенант и капитан, как голодные собаки, вцепились в темно-зеленый с светло-зелеными цветочками остаток шека... Неписанный закон воспрещает офицеру пользоваться своим званием вне службы. Но капитан же выдержал и решил плюнуть на все правила приличия. — Я приказываю вам уступить, — сказал человек в монокле, и лейтенант выпустил зеленое сокровище...»

Лагерь под Дезом. Начальник лагеря д-р Шмидт. Садист. Бывший директор женской гимназии в Берлине. Его помощник — философ по образованию. Молодой. Любит пугать негров-военнопленных криком: «Ты что улыбаешься, сволочь, вот я тебя укорочу на голову!» Устраивает специальные лекции для солдат, на которых «демонстрирует» неарийские черепа негров таким способом, что несчастные кричат от боли. Слушатели — немецкие солдаты — благоговейно внимают арийской премудрости или тупо ржут, восхищаясь непристойными шутками. После беседы немецкие солдаты обращаются к своему любимому занятию: фотографируют зады негров в уборной. Таково непосредственное влияние современной немецкой философии на немецкую массу.

Над всей этой бронированной гнилью день и ночь витает страх. Страх сдавливает им глотки, как только «нормальное» соотношение сил — вооруженный немец против безоружного француза — сменяется иной ситуацией. В книге Габе описан допрос немецкого военнопленного в первые дни войны. Он отказывался отвечать на все вопросы или отвечал наглым: «Хейль, Гитлер». Габе, неплохой знаток немецкой души, попросил, чтобы ему было разрешено принять участие в допросе. Он не угрожал немцу, он повторил буквально те же вопросы, но только повысил голос, прикрикнул на распясавшегося гитлеровца, и тут же с гитлеровского вояки сокочило все нахальство: забыт был фюрер, опустилась нагло вздернутая в знак фашистского приветствия рука, и немец, вытянувшись в струнку, покорно дал нужные показания. Пытаясь понять эту безграничную наглость и трусость, прежде всего вспоминаешь слова, которыми товарищ Сталин характеризовал немецко-фашистских вояк: «Молодец против овец, а против молодца — сама овца».

В своем побеге Габе неизменно ставил ставку на немецко-фашистскую «психологию»: он пользовался глупейшим упоением немцев собственной властью, их иднотской верой в свое «арийское» превосходство, их низменными инстинктами. Для того, чтобы бежать из лагеря, нужно было связаться с французскими патриотами в городе Нанси. Габе, зная жадность и продажность немцев, согласился на предложение лагерного начальства привозить немецким офицерам (в обход распоряжений немецкой комендатуры) всевозможные соблазнительные предметы из французских магазинов в Нанси. Тот же метод психологической атаки на немецкую самонадеянность и жадность Габе

применял в комендатуре оккупантов в Дижоне. Комендант усомнился было в том, что перед ним швейцарский подданный и виноторговец г. Буасьер, — звание, которое Габе пришло себе на основании документов, добытых у французских патриотов. Чтобы сбить с толку гитлеровского коменданта, «швейцарский виноторговец» с возмущением стал расписывать немцу «беспорядок» в швейцарском консульстве, которое по своей «неорганизованности» якобы чинит ему, честному виноторговцу, препятствия к выезду в неоккупированную зону. А ведь он, Буасьер, не пожалел бы нескольких бутылок коньяку... Тут немец забывает обо всем на свете и отдается, с тем же животным возбуждением, мечте о даровом коньяке, и злобной радости по поводу столь ясно обнаружившегося превосходства Германии над Швейцарией.

История смелого побега Габе, которого спасли французские патриоты, показывает нам уголок той самоотверженной войны, которую ведут французы против своих поработителей. На каждом шагу, в каждом французском доме беглец встречал друга, за которым стояли еще десятки невидимых друзей, смелых, готовых помочь в борьбе. Пренебрегая опасностью, французы добывали Габе необходимые документы, прятали у себя, кормили, одевали и переодевали — и все это почти на глазах немецких патрулей. Немцы жестоко мстят французскому народу. Население одного города (как и десятков других городов) систематически переправляло патриотов в неоккупированную зону. В качестве репрессии в семью французского коммерсанта был послан немецкий майор. Немец изгнал хозяйина и хозяйку дома из спальни и поместил на их постели собаку. Хозяйке было приказано регулярно менять белье на постели, превращенной в собачью лежанку... Собака немецкого офицера на чистой французской постели — в этом гитлеровцы видят символ торжества немецкой храбрости и чистоплотности над «беспорядочной», «грязной» Францией!

В ответ на это миллионы французов говорят то, что сказала Габе женщина, помогавшая ему в организации побега: «С этой чумой должен бороться каждый, бороться по мере своих сил...»

Габе — космополитический журналист из Вены, человек, не имеющий органических связей с французским народом, иностранец — все же не мог не заметить во время своих странствий, как крепко французский народ связан со своей родной землей. То же чувствовали многие космополиты и деклассированные из «21-го полка», и это в какой-то мере сказывалось на их психологии. Не следует путать этих волонтеров с испанскими добровольцами или с французскими партизанами. Но это люди, которых начала перевоспитывать война с гитлеризмом.

Габе видел Францию в первые месяцы оккупации, когда она еще не вышла из состояния оцепенения, последовавшего за Компье-

вом. Еще только первые партии пленных отправлялись в Германию, на «рудники преисподней», как назвал немецкую каторгу один из французских поэтов... Это был 1940 год. Впереди были: голод, разбой, миллионы французов, угнанных в рабство, впереди была тулонская драма и героическая борьба саовых партизан.

Уже эти первые месяцы показывали, что означает для свободолюбивого народа каждый день пребывания под гитлеровским игом. Одна из подпольных французских газет выходит с лозунгом: «Жить побежденным—значит умирать каждодневно». Эти слова принадлежат Наполеону. Французский народ, борющийся за свою свободу, знает, что такое фактор времени; он знает это не хуже, если не лучше, чем знал это знаменитый полководец. Знает это и гитлеровская агентура во Франции. Недаром ее первым актом во время войны была организация длительного перио-

да бездействия, который получил название «странной войны». Гитлер, по его собственному признанию, добивался тогда бездействия, желая выбить войну из рук французов».

Впоследствии, в надежде на возрождение «странной войны» в той или иной форме, гитлеровцы стали расписывать «неприступный» атлантический вал, с тем же усердием, с каким прежде издевались над неприступностью линии Мажино. Но если можно было «выбить войну» из рук французов в 1940 году, то победы Красной Армии и успехи союзников развязали руки всем борцам против гитлеризма.

Книги, рассказывающие о страданиях народов под гитлеровским игом; напоминают - об исторической ответственности антигитлеровских сил за каждый лишний день пребывания миллионов людей в рабстве, более страшном, чем смерть.

БИБЛИОГРАФИЯ

ИДЕЯ ПАТРИОТИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ*

Наша литература — «лучшее, что создано нами, как нацией» — писал Алексей Максимович Горький. Мировое значение русской литературы, ее своеобразие очень ярко обозначилось в XIX веке. Свообразие русской литературы заключается в ее гражданском пафосе, в той исторической роли, которую она играла в жизни нашего народа, в том, что она никогда не замыкалась в сфере чисто эстетических интересов, но всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово.

Об этом характере нашей литературы говорили все писатели XIX века, начиная с Белинского. Это ясно для всякого непредубежденного человека. Достаточно бегло просмотреть творчество русских писателей, чтобы убедиться в том, что душу нашей литературы составляет идея долга по отношению к родине, народу, человеку. Отсюда моральная красота, патриотизм русской литературы. Русский писатель — трибун, боец за народное счастье, — за родину, он — пламенный патриот. Его патриотизм лишен узости, ограниченности и национальной исключительности.

«Патриотизм живой, деятельный именно и отличается тем, что он исключает всякую международную вражду, и человек, одушевленный таким патриотизмом, готов трудиться для всего человечества», — писал Н. А. Добролюбов.

Именно о таком патриотизме говорит каждая книжка серии «Писатели-патриоты великой родины». Основная задача каждой книжки — представить перед читателем образ писателя-патриота. Достигается это не столько небольшими вступительными статьями, сколько умело подобранным материалом творчества писателя.

«Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году», писал великий русский критик Белинский. Сто лет назад он справедливо думал, что Россия будет стоять во главе образованного мира и принимать благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества.

* Серия «Писатели-патриоты великой родины». Государственное издательство художественной литературы, 1943.

Эта идея величия и силы нашего народа, вера в его гений пронизывает все писания В. Белинского. Сложен и противоречив был путь развития Белинского, но на всех этапах великий русский критик сохранял пламенную любовь к родине и веру в творческие силы нашего народа. «Народ и родина» — так озаглавили редакторы первый раздел в книге В. Белинского. В него включены высказывания из разных статей: О критике, 1838 г., Общее значение слова литература, 1840 г., Сочинения А. Пушкина, 1843—1846 г., Очерки Бородинского сражения, 1839 г., Из писем к Боткину, к Гоголю и отрывки из годовых обзоров русской литературы. Основная мысль раздела выражена в следующих словах: «Любить свою родину — значит, пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому». «Отнимать у искусства право служить общественным интересам — значит, не возвышать, а унижать его... Под таким углом зрения протекала литературно-критическая деятельность Белинского. Отрывки из статей с характеристиками Ломоносова, Карамзина, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Крылова, Кольцова — составляют третий раздел книги Белинского. Патриотизму русского критика-классика посвящена и вступительная статья, написанная А. Мясниковым.

★

«Еще Россия не подымалась во весь испанский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь подымется!» В этих словах поэта-партизана Дениса Давыдова заключен смысл стихотворений и статей, напечатанных в книге, посвященной его творчеству. Вступительная статья С. Иванова «Поэт-воин» сжато характеризует Д. Давыдова, как поэта, военного писателя и вообще литератора. Война была стихией Дениса Давыдова, тут наиболее ярко раскрылся он как человек, как характер, на военной тематике наиболее полно выразилось его поэтическое дарование, война показала его как великого патриота родины. «Он славен — славою двенадцатого года» — писал о нем величайший из современников

А. С. Пушкин. Величие Дениса Давыдова не только в том, что он «изобрел» партизанскую войну, — она началась независимо от него, — а в том, что он первый донял ее значение и делал все для того, чтобы народная Россия поднялась во весь свой исполинский рост на горе неприятелю.

В первом разделе книги напечатаны стихотворения, ярко характеризующие поэта-партизана: «Я не поэт, я — партизан»; «Партизан» («Умолкнул бой, Ночная тень Москвы окрестность покрывает»); «Бурцеву» («В дымном поле, на биваке — у пылающих огней...») и др. Здесь весь цвет его военно-бытовой лирики, здесь оригинальный, яркий портрет самого Дениса Давыдова — храброго, мужественного воина, преданного своей родине, своему народу.

Пусть грянет Русь военной грозой,
Я в этой песне запеваю!

Не менее характерен для автора второй раздел. Здесь перед нами трезвый, вдумчивый военный писатель. Он глубоко проникает в сущность народной борьбы, дает прекрасный ее анализ, великолепно формулирует задачи и значение партизанской войны. Партизанская война, по мысли Дениса Давыдова, состоит не в drobных предприятиях, но охватывает и «пересекает все протяжение путей» неприятельской армии от глубокого тыла до фронта. Партизаны лишают неприятельскую армию трех «коренных стихий жизненной и боевой силы»: резервов, оружия, продовольствия. Партизаны влияют на главные операции неприятельской армии, на ее нравственное состояние.

Из других статей Д. Давыдова следует назвать «Воспоминание о Кульневе в Финляндии» (1808), «Воспоминание о сражении при Преиш-Эйлау» (1807), «Багратион».

★

Твой стих, как божий дух, носился над
толпой

И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных, —

писал Лермонтов, воссоздавая идеальный образ поэта, народного избранника. Эта характеристика относится прежде всего к самому Лермонтову. Избранные стихотворения и поэмы его дают возможность представить облик писателя-патриота. С ранних лет любимой темой поэта стала борьба родины за свою свободу. Новгород — символ древнерусской свободы. Вадим — пламенный борец против угнетения — всегда волновал Лермонтова. Борьба за родину в суровый трагический момент ее истории раскрыта в стихах «Поле Бородина», «Бородино» и др.

Книгу о Лермонтове открывает статья С. Дурдылина «Героическая поэзия».

★

Четвертая книга серии посвящена стихотворениям и повням Некрасова. Стихи «Иди в огонь за честь отчизны, за убежденье, за

любовь», приведенные в эпиграфе вступительной статьи М. Эссен, хорошо формулируют отношение Некрасова к родине.

Россия, родная Волга, русская природа, умный трудолюбивый русский народ со всеми его радостями и горестями, русская революционная интеллигенция — таков круг тем в книге Некрасова. Народ и его защитники, которые живут для блага ближнего, «свой гений подчиняя чувству всеобнимающей любви», — вот постоянная тема Некрасова.

Заканчивается сборник отрывками из бесмертной поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Приведены те части произведения, где поэт дает характеристику крестьян:

... Не белоручки нежные,
А люди мы великие
В работе и в гульбе!..

Образы Савелия, богатыря Святорусского Якимя Нагого, Ермила Гирина, немца, которого крестьяне живьем закопали в землю, Матрены Тимофеевны, Гриши Добросклонова — выступают перед читателем во всей своей реальности. Вера в народ, в его силы, в великое назначение России наполняет все произведения сборника Некрасова.

★

Пятая книга серии состоит из стихотворений В. Я. Брюсова. Вступительная статья к ней написана Г. Леноблем; начинается она знаменательными словами поэта: «Если бы обстоятельства момента сложились так, что пришлось бы выбирать между поэзией и родиной, то пусть погибнет поэт и поэзия, а торжествует великая Россия, после чего наступит грядущее торжество родины, и тогда явится поэт, достойный великого момента». Слова, полные любви к родине, были сказаны поэтом в годы первой мировой войны, в 1915 г. Они свидетельствуют о том, что в его груди билось сердце патриота.

Брюсов верит в Россию, в ее великое назначение в мире. Поэт пишет: «В мире широком, в мире ширущем мы — гребень встающей волны» («Мы»). Он верит в человека вообще («Хвала человеку»), в русского человека, особенно. Удивительно созвучно современности его произведение «Старый вопрос». Кто мы в старой Европе? — спрашивает поэт. «Случайные гости» или народ, который спас Европу от монголов, народ, давший миру Пушкина, Толстого, Достоевского, народ, чье имя не будет забыто никогда?

Да, так, мы — славяне!

.....

И что же! Священный союз
Ты видишь, надменный германец?
Не с нами ль свободный француз,
Не с нами ль свободный британец?

Стихи 1914 — 1915 гг. («На Карпатах», «Чаша испытаний», «Аэропланы над Варшавой», «Фламандцам», «Западный фронт») в сейчас читается с огромным интересом:

И пусть над Бугом каски прусские;
Он от того чужим не стал;
И будем мы всё те же русские,
Уйдя за Волгу и Урал.

Под Нарвами, под Аустерлицами
Учились мы Бородину.
Нет, мало овладеть столицами,
Чтоб кончить Русскую войну!

Стихи 1917—1924 гг. говорят о воплощении вековых стремлений «всех лучших, всех живых сердец» («Освобожденная Россия»), о великой радости работы («Работа»), о радости жизни в дни революции («Нам проба», «Парки в Москве», «Октябрь 1917»), о счастье славословить величие России в веках («Россия», «Только русский»), о горести утраты вождя («На смерть вождя», «Ленин»). Советский читатель мало знает В. Я. Брюсова. Книжка его избранных стихотворений восполняет этот пробел, она дает выразительный образ певца великой России.

★

«Но главное в нас,
и это
главное в нас,
это — наша Страна Советов,
советская воля,
советское знамя,
советское солнце».

Этими стихами открывается книга избранных произведений В. Маяковского в рассматриваемой нами серии.

Произведения Маяковского выбраны и расположены так, чтобы с наибольшей полнотой показать его, как поэта-патриота. После вступ-

пительной статьи В. Дувакина, в которой поэт характеризуется, как гражданин Советского Союза, идут стихи, расположенные по отделам.

Первый раздел состоит из произведений, помещенных в «Окнах Роста».

Второй раздел включает стихи, где Маяковский говорит о своей любви к родине:

Вот
она,
Россия,
моя любимая страна.

Сюда вошли стихотворения: «По городам Союза», «Баку», «Киев», «Крым», «Евпатория», «Две Москвы» и др.

Третий раздел посвящен людям советской земли, воспеванию качеств нового советского человека, его роли в строительстве новой жизни («Партия», отрывок из поэмы «В. И. Ленин», «Ленинцы», «Разговор с товарищем Лениным»).

Отрывки из поэмы «Хорошо» составляют содержание четвертого раздела. И, наконец, последний раздел посвящен стихам, призывающим к борьбе, и полных уверенности в том, что «тому, кто свободу придет отобрать, сумеем остричь когти». Заканчивается книжка лозунгами и призывами Маяковского разговаривать с фашистами «словами пуль, острогами штыков».

Серия «Писатели-патриоты великой родины» прекрасно знакомит советского читателя с произведениями великих русских писателей-патриотов, мобилизуя наш ум, чувство и волю на борьбу за окончательный разгром немецко-фашистских захватчиков.

М. Добрынин.

★

„СТЕПАН ПОЛОСУХИН“*

Не всегда хорошая книга для взрослого читателя хороша и для детей. Но если детская книга читается с интересом и взрослыми, то это почти наверняка хорошая детская книга. Именно такова военная повесть Леонида Соловьева «Степан Полосухин», названная по имени ее главного героя, моряка Черноморского флота.

Действие разворачивается в Крыму, преимущественно в Севастополе, — городе славы и великих боевых традиций,—развертывается последовательно, но отнюдь не замедленно. Бегло дается характеристика отчего дома Степана, его детских лет, короткого юношества, оборванного войной. И вот мечта Полосухина сбылась — он попадает на корабль. Далее друг друга сменяют тесно связанные между собой разного рода боевые эпизоды, в которых Степан принимает участие, все более и более закаляясь на войне, приобретая и боевой, и жизненный опыт. Потом ему дается ответственной и крайне опасное поручение по разведке во вражеском тылу. Здесь он ста-

новится жертвой подлого предательства, попадает в лапы к немцам, его пытаются, добываясь выдачи секретных сведений и связей. Полосухин стойко выдерживает пытку. Его отправляют на казнь, от которой Степана избавляет блестящий десант черноморцев в Феодосии.

В эту цепь боевых событий и эпизодов вплетается нить личного романа героя с девушкой, которая является участницей войны и обороны Севастополя. Роман этот обрывается гибелью девушки.

Схема повествования, как видит читатель, не сложна сама по себе и в художественной военной литературе не нова. Тем не менее книжка читается с интересом, и это целиком определяется ее внутренней правдивостью.

Прежде, всего, автор выразительно изображает боевые эпизоды. Затем — незаурядно умные автора набрасывать немногими, но выразительными и характерными чертами живые и разнообразие портреты людей. Они легко воспринимаются читателем и надолго задерживаются в памяти. Автор, далее, владеет секретом давать то, что в музыке называется «нарастанием звука»: умело рассчитанное, постепенное и неуклонное нарастание напряжения, не позволяющее читателю (особенно если это

* Леонид Соловьев. «Степан Полосухин». Военная библиотека школьника. Детгиз 1943.

юный читатель) «остывать», заставляющее «глотать» страницу за страницей с мыслью: «что дальше?» Ценная в детской книге черта: сочетание романтичности происшествий и поступков людей с их правдоподобием. Искренний патриотизм проникает книгу с начала до конца. И — последнее — простой, ясный и непринужденный язык ее.

Достоинства повести Соловьева не могут, однако, скрыть ряд шероховатостей. К числу последних нельзя не отнести допущенную в некоторых местах утрировку. Например, в сцене между набедокурившим Степаном (еще в пору его детства) и его отцом.

Несомненной также утрировкой является старательная рекомендация себя негодяем одного из персонажей повести, Кратова: стремясь избежать от мобилизации, он обращается при встрече к Полосухину: «Скажите, у вас нет знакомых в военкомате? Я болен. И я вообще пацифист...» Кратов хорошо знает, с кем он в данную минуту имеет дело, обрисован он в повести не круглым идиотом, а хитрым негодяем, предателем, и к своей цели он не стал бы подходить с такой обнаженной топорностью. Подобного рода дешевые приемы отрицательных саморазоблачений практикуются в литературе нередко, но результат достигается ими всегда обратный: читатель перестает верить в реальность фигуры.

Не вполне свободен автор от греха сентиментальности. Вот, например, сцена из драматического боевого эпизода, когда Степан с горсточкой бойцов противостоят атаке во много раз численно превосходящего их противника:

«Теперь не оставалось уже никаких надежд. Никому не удалось уйти с этого обрыва живым. Все моряки отчетливо понимали это; сумрачная тень легла на их лица.

— Эх, мама родная, на что родила? — дрогнувшим голосом сказал Томилин. Берестов ответил ему глубоким вздохом. У Максимова дрожали губы. Заметив на себе пристальный взгляд Степана, он торопливо, с испугом в голосе сказал:

— Я не трушу... нет, так просто — с непривычки.

— Понимаю, понимаю, — ответил Степан, притянул к себе Максимова вплотную и крепко поцеловал. У Максимова на глазах выступили слезы, он отвернулся, чтобы скрыть их. Даже если бы Максимов был очень близок Степану, чего в действительности нет, и то сцена эта резко противоречит всему складу натуры главного героя повести и выстудает в ней каким-то чужеродным сентиментальным пятном.

Попадаются иной раз мелкие неувязки. Так, на странице пятидесятой об одном моменте душевного состояния героя мы сначала читаем: «Степан почувствовал беду». Далее идет описание обманчиво-благополучной боевой обстановки и, непосредственно за этим, о том же самом душевном состоянии героя сказано: «Итак, на базу, к дому! Степан не сомневался в благополучном возвращении. Кто мог помешать катеру? Самолеты? Они не пойдут в такую погоду. Шторм? Но и шторм начал будто стихать. Успокоение сошло на Степана...» Все это никак не вяжется с ощущением «беды» и выдает некоторую неотчетливость для самого автора психологического состояния его героя в данную минуту.

Мелкие неувязки уже чисто внешнего характера мы встречаем на страницах 6, 9 и 16: на 6-й Степан обращается к отцу на «ты», на 9-й — на «вы», на 16-й — опять на «ты». Такого рода недосмотры подмечаются читателем, юным даже внимательнее, чем взрослым, и нарушают впечатление художественной органичности.

О ясности и простоте языка повесть мы уже говорили. Тем резче выделяются допущенные в этом отношении промахи, как, например, на стр. 84: «Он долго стоял прежде чем из путанного и противоречивого смещения чувств и мыслей, томивших его, начала выкристаллизовываться одна основная мысль, поглощающая все остальное». Это, конечно, не живое.

А. Дерман



НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ СБОРНИК*

Отечественная война 1812 года сыграла такую великую роль в жизни русского народа и так радикально перестроила сознание современников, что, естественно, не могла не получить глубокого и многообразного отражения в русской литературе. На протяжении четверти века тема «Двенадцатого года» звучала в литературе с неослабевающим напряжением, как тема современная (особую актуальность она приобрела в 1837—1839 гг., в связи с двадцатипятилетием наполеоновского нашествия и победоносного окончания войны). Исторической она стала много позже. Можно ска-

зать, что эта тема была одной из центральных в литературе того времени. Антология стихотворных, драматических и прозаических произведений, посвященных 1812 году, если ее когда-нибудь составят, будет весьма объемистым изданием. На эту тему писали и корифеи русской литературы — Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, и такие видные писатели пушкинской эпохи, как Жуковский, Батюшков, Денис Давыдов, Федор Глинка, Вяземский, Загоскин и множество писателей второстепенных. Общеизвестно, какое громадное значение имела Отечественная война для развития всей русской литературы XIX века, в частности — художественной. Об этом замечательно глубоко и верно говорили декабристы: Белинский и Герцен. Давно пора подробно и всесторонне

* Н. А. Ильинский. Художественная патриотическая литература 1812—1815 гг., Тбилиси, 1943.

исследовать этот вопрос, важный для нашей литературной истории.

При этом, однако, нужно учитывать одно очень существенное обстоятельство. А именно: все исторически важное и ценное, что есть в нашей литературе о 1812 году, было написано, во малым исключением, уже после войны. Пожалуй, за вычетом «Певца во стане» Мухоморова, двух-трех стихотворений Батюшкова, Востокова и Вяземского, «Воспоминаний в Царском Селе» и «На возвращение государя-императора из Парижа» молодого Пушкина и некоторых прозаических произведений, вроде «Писем русского офицера» Ф. Главки и «Писем из Москвы в Нижний-Новгород» И. М. Муравьева-Апостола, — патриотическая литература 1812—1815 гг. художественно весьма слаба и представлена, как правило, именами вовсе мелких писателей. С другой стороны, нужно учитывать громадную актуальность в годы Отечественной войны патриотических произведений, написанных в предшествующие годы и приуроченных к событиям 1812—1815 гг. (вроде трагедий Озерова и Крюковского). Это была тоже литература Отечественной войны.

Между тем, автор рецензируемой книжки почему-то ограничился рассмотрением лишь того, что было написано и опубликовано за четыре года войны. Тем самым, общая картина грубейшим образом искажается: неосведомленный читатель (а книжка Н. Ильинского предназначена для массового читателя) может подумать, что великая война получила удивительно бледное и приблизительное отражение в современной ей русской литературе, вдохновила очень немногих писателей, к тому же, в большинстве заурядных. Неправомерное хронологическое ограничение, темы привело к тому, что автор, вынужденный оперировать материалом второстепенным, сам внушает читателю такой вывод: «Патриотическая тема... занимала довольно скромное место в тогдашней литературе, и патриотические мотивы у многих поэтов оказывались случайными и скоропреходящими». Делать такой вывод, особенно в популярной брошюре, недопустимо, потому что он противоречит истории, зачеркивает великое значение темы 1812 года для русской литературы и вообще искажает смысл важной историко-литературной проблемы.

Могут возразить, что автор все же волен был ограничить свое исследование определенными хронологическими рамками. Бесспорно, рассмотрение литературных произведений на данную тему, написанных именно в годы войны, по горячим следам событий, может иметь известное практическое значение (хотя бы библиографическое) и дать материал для обобщающего проблемного исследования. Но, во-первых, сделать это уместно в специальной научной работе, а не в популярной брошюре, а, во-вторых, в таком случае мы вправе потребовать от автора полного охвата материала. В таком случае автору следовало бы оперировать не только и не столько тем, что лежит на поверхности, но заняться детальным исследованием массовой, в частности журнальной ли-

тературной продукции, до сих пор не изученной. Только при этом условии работа получила бы смысл.

Однако в книжке Н. Ильинского речь идет о случайно взятых произведениях, которые автор, тем не менее, выдает за «наиболее типичные образцы патриотической литературы того времени». Книжка не только не может претендовать на сколько-нибудь широкий охват источников, но за пределами ее осталось по меньшей мере три четверти материала. Автор сам указывает, что взял только то, что было «вход рукой», ссылаясь на невозможность, по условиям военного времени, использовать как журнальную литературу 1812—1815 гг., так и «уникальные издания». Оговорка — оговоркой, но, не имея под рукой самого необходимого материала, не следовало выпускать в свет работу под столь широкообещающим и многообещающим заглавием. Но что говорить об «уникальных изданиях», когда автор не обращался даже к таким журналам, как «Сын отечества», «Вестник Европы» и «Русский вестник», которые должны были бы послужить ему основным источником. Даже и не имея под рукой книжных редкостей, автор имел возможность значительно расширить круг писателей, представленных в его работе. К примеру, вряд ли можно считать «уникальным изданием» хотя бы книгу «Поэты-радищевцы», изданную в 1935 г., а между тем, в этой книге автор нашел бы кое-что относящееся к его предмету. Вообще автор всячески ограничивал себя. Так, например, он отвел Шаховского на том основании, что его литературная деятельность «не имеет отношения к нашей теме», хотя такие пьесы Шаховского, как «Казак-стихотворец» (1812) и «Крестьяне, или Встреча незваных» (1814), имеют к его теме самое прямое отношение. Излишне указывать все пропуски, допущенные автором, но в таком виде, как она издана, работа его потеряла всякий смысл: не раскрывая существа проблемы «1812 год и русская литература», она в то же время не дает сколько-нибудь полного представления о самом материале.

Но даже не в этом основной дефект книжки Н. Ильинского. Хуже то, что она может внести путаницу в историко-литературные представления читателя. В ней допущено немало грубых ошибок принципиального характера.

Автор сам отмечает «невысокую художественную ценность» своего материала, но тут же утверждает: «По нашему мнению, в нем... с достаточной полнотой и выразительностью отразились взгляды, чувства и настроения эпохи войны 1812 года». Далее автор говорит даже, что читатель — «свидетель и участник нашей Великой Отечественной войны» — в литературных произведениях 1812—1815 гг. «найдет близкие и созвучные нашему времени темы и мотивы». Взгляды, чувства и настроения русского народа, связанные с переживанием славных и драматических событий 1812 года, глубочайшим образом отразились в русской литературе, но, конечно, не в той, о которой, главным образом, идет речь в книжке

Н. Ильинского. Они отразились в гениальных стихах Пушкина и Лермонтова, в замечательном драматургическом замысле Грибоедова (народная трагедия «1812 год»), в народных песнях и сказаниях (которые, кстати сказать, тоже остались за пределами работы Н. Ильинского). Все это, действительно, вызывает мощный отклик в сердцах нашей эпохи. Но что «близкое и созвучное» может найти советский читатель в жалких виршах Воейкова, которые автор, ничтоже сумняшеся, предлагает в качестве «самых «левых» во всей патриотической лирике 12—15 гг. Автор отвечает: патриотическое чувство. Но ведь патриотизм патриотизму — рознь, и не всякое стихотворение, в котором встречается слово «родина», отвечает нашему представлению о патриотизме. В частности, в стихах Воейкова автора прелестно выражение: «биться за свободу», и на основании этого выражения он делает тот вывод, что у Воейкова, дескать, «звучат свободолюбивые мотивы», что, «как чувствуется между строками» (?), этот поэт призывает «биться не только за национальную, но и за политическую свободу». Это — чистейшее недоразумение, основанное на недостаточно ясном понимании поэтической семантики 1810—1820-х годов. Общественно-политическая позиция и моральная физиономия Воейкова слишком известны, чтобы можно было рядить его в одежды гражданского поэта, превращать этого беспринципного переметчика в политического борца декабристского толка.

Рассуждения Н. Ильинского о патриотизме, равно как и его историко-литературные представления, грешат явным рецидивом вульгарного социологизма. В книжке идет речь о «разновидностях дворянского патриотизма» — о патриотизме «реакционном», «умеренно-консервативном», «прогрессивном» и даже «бывальтеском» (представителем последнего назван В. А. Пушкин, которому и в жизни не везло и не везет, как видим, сейчас). На каждого писателя аккуратно наклеивается соответствующий ярлычок. Так, например, Жуковский объявлен «наиболее талантливым представителем умеренно-консервативной группы, в которую входят такие писатели, как Карамзин, Кап-

нист». Вдобавок все они названы еще «поэтами просвещенного абсолютизма», а в стихах их поощрительно отмечается «более высокий уровень религиозно-монархических воззрений». Автор совершенно не учитывает конкретных общественно-политических и литературных позиций этих трех столь разных писателей, ему нужды нет, что между мировоззрениями Жуковского и Капниста лежит пропасть. Автор «Ябеды» оказывается «наиболее правым из поэтов умеренно-консервативной группы». Уже из этого одного видно, какая безнадежная путаница царит в историко-литературных представлениях Н. Ильинского. Этот унылый схематизм в сочетании с необыкновенной наивностью тона приводит на память школьные рефераты того времени, когда они сочинялись по рецептам вульгарных социологов.

Автор твердит о «разновидностях дворянского патриотизма» вместо того, чтобы и исторически осмыслить патриотизм русского дворянского общества начала XIX века. Автору совсем невдомек, что была еще такая «разновидность» «дворянского, патриотизма, как патриотизм революционный, патриотизм Радищева и декабристов. Вместо того, чтобы ясно и четко сказать о реакционных и революционных тенденциях в патриотизме русских писателей начала XIX века, о противоречивости и борьбе этих тенденций, о том, в какой мере творчество того или иного писателя, отражая думы и чаяния народа, отвечало всенародному патриотическому подъему в годы Отечественной войны, — автор занимается изобретением «сословно-классовой» номенклатуры, которая несколько не способствует раскрытию реального содержания той или иной формы патриотизма.

Книжка Н. Ильинского не только не продвигает вперед дело изучения русской патриотической литературы времени первой Отечественной войны, но изрядно компрометирует эту важнейшую и богатую историко-литературную тему. Поэтому мы и сочли нужным сказать об этой книжке подробнее, нежели она того заслуживает по своему значению.

Вл. Орлов.

Редколлегия: М. М. Розенталь, В. П. Ставский, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

Подписано к печати 25/II-44 г.
А 2706. 9 печ. листов. Тираж 30.000. Зак. 3492.

Типография «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.